

ЮНОСТЬ

5

1973



Ю. ЦИШЕВСКИЙ. Полевая почта. 1943 год (карандаш).

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

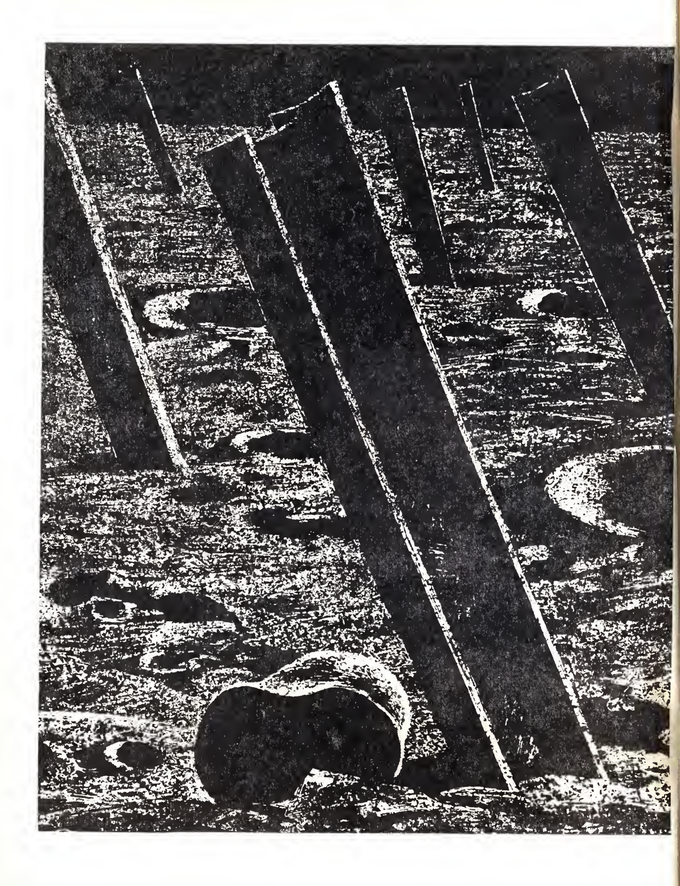
ЮНОСТЬ



5 [216] МАЙ 1973

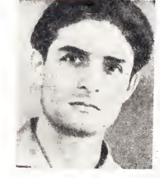
Журнал
основан
в
1955
году

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА



Мумин Каноат





ПОЭМА

ГОЛОСА СТАЛИНГРАДА

Перевел с таджикского
Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.

Рисунки
Саввы БРОДСКОГО.

Слово тяжесть планеты вмещать должно,
и звучанием жизнь освещать должно,
и бессонной крепостью стать должно,
если хочешь,
чтоб кто-то читал поэму.
Слово гибнет и воскресает в пути.
Слово может увянуть и вновь расцвести.
Слово может, будто река, нести
небеса и краски земли родимой.
В слове горечь разлуки и ночи без сна,
поцелуями скомканная тишина.
Миг, в котором для многих заключена
жизнь
от первой любви и до первой пули.
Слово может у вечности мудрость добыть,
даже через судьбу может переступить.
У чужого меча острие затупить
может слово.
Такая дана ему сила.
В землю падают молча цветов семена,—
вновь весною долина цветами полна.
А упал человек — никакая весна
не подымет погибшего человека.
Если он и подымется,
трудно привстав,
если даже шагнет на крутой пьедестал,
то холодный гранит и бездушный металл
тайну жизни и смерти уже не расскажут.
Я ее в материнских сердцах поищу,
искры прожитых жизней в кострах поищу.
Поищу на Земле,
в небесах поищу,
по дорогам шагая путем Авиценны.
Материнскую грудь я слезой окроплю,
жадным пламенем боя себя опалю,
глыбой каменной сердце свое придавлю,
без отца
на огромной планете останусь.
Уходящих на фронт
я увижу опять,
их святое молчанье
услышу опять,
юность всем постаревшим
верну я опять,
расскажу, как дитя безъязыкое, правду.

Мама! Тихой молитвой меня проводи.
И всегда будь со мной на протяжном пути.
Тайны вечного мира теснятся в груди.
Сделай шаг. Первый шаг...
Начинайся, поэма!

«23 августа. Наш полк перешел Дон и настойчиво продвигается на восток... Какие у Советов просторы! После войны эта земля станет нашей... Верим, что фюрер скоро победоносно завершит эту войну. По его словам, шестая армия может покорить небо... А что же тогда говорить о земле?!»

(Из дневника гитлеровского солдата).

ГОЛОС ПЕРВЫЙ

Земля

Мне тот, кто до конца не огрубел,
дал имя: золотая колыбель.
Так называя Землю, был он прав.
Я — колыбель.
Я — не бездушный прах.
Шагнул ребенок малый — я горда.
Беда седой вдовы — моя беда.
Вы на войне — я с вами на войне.
Совсем как человеку, больно мне...
В кругу родных планет вращаюсь я,
как колыбель в домах, качаюсь я,
в погожий день я улыбаюсь детям,
а в непогожий день печалюсь я.
В цветке рождаюсь и прошу: сорви...
Ложусь тропинкой на пути любви.
Травой бросаюсь в ноги: отдохни...
В криницу превращаюсь: зачерпни...
Народов на планете — без числа,
а это я —
одна —
их родила!

Я миллионы тайн открыла им,
мечту и крылья подарила им.
Так и живу, себя другим даря,
И матерью зовут меня не зря.
В мареве летней жары
пришла кровавая мгла...
А я ведь цветущей была,
плодоносящей была.
От Волги до Дона шли
волны хлебов моих.
Катились по глади Земли
волны цветов моих.
Они на себе несли
вечность трудов моих...
Набухли колосья мои от зерна.
Но грянул гром! А потом
черная накатилась волна,
меченная крестом.
И, вместо серпа, надо мной засвистел
хищный двуострый меч.
И западный ветер, крича, налетел.
И нес этот ветер смерть!
На мне громыхал, железом звеня,
бой от зари до зари.
Окропили красной кровью меня
мои хлебопашцы, мои косари.

Я — в кольце железа,
войны и огня.
Параллели сдавили меня, как тиски.
Тяготенье земное легло на меня
океанами слез и горами тоски.
Я — живая Земля. Я — цветная Земля.
Неужели я страшную гибель приму!!
И орбита меня захлестнет, как петля,
в невозможном,
тяжелом,
багровом дыму!
Слиплись губы мои. Дайте чашу с водой,
но — без крови! Прошу я у вас одного...
Колыбель перевернута, словно ладонь.
А под нею — ребенок. Спасите его!
Поскорее! На помощь, мои сыновья!
(О, какая расплата готова врагу!)
Если только вы мне не поможете,
я
никогда, ни за что вам помочь не смогу.

«5 сентября. Утром я был потрясен прекрасным зрелищем: впервые сквозь огонь и дым увидел я Волгу, спокойно и величаво текущую в своем русле. Итак, мы достигли желанной цели — Волги! Но Сталинград еще в руках русских, и впереди жестокие бои... Почему русские уперлись на этом берегу, неужели они думают воевать на самой кромке? Это безумие...»

(Из дневника гитлеровского солдата).

ГОЛОС ВТОРОЙ

Река

Мама!
К воспаленным губам подступила волна.
Я — река. Я тобою, Земля, рождена.
На Земле распахнулась, раскинулась я —
дочь твоя.
А сегодня — солдатка твоя.
Подарила когда-то ты мне берега.

Я — большая река. Я — не только река.
Ленин — брат мой.
Я — Волга.
Его сестра.
Два бессмертных потока слились на века.
Понеслись, забурлили, распевно трубя.
И от рабства
освободили тебя!..

Надевала я синий наряд по весне.
От твоих родников было молодо мне.
Я несла родниковый запас чистоты.
Я дарила на память невестам цветы.
Улыбалась, когда улыбались они.
Я любила смотреть на ночные огни.
Неизбывно щедрели мои берега...

Мать-Земля!
Я сегодня встречаю врага.
Разговор мой с врагом по-особому крут.
Я надела стальную кольчугу на грудь.
Я — река-богатырь.
Я свободна, как ты.
Мы одним богатырским размахом горды.
Я сковала себя цепенеющим льдом
и для братьев своих
стала прочным мостом.
Под невиданный гул неумолчной пальбы
я застыла.
Я стала дорогой судьбы.
Я свяжу воедино свои берега.
Я — большая река.
Я не только река.
Будто грузчик,
тружусь я в промерзших
ночах.
Я снаряды и танки тащу на плечах.
Зубы сжав, я работаю.
Грозно молчу.
Уставать не могу.
Отдыхать не хочу.
Пулеметные трассы безжалостны.
И
братья падают навзничь в объятья мои.
Мертвых братьев своих не могу я спасти.
Буду слезы в Каспийское море нести...
Ты, пожалуйста, мама-Земля, говори!
Ты, пожалуйста, силы свои собери!
Я надежду из родников принесу.
Солнце с той стороны облаков принесу.
Если губы твои от жары пересохли,
для победы
я в жертву себя принесу!
Пей меня!
Я, как древняя чаша, проста.
Словно честь неподкупного рода, чиста.
Смой тяжелую пыль и застывшую кровь.
И восстань.
И расплату врагу приготовь.
Я — река. До бессмертия — вместе с тобой.
Никогда,
ни за что ты не станешь рабой!

Видишь: встала страна! Слышишь наше
«Ура!»!
Ленин — брат мой.
Я — Волга.
Его сестра.

«14 октября. Наши войска взяли завод «Баррикады», но до Волги так и не дошли, хотя до нее осталось не более ста шагов... Русские не похожи на людей, они сделаны из железа, они не знают усталости, не ведают страха, не боятся огня... Матросы, как «черные дьяволы», на лютом морозе идут в атаку в тельняшках... Мы изнемогаем. Каждый солдат считает, что следующим погибнет он сам. Быть раненым и вернуться в тыл — единственная надежда...»

(Из дневника гитлеровского солдата)

ГОЛОС ТРЕТИЙ

Черноморский матрос

Я встретился снова с тобою, большая река.
Вдохни в меня силы для боя, большая река.
Как жизнь, ты течешь.
Горделиво и мощно течешь.
Нигде не отступишь. С пути никогда
не свернешь.
А я отступил. Приказало начальство мое.
Рожденный у самой воды, я ушел от нее,
когда наш эсминец зарылся в кровавой
волне.
И —
вечная слава ребятам, лежащим
на дне...
Я выплыл.
Меня отпускать не хотела волна.
Она торопилась меня напоить допьяна.
Я выплыл. Я выжил.
Я перешагнул через смерть...
И вот под ногами
стальная застывшая твердь.
По этой страдающей тверди ходить я учусь.
Лишь небо над степью похоже на море
чуть-чуть...
В твою глубину,
что от гари темна и горька,
я сердце, как якорь, бросаю,
большая река!
Волна, ты, пожалуйста, холодом мне
не грози,
на правый, пылающий берег меня отнеси.
На утлом плоту или в лодке
(могу даже вплавь)
во имя детей беззащитных
меня переправь.
Меня переправь поскорее, большая река,
туда, где горит Сталинград, как душа
моряка...
(И Волга замедлила свой нескончаемый бег.
На берег взошел,
будто на пьедестал,
человек...)
Полоска земли вся насыщена дымной
бедой.
Полосочка узкая, словно ребячья ладонь.
Но этот великий клочок, будто сердце,
вместил
и смерть, и бессмертье, и память,
и фланги, и тыл...
Полосочка узкая.
Быть здесь врагу не резон.
Вдвоем не поместимся мы:
или я или он!..

Атаки, атаки. Клубится большая война.
И странно, что где-то живет на земле
тишина.
Вновь выползли танки.
И дышат в лицо. И Земля
так гулко грохочет, как будто броня
корабля!..
А танк приближается.
Лезет пехота за ним.
«Мы бросили якорь, ребятки!
И мы постоим!..
По танкам — огонь!..»
И граната с врагом говорит.
И танки горят.
И размолотый камень горит...
Атаки, атаки.
Усталостью руки свело.
Какая сегодня погода! Какое число!
И снова — атака.
И нет никакого числа...
Последняя пуля за смертью фашистской
ушла.
Осталась бутылка, в которой — горючая
смесь.
Ну, что же, товарищ,
сверши справедливую
месть...
Бутылка в руке взорвалась!
Пошатнулся матрос...
И вспыхнул над Волгой костер
в человеческий рост!
И возглас последний сгорел на губах
у него.
И не было ночи. А было огня торжество!
И дымные руки над битвой огонь
распростер.
Но ринулся к вражьему танку высокий
костер!..

Так песенный Данко вошел
в сталинградские дни.
Пред этим костром
да погаснут все в мире
огни!
Пред мужеством этим
любая бравада
мертва...
Сквозь грохот разрывов беззвучно
звучали слова.
И, словно опомнившись,
на постаревшем ветру,
Земля
с материнскою лаской приникла
к костру...
Здесь бой умирал.
А за ним начинался другой.
Все видели: плакал огонь.
И смеялся огонь!

«16 ноября. Сегодня получил письмо от жены. Дома надеются, что до рождества мы вернемся в Германию, и уверены, что Сталинград в наших руках. Какое великое заблуждение!.. Этот город превратил нас в толпу бесчувственных мертвецов... Сталинград — это ад! Каждый божий день атакуем. Но даже если утром мы продвигаемся на двадцать метров, вечером нас отбрасывают назад... Физически и духовно один русский солдат сильнее целого нашего отделения...»

(Из дневника гитлеровского солдата).

ГОЛОС ЧЕТВЕРТЫЙ

Матвей Путилов

Нависли крупно облака.
Планете вьюгою грозят.
Но тяжелее снежных туч
над полем
«юнкерсы» висят.
И перепахана Земля.
И страшно на нее смотреть.
А снег уже темней земли!
А снег уже привык гореть!..
И посреди такой зимы и посреди таких
снегов
лежат тугие провода,
как нервы армий
и полков...

И вот — меж мертвых и живых,—
превозмогая боль в боку,
связист Путилов держит путь
по тоненькому проводку.
Связист Путилов держит путь.
А где-то в проводе разрыв.
С трудом налаженную связь
перечеркнул
случайный взрыв.
Связист Путилов держит путь.
Его глаза воспалены.
Идет по проволоке он
под куполом
большой войны!..
Нашелся чертовый разрыв!
Связист глядит, остановясь.
У батальона будет жизнь.
У батальона будет связь...
А взрывы — словно черный пес!
То — впереди, то — позади.
И пули —
тысячами игл.
И сразу горячо в груди!..
Путилов падает на снег.
Но успевает он, упав,
концы холодных проводов зажать
в мертвеющих зубах.
Он в батальонных списках есть,
а в жизни
нет его уже...

Но ожил мертвый телефон
в дивизионном
блиндаже!
Пообещал комбат держать
захваченный вчера плацдарм.
Потом начштаба говорил,
потом — усталый
командарм.
По проводу текли слова,
полками двигали слова.
А после
пару веских фраз
промолвила сама
Москва.
Ей доложили, что теперь
фашистский левый фланг
увяз...
Путилов так и не вздохнул,
чтоб не нарушить
эту связь...

А рядом продолжался бой.
И шла война.
И снег валил.
И, медицине вопреки,
связист губами шевелил!
Шептал под белой пеленой,
шептал под навесным огнем.
Связист Путилов говорил
через войну
с грядущим днем.
«Прощайте...—
говорил солдат,—
Прощайте...
Холодно во мгле...
Желаю вам просторно жить
на торжествующей Земле!..
Влюбляйтесь!..
Пойте!..
Славьте жизнь
до самой утренней зари!..
Я перед смертью пить хотел.
О, как горело все внутри!..
Стакан воды из родника
поставьте посреди стола...
Не смог я жажды утолить.
Она
сильней меня
была...»

«19 ноября. Русские перешли в наступление по всему фронту. Колесо истории действительно движется вперед. Только на этот раз оно прокатилось по нашим спинам...»
(Из дневника гитлеровского солдата).

ГОЛОС ПЯТЫЙ

Робия

Душной ночью вокруг села
ходят волны
тюльпанной мглы.
Как прекрасен стан Робии!
Ах, как плечи ее круглы!
На лице ее — тень кудрей.
И клянусь, что расслышал я,
как твердил всю ночь соловей:
«Робия... Робия... Робия...»
Не в долинах и не в садах собирал
тюльпаны Ахмад —
с губ ее собирал цветы,
собирал тюльпаны
Ахмад.
И, прислушиваясь к соловью
и не слушая соловья,
в чистоте бездонной реки утонула сейчас
Робия.
Ночь влюбленных была из разлук, встреч
и снова — встреч и разлук.
Было — жарко. Было — легко. Было —
медленно. Было — вдруг.
Тайну этой ночи петух разгласил,
крича на беду.
И хотела заря украсть
с неба утреннюю звезду...

«О, заря, погоди чуток!
О заря, не вставай зазря!
За горами лобудь, заря.
Опоздай немного, заря!..
Не кончайся, хорошая ночь!
Обожги меня, утоми...
Черный отблеск моих волос
в продолженье себе возьми...
Небо звездное надо мной, как расшитый
полог шатра.
На горячее ложе мое
звезды сыплются до утра!..
И неправда, что ночь — темна,
и неправда, что страшно в ней!
Ночь, как праздник, освещена
жгучим солнцем любви моей...
Утро, если наступишь ты,
сразу силу не набирай.
Ты на косах длинных моих,
как на звонком чанге,
сыграй.
Прикоснись неслышно ко мне,
наклонись легко надо мной.
Извлеки неземной мотив
из меня, на редкость земной...
Я — любовь.
Я — цветок.
Прости...
О, как сладостно мне цвести!..
Счастье ночи, не уходи!
Ты и радость моя и грусть.
Я узнала, что груз любви —
это самый нелегкий груз...
Расправляет крылья птенец,
от полетов сходя с ума.
А израненное крыло
та же птица тащит сама...
Я — разбуженная весна.
Я безжалостно молода.
Разной буду я, но такой
я не стану уже
никогда!..
Если кончится эта любовь
и забуду я о весне,
все твои объятья потóм
камнем лягут на плечи мне...»

Засмеялось утро в ответ.
И, заканчивая разговор,
раскаленное добела,
солнце вынырнуло из-за гор...
Собирался в дорогу Ахмад.
На краю родного села
ждали всех уходящих в путь
родниковые зеркала.
Руки женские, как кольцо. И дыхание
возле лица.
Поцелуем пришлось кольцо разорвать!
И — нету кольца...
Мать свершила над сыном своим,
по обычаю, древний обряд.
Подвела его к роднику.
«Возвращайся живым, Ахмад...»
И заплакала, как во сне.
И стояла
темным-темна.
Показалось Ахмаду вдруг, что ребенком
стала она...
Конь дрожал и ржал под седлом.
Миг безделья его томил.
И отцовская плетка в руке.
Как последняя точка...
Аминь.

«23 ноября. Русские снайперы и бронебойщики подстерегают нас днем и ночью. И не промахиваются... Пятьдесят восемь дней мы штурмовали один-единственный дом! Напрасно штурмовали... Никто из нас не вернется в Германию, если только не произойдет чуда. А в чудеса я больше не верю... Время перешло на сторону русских...»

(Из дневника гитлеровского солдата).

ГОЛОС ШЕСТОЙ

Ахмад Турдиев

«Назло всем смертям в нашем доме — «доме Павлова» — родился ребенок. Девочка. Все зовут ее Зиной [1], а я — Зиндаги — Жизнью...»

(Из письма Ахмада ТУРДИЕВА).

На реке полыхает огонь,
И ползет по дороге огонь.
Нет огня сейчас в очаге,
он теперь на пороге — огонь.
Даже небо в его руках.
Даже недра в его руках.
Вместо самых ярких цветов
он один расцвел в цветниках!
Он повис на ветках в саду.
Он теперь —
судья и палач...
Вдруг в таком невозможном аду
я услышал
младенческий плач!
Быть не может! Горят облака,
и обугливается рассвет,
автомат раскалился в руках!
А ребенку и дела нет!..
Я привык к разрывам гранат,
к орудийному гулу привык.
Самолеты идут на нас,
не смолкает надрывный рык...
Заглушая голос войны,
и беспомощен и велик,
из подвала,
из глубины
раздается младенческий крик!..
Этот крик не слышать нельзя.
Этот крик не понять нельзя.
Боль Земли и женщины боль
в нем слились, пощады прося.
Вековечный свершился закон,
миру жителя принеся!
И у матери молодой
прояснились большие глаза.
В доме девочка родилась...
Сколько я по Земле шагал,
столько раз хоронил друзей,
так безжалостно мстил врагам,
столько раз ревел надо мной
ослепительный ураган!
Запах юности, запах жизни,
припадаю к твоим ногам!..
Доброй памятью мирных дней,
будто снегом, нас замело.

[1] Зина Селезнева до сих пор живет в Волгограде.





Вижу: в лица моих друзей
на секунду детство вошло.
Поднимается из руин новый город.
В нем так светло!
О зерне тоскует Земля
и распахивается тяжело.
В доме девочка родилась...
Вспомнил я о тебе, Гиссар!
И тебя я увидел, жена.
Жизнь моя. Драгоценный дар.
Ночью нынешнею тебе
я большое письмо написал.
Лампы не было.
Вместо нее
в двух шагах полыхал пожар...
И сейчас горят тополя.
Мины падают. Чавкает грязь.
Самолеты — в который раз.
И атаки — в который раз...
Нас здесь двадцать.
Здесь — наша власть.
Власть людей. Советская власть!..
Посреди небывалой войны
нынче девочка родилась...
Есть Земля — ее колыбель,
Есть Земля — дом ее родной.
Мы баюкаем малыша под смертельною
пеленой.
Знаю я:
ни один волосок не падет с головы льняной.
Пусть мы держимся на волоске.
Пусть пожарище — шар земной...
В этом доме, где столько раз
все снарядами разметено,
в доме, где по расчетам врага
быть живых уже не должно,
есть любви высочайший знак,
есть грядущей жизни зерно.
Значит, все величье Земли
в этом доме заключено!
Это наш последний рубеж.
Это наш последний редут.
Если этот дом упадет,
значит, все дома упадут...
Спи, малышка. Не верь войне.
Люди ждут тебя! Очень ждут.
Будь спокойна: за этот порог
никогда враги не пройдут.

«28 декабря. Лошадей съели. Осталась только породистая генеральская буланка, до которой ни руками, ни зубами не дотянешься. Неужели генерал надеется на этой полудохлой кляче удрать от возмездия?! Наши солдаты теперь похожи на смертников. Они задерганно мечутся в поисках хоть какой-нибудь жратвы. А от снарядов никто не убегает — нет сил идти, нагибаться, прятаться... Проклятье войне!..»

(Из дневника гитлеровского солдата).

ГОЛОС СЕДЬМОЙ

Матушка Асал

Величавый стан Робии, словно яблоня
в сентябре,
округлялся и тяжелел,
к урожайной готовясь поре.
Умывался росою ночной, тихо листьями
шевеля.
Становилась для Робии с каждым шагом
круче Земля,
становилась трудней Земля, словно кто-то
силу украл.
Первый плод весенней любви
платья старые распирал.
Первым будущим молоком наливались
груди в ночи.
Вороненые косы ее стали, словно корни арчи.
Часто плакала Робия,
в страхе плакала Робия.
Как под выстрелами газель,
ночью вздрагивала Робия...
Если яблоня тяжела, то подпорку ищет она.
Если женщина тяжела, повитуха будет нужна.
Созревает великий плод!
Он основа и свет гнезда.
И не только округа ждет появленья того
плода!
В именитом городе, где нет
ни птиц,
ни крыш,
ни дверей,
где считает черный огонь,
что он жизни самой мудрей,
в этом городе фронтовом,
в дальнем городе у реки
ждут рождения малыша
все дивизии и полки!..
И нельзя на Земле найти
ни одной обходной тропы.
В танке, лезущем напролом,
нынче вертится ось судьбы!
Наступили такие дни,
наступила такая жизнь,—
стала ось вращенья Земли
осью танков и бронемашин!..
Здесь — истории голоса.
Здесь — истории берега.
Знаю:
все надежды врагов
унесет в темноту река.
Ибо встали богатыри в неприступных днях
и ночах.
Землю держат они в руках.
Небо держат они на плечах!..
...Увели к соседям мужчин.
На огне кипела вода.
Повитуха гремела ведром, молчаливая,
как всегда.
Час пришел. Долгожданный час.
И немыслимо злая боль
навалилась на Робию,
потащила ее за собой...
Как надрывно выла она!
Как металась она, крича!
И мерцала над головой
странно крохотная свеча...
Женский долг.
Изначальный долг.
Ты — и подвиг и ремесло,
Кто же сможет боль утолить,
чтобы не было так тяжело!!
Что охотник знает про боль!
Вот он замер, увидев цель.
И, сорвавшись с крутой скалы,
плачет раненая газель!
Все пытается на ноги встать.
Все о чем-то просит она...
А над миром пули летят.

А над миром гудит война...
Просветлели глаза Робин.
Ночь дрожит, отпрянув от крыш.
«Почему не кричит малыш?..
Почему не кричит малыш!!!»
И тогда соседка, вздохнув,
слово «мертвый» произнесла.
Тяжело заскрипела дверь.
Повитуха домой ушла...
Словно маленький детский гроб
все качается колыбель.
Материнская страшная боль
не вмещается
в колыбель!..
Утром
мертвого малыша за село на погост унесли...
Робия глядит в пустоту,
словно в душу горькой Земли.
Боль смертельная, острая боль,
будто пуля в ее груди.
Вместо доброго молока —
только слезы в ее груди...
Смерть ребенка так тяжела,
так таинственна, так горька,
так обидна она, хотя жизнь его —
как жизнь мотылька.
Но обида за тех, кто ждал.
Ждал в заботах, письмах и снах...
Стонет женщина по ночам
в четырех холодных стенах.
Дом пустой.
Колыбель пуста.
Опалили огнем любовь.
Грудь — как будто горячая печь,
где никто не печет хлебов.
Стала очень близко война.
Робия рыдает навзрыд.
В доме — дым. Невозможный дым.
Оттого что сердце горит.

«30 января. Удивительно солнечный день. Постоянно летают русские самолеты. Они методично перепахивают землю. В 12 часов Геринг утешающе говорит по радио, что мы не отступим. В 16 часов то же самое говорит Геббельс... Мне опять стало дурно... Русские полностью окружили армейский корпус. Мы — в мешке... Никто не помнит войны, которая проходила бы с такой ожесточенностью. Вот Волга, а вот победа... Со своей семьей я, пожалуй, увижусь только на том свете.

31 января. Фельдмаршал фон Паулюс в своем обращении, а может, и завещании препоручил наше будущее богу...»

(На этом дневник и жизнь его автора обрываются).

ГОЛОС ВОСЬМОЙ

Василий Иванович Чуйков

2 февраля 1943 года.

Большая Земля, немая Земля,
прости, что тревожу священный прах.
Мои побратимы лежат в тебе,
сразившись за совесть, а не за страх.
Кровью героев, кровью друзей
здесь щедро полита каждая пядь.
Простите, родные,
если я буду
по безымянным могилам ступать...
Помните! Нам опалило глаза
дыханье черной пурги.
Надменной тучей пошли на нас
безжалостные враги.
И клятву тогда Сталинград произнес,
встречая военные дни.
И стали бронзовыми слова,
так сказаны были они!
«Мы здесь, в Сталинграде, клянемся стоять.
Мы в эти камни вросли.
Клянемся насмерть стоять!
Для нас
за Волгой
нету земли!..»
Границы клятвы были крепки,
вмещая город сполна.
Восточной границей была река,
западной — мировая война.
Начало ее проходило, дымясь,
по улице Ленина,
а потом
граница войны, извиваясь, ползла,
то огибая какой-нибудь дом,
то надвое перерезая дворы,
то проходя сквозь жилища людей,
то оставляя детей без отцов,
то оставляя отцов без детей.
Острое лезвие черной войны
лезло сквозь души и сквозь сердца.
Не было жалости в этой войне.
Не было этой войне конца.
Ее грохочущие следы
были впечатаны,
были видны
в каждой груди,
в каждом дворе,
в каждом городе нашей страны.
Планета вздрагивала от пуль.
Планета была войною больна.
Война проходила по сердцу мира.
За сердце мира
велась война!
Здесь даже дома, научившись кричать,
раненные,
оставались в строю.
Верность доказывалась в бою.
Клятвы доказывались в бою.
Здесь не отыщешь легкой судьбы.
Здесь для спасения не было вех.
Здесь проверялась на прочность
жизнь.
Здесь проверялся на жизнь
человек...
И падал солдат.
И пальцы его,
держащие мерзлый комок земли,
уже казались корнями,
которые
до самого центра планеты шли...
И вот —
одинаковые, как смерть —
двести дней и двести ночей
образовали тяжкую цепь
для обуздания палачей!
Железным сделался человек,
железными сделались берега.

Звенья этой огромной цепи,
лязгнув,
сошлись на горле врага!..
О мама!
В атаку пошли полки
живых и мертвых твоих сыновей.
И очень скоро к тебе подполз
уже безоружный, плененный зверь.
Родина,
ты победила в войне
и продолжаешься в сыновьях...
Земля Сталинграда,
прости меня
за то, что тревожу священный прах!
Кровью героев, кровью друзей
здесь щедро полита каждая пядь.
Спите, родные...
По этой земле
клянусь я осторожно ступать.

МАТЕРИНСКИЙ ГОЛОС

Над прахом детей

Как будто стая голубей,
слетела вьюга на курган.
Железные пласты снегов разбросаны
по берегам.
Здесь у зимы — железный звук,
железный нрав,
железный счет.
Здесь даже солнце холодит.
Здесь даже зимний ветер жжет!..
В один из незабвенных дней зимы,
в начале февраля,
приходят матери сюда —
возвышенные, как Земля.
Идут — спокойны и мудры.
Идут — проведать сыновей.
За вечностью идут своей.
За памятью идут своей.
Боль матерей за все века
вместить Земля бы не смогла,
для этой боли тесен мир,
планета для нее мала!..
О мама!
Я — должник твоих пронзительных,
седых волос.
И черного, как ночь, платка.
И вечных слез, прощальных слез.
Какое слово зазвучит из потрясенной
немоты?
В соцветье траурных цветов
родной цветок найдешь ли ты?
Ведь тяжесть на твоих плечах сейчас такая,
что под ней
крошится мрамор
и дрожат тугие мускулы камней.
Ты ищешь сына своего?
Он высоко, так высоко,
что до него дойти тебе,
родная, будет нелегко.
Он — выше облаков и гор.
Лишь звезды светят вровень с ним...
Ты на плечо мне обопрись.
Я стану посохом твоим...
О мама!
Почему молчишь?
Узнала сына своего?
Каким он стал огромным — сын!
Не сможешь ты обнять его.
Прижалась белой головой к сыновней
каменной груди.
Не слышно сердца.
Горечь слез
ты этим камнем остуди.
А может, камень оживет,
когда в него слеза твоя
вольется?
И очнется сын. И встанет из небытия!..
Цветы на строгую ладонь
в молчанье положила ты.
А сын ладони не сомкнул.
А он не взял твои цветы.
Обиделся?
Совсем не то!
Пожалуйста, поверь ты мне:
сын, не вернувшийся с войны,
так и остался на войне!
Он занят боем до сих пор.
В ушах его война звучит.
И рана на его груди
по-прежнему кровоточит.
Бессмертие в него вошло,
и он к бессмертию приник...
Ты на плечо мне обопрись.
Я — посох твой.
Я — твой должник...
Ступени, как война, круты.
Ступени, словно жизнь, длинны.
Пред взором матери-Земли
вдруг распахнулись две стены.
Она стоит меж этих стен,
взметенных на дыбы камней,
и звуки боя до нее
доносятся из давних дней...
Сквозь стены, будто сквозь века,
глядят солдаты той войны,
которой — и до сей поры —
сердца людей обожжены!..

Ты ищешь сына?
Вот он спит, умаявшись в бою ночном.
Спит на коленях у тебя
нездешним, бесконечным сном.
Прикрыто знаменем лицо родное.
Но коснуться щек
сыновних
ты бы не смогла:
он так тяжел, гранитный шелк!
Он, этот шелк, сейчас горит
и над твоею головой...
Ты на плечо мне обопрись.
Я — твой должник.
Я — посох твой...
Мы вместе входим в Пантеон —
обитель гордой тишины.
А часовые на посту
так ослепительно юны!
Стоят они, как близнецы.
Но в лицах этих близнецов
гранитность есть!
Не зря они
похожи на своих отцов...
На шелке каменных знамен —
людей живые имена.
Знамена, словно сюзане.
И мать идет, ослеплена.
И, словно вглядываясь вдаль,
все ищет сына своего.

Словно читает ло складам,
не лропуская ничего.
По залу круглому идет
с печально белой головой,
как будто солнце над Землей
круговорот свершает свой!
Но вот она застыла.
И —
за нею,
подчиняясь ей,
остановился бег светил
и звездолад ночей и дней!
Она к безмолвным небесам лицо и
руки лодняла,
и стоном скорби в тот же миг
стена оллавлена была!..
И, веря ламяти своей,
наитью веря своему,
сказала женщина: «Сынок..»
И тихо лодошла к тому
солдату,
что стоял, застыв,
лочти что ламятником став.
И горд был юношеский взгляд.
И тверд,
как воинский Устав...

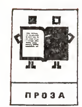
О мама!
Самых снежных гор достичь
тоска твоя могла.
Ждала ты своего орла.
Звала ты своего орла.
Не дождалась,
не дозвалась,
не докричалась до сынка.
Была и для твоей тоски
дорога слишком далека!..
Сын отыскался.
Здесь он слит.
Дотронься до него рукой...
Нет, не дотронулась.
Нельзя сыновний нарушать локой...

О мама!
Седина твоя слилась с грядою облаков.
Ты — ярче солнц.
Ты — выше всех небесных и земных богов.
Мелеют реки и моря.
В лесок стираются хребты.
А ты незыблема, как жизнь.
И, как она, бессмертна ты!..

Я доложу к твоим ногам
ступеньки
благодарных строк.
Все то, что я успел лонять.
Все то, что я увидеть смог.
Я доложу к твоим ногам все,
что вблизи и что вдали.
Надежды дерзостной Земли.
Грядущие мечты Земли.
И небеса,
и шар земной, летящий круто и светло.
Шар,
где могилам нет числа.
А колыбелям
есть число...
Словам высоким и лростым
ты изначальный смысл верни.
И жизнь людей,
и жизнь планет,
и жизнь времен
соедини.







ПОВЕСТЬ

ЮРИЙ
ДОДОЛЕВ

НА ШАБОЛОВКЕ, В ТУ ОСЕНЬ...

Да. Нас года не изменили.
Живем и дышим, как тогда,
И, вспоминая, сохранили
Те баснословные года...
А. БЛОК.

1

Я узнал его сразу. Он шел скорым шагом, отбрасывая назад правую руку; левая рука покоилась на лямке солдатского «сидора», висевшего на плече. Был он в выцветшей, тесноватой гимнастерке без погон, в таких же выцветших и тесноватых брюках; ботинки посерели от пыли, много раз стиранные обмотки доходили до колен; щеки запали, на загорелой коже четко выделялись два шрама: один — на лбу — старый, довоенный, и другой, свежий — с багровой полоской посередине.

— Дядя Ваня! — крикнул я.

Он остановился, прижал палец к губам. Но было уже поздно: Вера выглянула в окно, вскрикнула и через несколько мгновений появилась во дворе — простоволосая, в наспех наброшенном халате, шальная от счастья. Дядя Ваня раскрыл объятия и...

Было раннее осеннее утро. Еще минуту назад я просто вдыхал холодный воздух, чувствуя, как он проникает в мои легкие. Я испытывал то, что, должно быть, испытывают первооткрыватели. Еще никогда я не видел наш двор в столь ранний час. Смотрел и удивлялся. Все, к чему я привык, представлялось мне похожим и в то же время нет. Земля была влажной, в неглубоких лужицах желтели кленовые листья, на крышах лежала роса, с улицы не доносились трамвайные звонки, на окнах пестрели занавески — синие, белые, голубые, в цветочках. Все затаилось в ожидании солнца. Оно взошло, но его скрывали облака, клубившиеся на горизонте. Облака были янтарными. Солнце, казалось, барахтается в них. Оно никак не могло выбраться из облаков, но голубое

Рисунки
Георгия
ПОНДОПУЛО.

небо, подернутое серой дымкой, предвещало солнечный день, какие бывают в первой половине осени, когда начинают опадать листья, жухнет трава, перелетные птицы собираются в стаи, когда чаще, чем обычно, идут дожди и душа наполняется грустью.

Я встал по армейской привычке в шесть. Я еще не освоился с новой обстановкой, мне казалось: в любой момент может прозвучать команда и я снова потопаю туда, куда прикажут. Все — двор, соседи — воспринималось мной как что-то родное, близкое, но полузабытое. Все будило сладкие воспоминания, казалось сновидением, которое может внезапно оборваться.

Я приехал домой три дня назад. Меня комиссовали «по чистой». Грудь была пробита навылет, другой осколок сидел у позвоночника. Спина побаливала. Особенно часто она ныла к непогоде и по ночам, когда я лежал с открытыми глазами и думал. Меня комиссовали только потому, что кончилась война. Годом раньше мне написали бы: «Годен к нестроевой» — и отправили бы снова в хозвзвод или еще куда-нибудь, и запросто я мог бы очутиться на передовой — на фронте не обращали внимания на то, что написано в солдатской книжке, руки-ноги есть, значит, можешь воевать. Тяжелое ранение (два легких, которые были ранее, не в счет) я получил в апреле. Четыре с половиной месяца провалялся в госпитале, далеко от Москвы, а теперь оформлял инвалидность на год и подыскивал работу. Впрочем, я только делал вид, что подыскиваю. На самом деле я уже определился — снова решил идти на 2-й ГПЗ, на «Шарик», как называли этот завод у нас во дворе, где работал до призыва, где меня помнили, где мне обещали промтоварный ордер на костюм, дополнительное питание и всякие другие блага, в которых я нуждался и без которых пока не мог обойтись...

— Где твои волосы? — спросил дядя Ваня, припав щекой к Вериной щеке.

— Отрезала,— пробормотала Вера.— Густые они были, а мыть нечем.

— Я так тосковал по тебе,— прошептал дядя Ваня.— Так тосковал.

— И я,— ответила Вера. Она не двигалась, не отступала от мужа ни на шаг.— Но верила: вернешься. У кого хочешь спроси — верила.

— Знаю,— выдохнул дядя Ваня.

Я почувствовал: выступили слезы. Это были слезы умиления, и я удивился, когда понял, что означают они. Я совсем позабыл, что четыре года назад люто ненавидел Вериного мужа, считал его негодяем.

Дядя Ваня гладил волосы жены и что-то говорил. Я не слышал, что он говорит, только догадывался. Я смотрел на дядю Ваню, Веру и вспоминал.

Дядя Ваня поселился в нашей квартире незадолго до войны. Был он видным мужчиной — широкоплечим, сильным. Лицо у него было мужественным, под стать фигуре, нос — чуть сплюснутым; массивный подбородок рассекала вертикальная бороздка — признак упрямства. На лбу, над левой бровью, виднелся шрам. Дядя Ваня работал шофером на грузовике, часто приезжал в наш двор. Иногда он разрешал мальчишкам посидеть на продавленном дерматиновом сиденье, покрутить руль. За это все мальчишки любили дядю Ваню. Все, кроме меня.

С появлением дяди Вани наша соседка Елизавета Григорьевна стала завлекать его. Раз по пять в день она стучалась к дяде Ване и, притворно смущаясь, спрашивала у него то отвертку, то молоток, то еще что-нибудь. Раньше Елизавета Григорьевна не обращала внимания на свой внешний вид — весь день ходила нечесаная, в драном халате, а теперь появлялась на кухне с укладкой, подкрашенными губами, всегда в новом халате или нарядном платье — хоть сейчас в театр. Все, конечно, смекнули, в чем тут дело, стали судачить по этому поводу.

Наша квартира жила ожиданием скорой свадьбы. Все желали Елизавете Григорьевне счастья, хотя и говорили за глаза, что дядя Ваня ей не пара ей: во-первых, выпивает, а во-вторых, уж больно молодой — на десять лет моложе Елизаветы Григорьевны.

Дядя Ваня усмехался. Он охотно разводил с Елизаветой Григорьевной тары-бары и даже пил у нее чай, но к себе не приглашал.

Утром он умывался на кухне. Шумно фыркал, похлопывал себя по мускулистой, выпуклой груди, на которой росли светлые, свитые в тугие колечки волосы. Потом дядя Ваня ставил на примус чайник и уходил одеваться. Возвращался в спецовке, в кожаной фуражке как раз к тому времени, когда на чайнике начинала дребезжать крышка.

Елизавета Григорьевна порхала по кухне в цветастом халате и что-то говорила с заискивающей улыбкой. В эти минуты ее голос становился приторным, противным. Дядя Ваня жевал бутерброд и мычал в ответ. Елизавета Григорьевна кивала, а соседи улыбались, очень довольные, что все это происходит у них на глазах.

Так продолжалось месяца три, а потом дядя Ваня взял и женился. Все вначале подумали, что это просто так: дядя Ваня и раньше приводил женщин. Елизавета Григорьевна в эти дни, естественно, волновалась. Когда дядя Ваня выпроваживал очередную пассию, она успокаивалась. Поправляя волосы, говорила, что дядя Ваня покуда не муж ей, что она его не осуждает, что ему, само собой, надо погулять, потому что он молодой.

— Вот когда распишемся...— добавляла Елизавета Григорьевна и поджимала губы.

Когда в нашей квартире появилась Вера, никто и не подумал, что она жена дяди Вани. Все сказали лишь, что эта женщина не чета прежним увлечениям — уж больно хороша.

Моя бабушка помалкивала. Она, наверное, сразу смекнула, что дядя Ваня привел ее навсегда.

На второй день после появления Веры Елизавета Григорьевна сказала ей на кухне при всех гадость. Вера оторопела. Перевела на обидчицу чуть раскосые глаза с длинными, будто приклеенными ресницами, спросила шепотом:

— Зачем вы так? Ведь я не кто-нибудь ему, а жена.

— Жена! — фыркнула Елизавета Григорьевна.— У него таких жен...

— Знаю,— тихо сказала Вера и опустила наполненные слезами глаза.

Лицо у нее было скуластеньким, с острым подбородком, волосы — по пояс. По сравнению с дядей Ваней она казалась маленькой, хотя на самом деле была одного роста с Елизаветой Григорьевной, только тоньше.

Елизавета Григорьевна с победным видом оглядела всех и стала громко срамить Веру. Она расхаживала по кухне — три шага в одну сторону, три в другую,— и полы ее нового, недавно сшитого халата раздвигались, обнажая тощие коленки.

Бабушка подошла к Елизавете Григорьевне, что-то сказала ей на ухо. Елизавета Григорьевна запахнула халат и бросила в лицо оробевшей Вере:

— Вот так-то, милочка!

— Ей-богу, он муж мне,— пролепетала Вера.

Елизавета Григорьевна рассмеялась.

— Записались мы,— с упрямой настойчивостью повторила Вера.— Я даже паспорт могу показать.

— Покажи!

Пока Вера ходила за паспортом, все молчали. Шумели примусы, чадили керосинки, пахло копотью, подгоревшей кашей.

Когда Вера вошла, все, словно по команде, повернулись к ней. Елизавета Григорьевна выхватила паспорт, уткнулась в него носом. И вдруг мы увидели: ее лицо покрывается красными пятнами. Издав смешок, она выбежала из кухни. Бабушка проводила ее сочувствующим взглядом и, повернувшись к Вере, спросила:

— Сколько лет тебе, девочка?

— Восемнадцать,— ответила Вера и вздохнула.

Первое время молодожены жили душа в душу, а потом... На исходе третьей недели одна из соседок прибежала к нам с выпученными глазами, сказала, что дядя Ваня избил Веру.

— Не может быть! — не поверила бабушка.

— Господи! — Соседка воздела руки.— Посмотрите сами, какие у нее синяки. Она говорит: ушиблась. Но разве так ушибаются? Сама не первый год замужем — всего натерпелась.

С тех пор Вера редкий день появлялась на кухне без ссадин или синяков. Она никому не жаловалась. Ее расспрашивали, ей сочувствовали — молчала. Покачивая головой, бабушка бормотала себе под нос:

— Разве можно трогать такую красоту? Изверг он. Самый настоящий изверг!

Из дяди-Ваниной комнаты часто доносились всхлипы. В эти минуты все ходили на цыпочках, косясь на дверь его комнаты. Я ненавидел дядю Ваню всем своим существом. В бессильной ярости сжимал кулаки и до боли в голове думал, как помочь Вере. Бабушка, видимо, думала об этом же. Через несколько дней, когда из дяди-Ваниной комнаты раздался стон, бабушка с решительным видом постучалась к нему.

Вернулась — лица нет: губы прыгают, в глазах растерянность.

— Что с тобой? — спросил я.

— Знаешь, как он назвал меня? — Голос у бабушки дрогнул.

— Как?

— Кадетской интеллигенцией.

Я тотчас представил бабушку в мундирчике, в брюках с лампасами и расхохотался.

Бабушка удивилась. Когда я объяснил ей причину смеха, сказала:

— То совсем другое. Кадеты — партия. Очень плохая партия!

Больше она ничего не сказала, и я так и не узнал, о чем бабушка говорила с дядей Ваней. Но после этого она еще долго бормотала:

— Интеллигенция? Конечно... Но только не кадетская, а самая обыкновенная, сочувствующая.

Бабушкино заступничество не подействовало: Вера по-прежнему ходила с опухшим от слез лицом. Так продолжалось до самой войны.

Дядю Ваню призвали на третий день. Накануне всю ночь он играл на гармошке. Пытался петь, но у него ничего не получалось.

— Я человек вольный! — выкрикивал дядя Ваня.

— Вольный, вольный,— соглашалась Вера, смеясь сквозь слезы.

Утром дядя Ваня пришел на кухню прощаться. От него пахло вином, глаза были мутными. Он поклонился всем нам в пояс, сказал:

— Если обидел кого, не поминайте лихом!

Все стали говорить наперебой, что война скоро кончится, все желали дяде Ване быстрой победы и возвращения. Вера стояла, опустив глаза, прижавшись плечом к руке мужа. За ночь она осунулась, подурнела. Под платком слегка вздувался живот: Вера ждала ребенка. Несмотря на это, она поступила на «Шарик». Родила Вера раньше срока — дома. Произошло это в октябре, когда решалась судьба Москвы, когда на один день остановились предприятия, не открылись булочные, опустел двор и на восток уходили переполненные поезда. В тот день в нашей квартире появился почтальон — старичок с ампутированной рукой. Постучавшись к Вере, он молча вручил ей письмо и быстро-быстро ушел. Через несколько секунд я услышал глухое рыдание. Это так подействовало на меня, что я без разрешения ворвался к Вере. Она стояла посреди комнаты. Из ее глаз катились слезы, губы вздрагивали. На столе лежал распечатанный конверт.

— Что случилось, Вера? — спросил я.

Она скосила глаза на конверт.

Это было извещение. В нем говорилось, что дядя Ваня пропал без вести.

Я стал утешать Веру. Я что-то говорил ей и понимал, говорю не то, но ничего лучшего не мог придумать.

Вера охнула, уперлась рукой в стол, застонала. Я продолжал говорить.

— Началось,— пробормотала Вера.

Я уставился на нее.

— Уйди! Бабушку кликни или Вековуху.

Бабушка болела, я не стал тревожить ее, побежал к Вековухе — так называли в нашем дворе Авдотью Фатьяновну Сизову, одинокую, строгую старуху. Несмотря на свои семьдесят лет, Авдотья Фатьяновна ходила бодро, разговаривала, откинув назад голову, накрытую черным платком, который она носила то в роспуск, то стягивала под подбородком широким узлом. Лицо Вековухи было высохшим, с густой сетью морщин, на левой щеке возвышалась бородавка с торчащим из нее седым волоском. С весны до глубокой осени Авдотья Фатьяновна ходила в одном и том же — длинной юбке свободного покроя и черной кофте с диковинными пуговицами — выпуклыми, четырехгранными, напоминавшими цветом сок граната.

До революции и во времена нэпа она жила в прислугах — сперва у одного адвоката, потом у другого. Женщины нашего двора часто бегали к ней советоваться. Вековуха молча выслушивала их, после чего давала совет, чаще всего правильный, если не с юридической, то с житейской точки зрения. О своем прошлом она не рассказывала.

— Кормилась,— отвечала Авдотья Фатьяновна, когда к ней приставали с расспросами.

Жила Вековуха в соседнем доме. Занимала маленькую комнату, сплошь увешанную иконами. В комнате пахло ладаном, деревянным маслом и еще чем-то. Под окном с резными наличниками росли цветы — Авдотья Фатьяновна продавала их на Даниловском рынке, хотя и говорила, что это грех. Когда началась война, цветы перестали покупать, и на сухих, потемневших стеблях покачивались завядшие георгины.

Вековуха поняла меня с полуслова.

— Ты на дворе покуда побудь,— сказала она, когда мы подошли к нашему дому.

В тот день Вера родила мальчика. Назвала его в честь отца Ваней. В декабре 1943 года, когда я уходил в армию, ему было больше двух. Этот маленький человечек, чем-то похожий на мать, а чем-то на отца, сидел взаперти, пока Вера находилась на работе, и не плакал. Он был очень спокойным, этот Ваня.

— Вот ведь он какой,— нахваливала сына Вера.— Описается, мокрый весь, голодный — и ничего.



Придя с работы, Вера варила кашу. Потом стирала в чуть тепловатой воде рубашки и штанишки. Мыла не было — она терла белье золой.

Вера страдала молча. Она никогда не плакала, никогда не жаловалась на свою судьбу, но я чувствовал — ей очень и очень тяжело. Она не хотела верить, что муж не вернется. Все мечты о будущем начинала словами: «Вот вернется Ваня...» Я удивлялся про себя, не понимал, как можно любить такого мужа, каким был дядя Ваня. Так и сказал Вере. Она бросила взгляд на меня:

— Молодой ты еще, зеленый, многого недопонимаешь...

Я смотрел сейчас на сильные мужские руки, скользящие по женским волосам, и старался предугадать, как будут жить эти люди. Никакой уверенности, что дядя Ваня изменился, стал другим, у меня не было — память цепко держала то, что я видел и слышал до войны.

2

Есть в Замоскворечье улицы, которые до войны обходила стороной строительная лихорадка. В годы первых пятилеток на этих улицах возводилось два-три дома, а чаще ни одного. Большинство улиц Замоскворечья оставались такими, какими привыкли их видеть наши бабушки и дедушки — те, кто родился тут, любил, страдал, растил детей и потом умирал, как умирает пламя на оплывшем огарке. Реконструировалась улица Горького, возводились облицованные светлым камнем дома, открывались новые кинотеатры, клубы, а на тихих улицах Замоскворечья ничего не изменялось. Тут все, даже новая колонка, воспринималось как событие. Проложенная трамвайная линия вызывала такой оживленный обмен мнениями, что у хозяек убегало молоко, подгорала картошка.

Мостовые на этих улицах были выложены булыжниками, автомобили подпрыгивали на камнях, плевались фиолетовым дымом, подводы грохотали так, что закладывало в ушах. Тротуар напоминал лобитые оспой лица: был он в выбоинах, в которые стекала дождевая вода. Земля в выбоинах никогда не просыхала: темная и густая, она напоминала ихтиоловую мазь. Дома стояли впритык. Некоторые из них выпирали фасадами на тротуар, другие теснились в глубине дворов, скрытые деревьями, заборами, сараями, кучами земли, нагроможденной вдоль траншей, вырытых неизвестно для чего.

Дома побольше и получше — так рассказывала моя бабушка — принадлежали в стародавние времена купцам. На первом этаже такого дома, сложенного, как правило, из красного кирпича, размещались до революции лавка или трактир; на втором этаже жили хозяева — похожие на бочки купцы и трактирщики со своими домочадцами; на третьем, под самой крышей, ютились в тесных каморках с маленькими оконцами бойкие приказчики с напомаженными волосами, половые и прочий служивый люд, без которого купец не купец и трактирщик не трактирщик.

На улицах Замоскворечья было много деревьев — кленов, берез, тополей. Одни из них росли во дворах, свободно раскидывая ветки, другие «выбегали» на улицы, вспучивая корнями асфальт, усеивая мостовые то белым пухом, то опавшими листьями. Осенью листья сгребались в огромные кучи и поджигались. Горели они медленно, распространяя удушливый смрад. Многие деревья были выше домов. На фоне огромных тополей и берез дома казались еще ниже и неказистей, чем на самом деле.

На каждой из улиц Замоскворечья хранились свои предания, из уст в уста передавались истории, от которых то стыла кровь, то разбирал смех. Не где-нибудь, а в Замоскворечье, точнее, на Шаболовке, жил во времена нэпа извозчик Комаров, разбойник и убийца. Мимо его дома я ходил в школу. Когда учился в первом классе, пробегал, зажмурив глаза; повзрослев, с любопытством посматривал на этот ничем не примечательный дом... На Донской улице, возле монастыря, как утверждали старухи, незадолго до революции было видение, по которому «сведущие» люди определили, что скоро скинут царя. За это «сведущие» люди, естественно, поплатились, но их пророчество сбылось.

Много разных историй — смешных, грустных и страшных — ходило по улицам Замоскворечья.

Летом, когда подолгу не бывало дождей, ноги погружались по щиколотку в пыль, мягкую и густую; весной, в распутицу, и осенью, во время затяжных дождей, тут можно было увязнуть по колено.

На калитках и дверях висели, как в деревне, почтовые ящики, над крышами кувыркались голуби. Весной и летом мальчишки запускали змеев. Большие и маленькие, с хвостами, сделанными из мочала, эти змеи с утра до вечера висели над улицами и переулками Замоскворечья.

В окнах зеленела герань, на лавочках, у ворот, весь день сидели белоголовые деды, скрестив на набалдашниках скрюченные подагрой пальцы. Деды уходили спать рано, как только солнце скрывалось за горизонтом. Вместо них, чаще всего в те вечера, когда воздух, казалось, застывал и в нагревшихся за день комнатах становилось невмоготу, на лавочках располагались словоохотливые старухи в платочках и пожилые женщины, возвратившиеся с работы и уже успевшие сготовить ужин, постирать, выкупать ребятишек. Перебивая друг друга, старухи перемывали косточки ближним, а уставшие женщины сидели молча.

Я очень любил такие вечера. Облокотившись на подоконник, смотрел вниз, вытирая выступивший на лице пот. Окна были распахнуты настежь, откинутые шторы свисали с рам наподобие кулис. Я вслушивался в шелестящие голоса старух, и мне казалось, что весь наш двор — одна большая семья и я тоже член этой семьи, пусть пока неполноправный, но все же член.

Деревянные домики, булыжники, кувыркающиеся в небе голуби, клены, березы, тополя—такой была довоенная Шаболовка, улица моего детства. Несмотря на то, что на ней были крупные фабрики, заводы, она осталась в моей памяти тихой, одноэтажной, совсем не похожей на те улицы, где что-то строилось, что-то ломалось, где жизнь представлялась совсем другой.

Наш двор не отличался от других дворов Замоскворечья: дома-развалюхи, сараи, водонапорная колонка у ворот и тишина, отупляющая тишина. Посреди двора был пустырь, служивший нам, ребятам, для игр. В центре этого пустыря ничто не росло — тут, прежде чем начать играть в прятки и казаки-разбойники, мы считались, договаривались; а по краям курчавилась, прижимаясь к домам, трава с кротхотными, блеклыми цветочками...

...Оставив позади облака, солнце устремилось к зениту. Короткие тени, похожие на скошенные прямоугольники, прижались к домам, небо напоминало только что выстиранную ткань, в пожухлой траве заблестели кусочки фольги и бутылочные осколки,

листья на деревьях шевельнулись, хотя ветра вроде бы не было.

— Пошли! — громко сказала Вера.

Дядя Ваня кивнул, и они направились в обнимку к дому. Они шли, как слепые. Они ничего не видели. Я посторонился, пропуская их, постоял несколько минут и побрел к лавочкам, вкопанным в землю под березками.

До войны на нашем дворе было девять лавочек — по одной у каждого дома и две под березками. Семь разрубили на дрова, остались только те, что под березками.

Идти домой не хочется. Дома тоскливо, одиноко, неуютно, там все напоминает бабушку.

Четыре года назад наша комната казалась мне маленькой: бабушка напихала в нее столько всякой мебели, сколько могли бы вместить еще две, если не три, такие же комнаты. Стены были оклеены темными, немаркими обоями. На них висели копии гравюр. Все копии были под стеклом. Гравюры изображали женщин в пышных одеждах и мужчин в париках. Несмотря на то, что гравюры не имели никакой ценности, бабушка очень дорожила ими. Слева от окон стоял зеркальный шкаф, украшенный поверху резьбой. В шкафу хранились отрезы, купленные еще до революции, скатерти с бабушкиным вензелем и разная мура — перевязанные поблекшими ленточками коробки и узелки. Время от времени, оставшись одна, бабушка доставала эти коробки и узелки, раскладывала их на своей кровати и разглядывала то, что лежало в них. Застигнутая врасплох, смущалась, быстро собирала узелки и коробки, совала их в шкаф, поворачивала резким движением ключ — красивый медный ключ на цепочке из белого металла. В эти минуты на бабушкином лице появлялось выражение отчужденности — такое, что пропадала всякая охота спрашивать. Кроме зеркального шкафа, в комнате было еще два других. Один из них — просто шкаф, около него меня ставили в угол, другой назывался японским, и не шкафом, а шкафчиком. Он состоял из двух отделений. В верхнем стояли крохотные чашечки и блюдца, очень красивые и очень хрупкие — дотронуться страшно, в нижнем — вазы и фарфоровые безделушки. На вазах были изображены мужчины в богатых одеждах и женщины в кимоно. На всех изделиях преобладали желтые и оранжевые цвета, отчего все это — чашечки, блюдца, вазы — выделялось на фоне черного дерева, из которого был сделан японский шкафчик. Может, от старости, а может, от чего другого, дерево приобрело матовый оттенок. Японский шкафчик казался мне самым древним предметом в нашей комнате. Так оно и было. Бабушка говорила, что японскому шкафчику столько же лет, сколько ей, матери и мне, и еще столько же. Я подсчитал: получилось двести тридцать лет. С той поры я стал поглядывать на японский шкафчик с уважением и все удивлялся, что с виду он такой крепкий — без трещин. Справа от окон возвышалась бабушкина кровать. Была она деревянная, высокая, с завитушками на спинках. Завитушек и всяких других украшений на нашей мебели было много. Наискосок от бабушкиной кровати прижималась к стене моя кровать — обыкновенная, с панцирной сеткой и тонким, похожим на блин тюфяком. Мать спала на диване с глубокой вмятиной на сиденье, которую не мог скрыть даже чехол из неотбеленной ткани. Когда я плюхался на диван, пружины издавали стон. Бабушка часто говорила: «Надо бы перетянуть пружины» — и все собиралась позвать обойщика, но каждый раз откладывала до весны, если это происходило осенью, и до осени, если это происходило весной. Диван стоял около бабушкиной кровати, упираясь в нее бортом. Другим бортом он прижимался к мраморному умывальнику, которым мы не пользовались: в нем прохудилось дно. Мать советовала бабушке вынести умывальник в сарай, где хранились дрова и разные ненужные вещи, но она, поглаживая рукой белый мрамор, говорила:

— Жалко. Он еще хороший — только дно починить.

— Тесно,— возражала мать.

— Ничего,— отвечала бабушка.

За умывальником находилась печь — высокая, до потолка; пол под дверцей был обит жестью, почерневшей от падающих на нее угольков.

Посреди комнаты был стол — массивный, круглый, на одной ножке, суженной в центре и очень широкой вверху и внизу, особенно внизу. Несмотря на то, что стол имел всего одну ножку, он стоял на полу прочно, словно влитой. На столе всегда была свежая скатерть, чаще всего та, в которой преобладал синий цвет — любимый цвет бабушки. Летом на столе стояла ваза с васильками или незабудками, осенью — с лиловыми астрами, весной — с фиалками, а зимой в вазе мокла какая-нибудь веточка, принесенная бабушкой с улицы. Я посоветовал ей купить на Даниловском рынке настоящие цветы, в горшочках, но она в ответ усмехнулась. Судя по всему, комнатные растения бабушка не признавала и довольствовалась васильками, незабудками, астрами, фиалками и самыми обыкновенными веточками.

В двух шагах от стола возвышалось бабушкино кресло, массивное, глубокое. Свое кресло бабушка любила, никому не позволяла сидеть в нем. Опустится, бывало, в кресло, словно провалится в него, нацепит на нос пенсне, раскроет какой-нибудь роман на французском языке и замрет — только макушка видна: седые, чуть взлохмаченные пряди. Так бабушка отдыхала. Отдыхала она недолго. Почитает полчаса, вскочит и пошла: топ — туда, топ-топ — сюда. Она всегда находилась в движении, была непоседой. Мать говорила, что я весь в нее. Может быть, именно поэтому бабушка очень любила меня, хотя и наказывала часто, особенно за ложь — этого она терпеть не могла. Переминаясь с ноги на ногу, я стоял в углу, около шкафа, а бабушка, глядя на меня поверх пенсне, сердилась, говорила, что я должен стоять вытянувшись, как солдатик. Я старался стоять так, но у меня ничего не получалось. «Угол» казался мне самым страшным наказанием: я не мог ни ходить, ни читать — мог только переминаться с ноги на ногу и всхлипывать.

— Прости меня, бабушка,— канючил я.— Больше не буду лгать.

— Ты это уже много раз обещал,— возражала бабушка.

— Но теперь это не повторится! — выкрикивал я.

— Потерпи, потерпи,— не сдавалась бабушка.— Тебе полезно постоять в углу.

И все же держала она меня в углу недолго. Когда истекал срок наказания, я выбегал во двор и начинал носиться как угорелый — старался поскорее израсходовать ту энергию, которая накопилась во мне, пока я стоял в углу.

Несмотря на возраст, моя бабушка была еще очень хороша собой. Спокойные, но выразительные линии губ, прямой, хотя и несколько широковатый нос, маленькие уши — все это говорило о том, что в молодости бабушка пользовалась успехом среди мужчин, и успехом немалым. В будни она носила обыкновенные платья, а по выходным и праздничным дням надевала синюю юбку и батистовую блузку с жабо. Вскоре после замужества бабушка повредила ногу, поэтому носила ортопедическую обувь, чуть прихрамывала. Это придавало ее походке своеобразие, мне казалось: бабушка не идет, а плывет. Она

свободно изъяснялась по-французски, иногда вставляла в свою речь французские слова. Чаще всего произносила слово «à propos»[1]. Но, несмотря на это, она всегда внушала мне, что богаче и выразительней русского языка во всем мире нет, огорчалась, когда я получал по этому предмету плохую отметку.

К французскому языку бабушка прибегала только тогда, когда хотела что-то скрыть от меня. Разговаривая о чем-нибудь с матерью, она неожиданно переходила на французский язык. Я тотчас настораживался. Если бабушка произносила слово «enfant»[2], догадывался: речь идет обо мне. Кроме «à propos» и «enfant», я понимал еще несколько французских слов.

За два года до поступления в школу она стала давать мне уроки французского языка. Я старательно повторял за ней трудные слова.

— Боже мой, какое ужасное произношение! — возмущалась бабушка.

Промучившись с месяц, она объявила, что французский язык мне не осилить, и позаботилась, чтобы я попал в ту школу, где изучали немецкий. Этот язык бабушка считала легким...

На самом почетном месте, прижимаясь одной стороной к моей кровати, сверкало черным лаком пианино с бронзовыми подсвечниками, украшенными мефистофельскими физиономиями. Бабушка неплохо музицировала. Вечером, под настроение, вставив в канделябры свечи, играла что-нибудь грустное, чаще все попурри из опер Верди — своего любимого композитора.

Обычно это случалось, когда мы оставались вдвоем — мать часто дежурила, надолго уезжала в командировки. Иногда бабушка ошибалась и тогда, повернувшись ко мне, виновато объясняла:

— Стара стала — пальцы не слушаются.

— Играй, бабушка. Пожалуйста, играй! — восклицал я.

Глядя на меня, бабушка вздыхала:

— Плохо, Антон, что у тебя музыкального слуха нет. У твоей мамы тоже способностей не оказалось.

— Почему? — спрашивал я.

— Не знаю.— Бабушка поворачивалась лицом к пианино, и наша комната снова наполнялась то веселой, то рыдающей музыкой Верди.

В печи потрескивали дрова, причудливые тени плясали на стенах, и я, наслаждаясь теплом, уютом, слушал музыку, чувствуя, как она пробуждает во мне что-то хорошее...

Неужели все это было? Свечи в подсвечниках, японский фарфор, бабушка с задумчивым выражением лица? Там, на фронте, я часто вспоминал родной дом, мне казалось тогда: после войны все будет таким же, как раньше. Но остались только воспоминания: бабушка умерла, пианино и японский фарфор продали.

«Хоть бы мать была дома»,— думаю я. Но мать все еще служит — она военврач. Как и во время войны, в Москве бывает редко, наездами. После возвращения я пробыл с матерью всего один день. Теперь она приедет только через неделю.

Я взволнован — чувствую это. Перед глазами возникает прошлое — то, что запечатлелось в памяти. Внезапное возвращение дяди Вани удивило меня, оживило забытое.

«Посижу под березками,— решаю я,— погреюсь на солнышке. Надо пользоваться, пока оно есть, а то зарядят дожди — не погреешься».

[1] кстати.
[2] ребенок.

3

Под березками хорошо. Они отбрасывают легкую и редкую, словно кружева, тень. Солнечные лучи свободно проникают сквозь пожелтевшие листья, которых с каждым днем становится все меньше и меньше. Влажные от выпавшего ночью дождя, они лежат под березками, мокнут в неглубоких лужицах, в которых отстоявшаяся вода чиста и прозрачна — хоть пей. Я вспоминаю, как мы пили из таких же лужиц во время марша, когда во фляжках кончалась вода, а солнце палило не приведи бог. Я решил тогда, что у меня начнется дизентерия, но все обошлось.

Земля еще не просохла. От нее идет пар. Его не видно, он только ощущается. Днем много солнца, днем тихо и хорошо, а по ночам идут дожди — не ливневые, обыкновенные, которые начинаются внезапно и так же внезапно кончаются. Эти ночные дожди совсем не похожи на осенние, затяжные, от которых на душе становится муторно.

Я сплю чутко, как сурок. На фронте меня даже пушки не могли разбудить, а теперь просыпаюсь от шума дождя. Лежу и слушаю его шелест, мягкий, неторопливый. Дождь проходит быстро, но после него долго-долго стекают с крыши капли, звучно шлепаясь в лужи.

Наш двор — семь домов, объединенных одним номером. В каждом доме — две-три квартиры, из которых самые большие и самые густонаселенные — в нашем. Да и сам наш дом отличается от других домов. Двухэтажный, сложенный из огромных бревен, с широкими окнами и высокими потолками, с каменной кладкой у парадной двери, с крутой и тоже каменной лестницей, ведущей на второй этаж, он кажется мне домом-генералом среди хибарок-солдат.

Я сгребаю с лавочки листья и сажусь на нее, подперев руками голову. Стараясь ни о чем не думать. Нельзя же в самом деле все время думать, думать. Хочется посидеть просто так, насладиться солнцем.

Мне виден весь двор. «Прекрасная позиция для обстрела,— думаю я и чертыхаюсь про себя: — До каких же пор можно думать и вспоминать? Ведь решил же: баста!»

Появляется Галка Комарова, толкая впереди себя коляску, самодельную, на подшипниках, с виду очень неуклюжую. Галка — моя ровесница. Ей сейчас тоже девятнадцать. Я помню ее тоненькой, шустрой, большеротой. Теперь Галку не узнать. Она располнела, стала такой интересной, что я вначале оробел. У Галки сын. Отец ребенка Гришка Попов — самый некрасивый парень на нашем дворе, мой одногодок. Я не поверил, когда мне сказали... А сказали мне об этом сразу после приезда: сбежались соседи, стали выкладывать новости.

Высокий, вроде меня, с угрюмым лицом, крючковатым носом, похожим на клюв попугая, с густыми и широкими, словно крылья, бровями, с пушком над губой, всегда обкусанными ногтями, Гришка, по мнению большинства взрослых, был никчемным парнем. В школу он ходил от случая к случаю, часто оставался на второй год. Его определили в ремесленное училище, но он сбежал оттуда, все дни напролет слонялся по двору, насвистывая песенки, которые сочинял сам. Он казался тихим, спокойным, но это впечатление было обманчивым. На Гришку иногда находило, и тогда... Он мог пробраться без билета в клуб, когда там показывали кино, мог украсть какую-нибудь безделицу, мог надерзить, налгать просто так. А мне он почему-то никогда не



дерзил и никогда не лгал. Я ценил это и доверял Гришке, хотя и не участвовал в его проказах — они не укладывались с тем, что я слышал дома. Ни бабушка, ни мать не навязывали мне своих убеждений, они просто рассуждали вслух о плохом и хорошем, и кое-что из этого оседало в моей голове. И все же меня тянуло к Гришке, наверное, потому, что мне нравились его песенки. Гришка признался мне, что в его голове все время вертится что-то и это что-то превращается в песенки. Он мог переложить на музыку любое стихотворение, если оно нравилось ему. Я легко запоминал стихи, любил читать их вслух; может быть, именно поэтому Гришка выделял меня среди других ребят: я поставлял ему «сырье» для его песенок.

Я ожидал от Гришки всего, но он даже меня удивил, когда с таинственным видом (дело происходило за сараями, в самом укромном уголке нашего двора) вытащил четвертинку и сказал:

— Давай попробуем?

Я отшатнулся, пролепетал, что водка — гадость: так всегда говорила бабушка.

— Выдумки! — возразил Гришка. — Взрослые пьют, а мы разве хуже? — Он выковырнул пробку, протянул бутылку мне: — Начинай первый.

— Не буду! — крикнул я, чуть не обезумев от ужаса.

— Тише,— прошипел Гришка.

Наверное, в тот момент я что-то потерял в его глазах, но я не мог поступить иначе: пьяные вызывали во мне отвращение.

— Может, все-таки попробуешь?

— Нет!

— Как хочешь,— равнодушно сказал Гришка и сунул в рот горлышко. Сделал глоток, закашлялся, отшвырнул бутылку. Разлетевшись на мелкие осколки, она оставила на стене сарая мокрое пятно. Потом Гришка наклонился и...

Рвало его долго. Казалось, вылезают кишки. И без того смуглое лицо потемнело еще больше, на лбу выступил пот, ноги подкашивались, и весь он, Гришка, одетый в застиранные брюки с пузырями на коленях, в заштопанную рубаху с засученными рукавами, в рваные тапочки, показался мне в эти минуты очень больным, чуть ли не умирающим, и я заревел от страха, от бессилия помочь ему.

— Кончай! — остановил меня Гришка и, стерев со лба пот, предупредил: — Никому не рассказывай об этом.

Я никому, даже бабушке, ничего не рассказал, но Гришкина мать, Раиса Владимировна, в тот день излупила сына, потому что деньги на четвертинку он стащил у нее.

Гришкина мать была неприятной, вздорной женщиной. Грузная, с двойным подбородком, короткой шеей, расплывшимся, как тесто в квашне, бюстом, она со всеми ссорилась, всегда была недовольной, каждый день кричала на кого-нибудь, чаще всего на сына.

Вековуха рассказывала, что во времена нэпа Гришкина мать держала лавочку, безбожно обвешивала покупателей.

— Сама видела,— утверждала Авдотья Фатьяновна.— Без веры в бога жила эта женщина и сейчас живет так. Лавочку отобрали, накопленные денежки, как вода сквозь пальцы, ушли, а больше она ничего не умеет да и не хочет. Сколько разов ей выгодные места предлагали, а она нос воротит. Живет бедно, срамота одна, и злится от этого.

Много лет прошло с той поры, но я хорошо помню, как измывалась Раиса Владимировна в тот день над Гришкой. Он извивался в ее цепких руках, вскрикивал, а она лупила и лупила его.

— Горе мое! — восклицала Раиса Владимировна и норовила ударить сына по голове.— У всех дети как дети, а у меня — горе!

— Не дерись тут,— хрипел Гришка, закрывая голову руками.— Дома дерись.

Это распаляло Раису Владимировну. На Гришку обрушивались все новые и новые тумаки. Я страдал, с надеждой поглядывал на ворота, ожидая возвращения бабушки, которая ушла в магазин,— я знал, что бабушка заступится за Гришку, но она как назло не возвращалась.

Избиение продолжалось до тех пор, пока Раисе Владимировне не стало дурно. Она вдруг охнула, схватилась за сердце. Несколько мгновений Гришка озлобленно косился на мать, потом испугался, обхватил ее за талию, вернее, за то место, где ей полагалось быть, и они медленно удалились, сопровождаемые вздохами и репликами высыпавших во двор жильцов.

— Довел мать, негодник! — бросила вслед Гришке Елизавета Григорьевна, большая любительница всяких скандалов.

«Вовсе он не негодник»,— мысленно возразил я, но вслух ничего не сказал: Елизавета Григорьевна часто жаловалась на меня бабушке, и я старался не попадаться ей на глаза.

Раиса Владимировна лупила Гришку часто, по всякому поводу и без повода. Весной, летом, в погожие осенние дни вопли этой женщины собирали много зрителей, и Раиса Владимировна, воодушевляясь с каждым словом, начинала поносить Гришку.

— Вчера опять полтинник унес,— оповещала она весь двор.— Уж я била его, била, чуть руки не обломала, а он... Гришк? — Раиса Владимировна поворачивалась в ту сторону, где, по ее мнению, должен был находиться Гришка.

Она никогда не ошибалась. После многократных обращений, сопровождаемых проклятиями, Гришка появлялся оттуда, откуда ждала его мать.

— Чего? — спрашивал он, исподлобья глядя на Раису Владимировну.

— Подойди! — приказывала бывшая лавочница.

Гришка начинал кусать ноготь.

— Вынь палец! — требовала Раиса Владимировна.

Гришка вздрагивал, опускал руку.

— Подойди, кому говорят! — взвинчивала себя Раиса Владимировна.

Затравленно глядя на мать, Гришка медленно приближался. «Не подходи!» — хотелось крикнуть мне. Раиса Владимировна давала ему подзатыльник и... Она всплескивала руками, стучала в грудь кулаком, а он стоял, потупившись, мучительно краснея, и ноздри его некрасивого носа вздрагивали.

Раиса Владимировна «воспитывала» сына до тех пор, пока у нее не иссякало красноречие. Когда она уходила, на нашем дворе наступала тишина.

— Плохо, что у меня отца нет,— жаловался мне Гришка.

Его отца я помнил смутно. В памяти остался чуть сгорбленный, чудаковатый человечек — полная противоположность Раисе Владимировне. Гришкин отец работал где-то на маленькой должности; это возмущало Раису Владимировну, она все уши прожужжала ему, советуя устроиться продавцом. Гришкин отец отмалчивался. Каждый вечер Раиса Владимировна встречала его около ворот и, упершись руками в бока, грозно спрашивала:

— Устроился?

Гришкин отец виновато мигал, начинал объяснять что-то.

— Э-э-э,— с гримасой недовольства перебивала его Раиса Владимировна.— Я тебе сколько раз го-

ворила — к дяде Пете сходи. Его брат на автомобиле работает, большого начальника возит.

Гришкин отец соглашался с женой, обещал сходить к дяде Пете, но так и не сходил. Это сделала Раиса Владимировна. Гришкин отец стал работать продавцом в промтоварном магазине, но проработал там недолго — после первой же ревизии его посадили.

Он не вынес этого, еще до суда скончался в тюрьме от разрыва сердца.

— Мой отец добрым и честным был,— вспоминал Гришка.— Почему на матери женился, до сих пор не пойму. Наверное, влюбился сильно. Она вон какая, а он совсем другим был.— Гришка запускал палец в рот, сосредоточенно молчал несколько минут, потом добавлял: — Но мать — это все-таки мать. Пусть она такая, но все равно она мать мне.

Я не возражал, хотя думал по-другому. Я, наверное, убежал бы за тридевять земель, если бы моя мать оказалась такой, как Раиса Владимировна.

Пропитание она добывала мелкой спекуляцией. Через своих родственников и знакомых доставала разные дефицитные вещи — тапки на лосевой подошве, трикотаж. Вначале приносила промтовары к нам. Бабушка отбирала самое необходимое — две майки, женское трико, спрашивала:

— Сколько?

— Восемь рублей,— отвечала Раиса Владимировна.

— Побойтесь бога, мадам Попова! — восклицала бабушка.— Это и половины не стоит.

— Неужели? — притворно удивлялась Раиса Владимировна.— Этим же майкам износу нет. А трико? Сами посмотрите, какое трико. Высший сорт! Экстра, как теперь говорят.

Бабушка внимательно разглядывала трико.

— А этикетка где?

— Потерялась, наверное.

Бабушка разворачивала майки.

— Смотрите, и тут этикеток нет!

— Оторвались,— лгала Раиса Владимировна.— Теперь их кое-как пришивают.— Она делала многозначительную паузу и добавляла: — Я всего рупь накидываю: полтину себе, полтину продавщице.

Бабушка усмехалась и платила сполна.

После этого Гришкина мать отправлялась на кухню. В коридоре хлопали двери — все устремлялись поглазеть на трикотаж, купить кое-что. Соседки, смущаясь, разглядывали трико. Елизавета Григорьевна с жадным любопытством перебирала все подряд, прикладывала к груди то лифчик, то комбинацию, а к талии — пояс.

На нашем дворе к Поповым относились двояко: одни с пониманием, другие враждебно. Многие считали, что бывшая лавочница и сейчас деньги гребет лопатой, а сына одевает в рвань и сама ходит в старье из-за жадности. Когда такие разговоры возникали на кухне, бабушка хмурилась и произносила, постукивая костяшками пальцев в стол:

— Неправда!

И все же бабушка осуждала Попову. Она часто говорила, что эта особа калечит Гришку, что он способный мальчик, что ему нужны хорошие руки, что только тогда из него выйдет толк.

— Ага! — подхватывала Елизавета Григорьевна.— А бестолочь останется...

Раз в неделю, иногда чаще бабушка просила меня привести Гришку. Когда я приводил его, усаживала обедать. Гришка с жадностью набрасывался на суп, быстро опустошал тарелку.

— Еще? — ласково спрашивала бабушка.

Гришка молча кивал, косясь на пианино.

Я удивлялся его аппетиту. Я думал: «Если Гришка будет так много есть, то он лопнет». Когда бабушка уходила на кухню, чтобы принести третье, Гришка любопытствовал:

— Каждый день так шамаете?

— Каждый день,— отвечал я и вздыхал: мне есть не хотелось. Я съедал суп или щи, котлеты с приготовленным по бабушкиному рецепту зеленым горошком в молочном соусе только из-за сладкого. Кисели и компоты бабушка готовила — пальчики оближешь.

— Житуха! — говорил Гришка, когда мы спускались по лестнице.— Мне бы такую бабушку заиметь.— Остановившись на пороге, жмурясь от яркого света, он добавлял, поглаживая рукой живот: — Потом поговорим. Не надо бабушку обижать, иди-ка уроки учить, а я посплю немного. Я сейчас ни черта не соображаю. Пощупай, как нажрался.— Гришка прикладывал мою руку к своему туго набитому животу.

Так продолжалось до тех пор, пока бабушка не предложила Гришке поучиться играть.

— А получится? — испугался Гришка.

— Должно получиться,— сказала бабушка.— Слух у тебя прекрасный, не то, что у Антона.— Она кивнула на меня.

Я с грехом пополам осилил лишь «собачий вальс». Дальше этого дело у меня не пошло.

Бабушка открыла пианино, усадила Гришку на специальный стул с вертящимся сиденьем и, стоя подле него, стала нажимать на клавиши, объясняя:

— Это «до», это «ре», это «ми»...

Гришка сидел, чуть сгорбившись, не сводя глаз с бабушкиной руки. Сквозь смуглую кожу проступала бледность, широкие брови вздрагивали, в глазах был испуг.

— Усвоил? — спросила бабушка.

Гришка молча кивнул.

— Тогда покажи, пожалуйста, где «до», где «ре», где «ми»...

Гришка шумно вздохнул, положил на клавиши руки — грязные, с обкусанными ногтями. Я только тогда обратил внимание на его пальцы. Они были тонкие, гибкие.

Когда Гришка ушел, бабушка задумчиво произнесла:

— Oui, il a beaucoup de talent pour la musique[1].

Она стала повторять эту фразу так часто, что я вызубрил ее наизусть. Даже попытался воспроизвести.

Бабушка заткнула уши и воскликнула:

— Перестань, перестань! Не коверкай, пожалуйста, этот благозвучный язык.

Гришка стал приходить к нам каждый день. Занятия продолжались до тех пор, пока не раздавалось осторожное постукивание в дверь.

— Да, да,— говорила бабушка.— Войдите.

В дверь просовывалась умильно улыбающаяся физиономия Елизаветы Григорьевны.

— Тысяча извинений,— бормотала она,— но нельзя ли потише? У меня от этой музыки голова разболелась.

— Сейчас кончаем,— сухо произносила бабушка.

— Тысяча извинений.— Елизавета Григорьевна победоносно исчезала.

Бабушка подходила к Гришке, виновато разводила руками. Гришка шумно вздыхал, бережно опускал крышку, бормотал «спасибо» и уходил, сохраняя на лице то отрешенное выражение, которое было у него, когда он занимался.

---

[1] Да, у него большой музыкальный талант.

4

Галка издали смотрит на меня, я — на нее. «Кто бы мог подумать,— удивляюсь я,— что она так похорошеет».

— Можно к тебе? — спрашивает Галка.

— Конечно! — Я чувствую, как сердце наполняется радостью. С чего бы это?

Галка подкатывает коляску к березкам, садится подле меня.

— Насовсем приехал?

— Насовсем.

— Возмужал.— Галка с удовольствием оглядывает меня.— Раньше худым был, а теперь...

— Ты тоже...— Мне хочется сказать «похорошела», но я почему-то не решаюсь произнести это слово.

Галка чуть заметно улыбается.

— Гляжу в окно — сидишь один, хмуришься. Радоваться надо, что уцелел, а ты грустишь. Почему?

Мне понятно Галкино любопытство — она хочет узнать о встрече с Лидой Мироновой, с которой я дружил до ухода в армию, которую считал самой красивой, самой умной девчонкой в нашем дворе. Но поговорить с Лидой мне еще не удалось: в день возвращения ее не оказалось дома, а вчера Лидин брат Витька, инвалид войны, сказал, отведя глаза в сторону:

— Шляется она где-то. Но я доложил ей, что ты вернулся.

Я не очень огорчился. Честно говоря, меня теперь не тянет к Лиде. Я тосковал о ней в армии только первое время. Лежал на нарах и думал. Около меня — по одну и по другую сторону — постанывали, вскрикивали во сне мои однополчане, а ко мне сон не шел. Так я лежал до тех пор, пока в казарме не появился командир нашей роты. Прозвучала команда: «В ружье!» — и мои воспоминания оборвались. В ту ночь мы часа три занимались на морозе, то падали в снег, то снова бежали с винтовкой наперевес. Служба, особенно строевая подготовка, давалась мне тяжело. После команды «отбой» я падал, как сноп, на нары и тотчас проваливался куда-то. Утром мчался, стараясь опередить других, в строй, опоясываясь на ходу ремнем. Потом начиналась учеба — бегом, ползком, с полной выкладкой, строевым. И так каждый день! Тоска притуплялась, отходила куда-то. Три месяца учебы промелькнули, как сон. Меня отправили на фронт. Маршевая, пахнувшая человеческим потом теплушка, первая бомбежка, первый артналет, солнце над головой, выступившая на гимнастерке соль, моя соль, хлещущий по лицу дождь, осенняя слякоть — все это выветрило воспоминания о Лиде. А может быть, причина в другом? Может быть, во всем виноваты ее письма, очень короткие, очень сдержанные?

Я напрасно гадаю. Главная причина — Андрей Ходов, племянник Елизаветы Григорьевны. Он был круглым сиротой. В нашей квартире то и дело раздавалось: «Нельзя!», «Не смей!», «Не так!» Это, однако, не мешало Елизавете Григорьевне говорить всем, что она заботится об Андрее, как родная мать. Если Андрей возражал, Елизавета Григорьевна обижалась.

— Стараешься, стараешься,— всхлипывала она,— и вместо благодарности — упреки.

Меня и Андрея призвали в один день. Мы вместе овладевали военной наукой, вместе поехали на фронт, воевали в одном отделении.

Погиб Андрей от случайной пули, погиб нелепо, как это часто бывает на войне: пуля выбила из его рук котелок с кашей, угодила в живот. В памяти осталось перекошенное от боли лицо, кровавое пятно на шинели, сандружинница Леля — разбитная девушка с короткой стрижкой. В Лелю поочередно влюблялись все ребята из нашего взвода, а меня она совсем не волновала: от этой девушки попахивало махоркой, за словом в карман она не лезла, настырных так отбривала, что полыхали уши.

Перевязывая Андрея, Леля что-то говорила ему, а что — я не слышал, потому что, глянув на своего товарища, сразу отошел: не мог глядеть на его предсмертные мучения.

— Эй! — вдруг окликнула меня Леля.— Подойди! Зовет он тебя.

Я подошел. Андрей лежал навзничь. В его замутившихся глазах было страдание.

— Наклонись к нему! — приказала Леля.— Он хочет что-то сказать тебе.

Я повиновался. Ловя ртом воздух, Андрей прошептал, делая паузы:

— Я... я тоже люблю Лиду... Давно люблю, с детства. Ты... ты напиши ей об этом... Пожалуйста, напиши... Ладно?

Я выполнил предсмертную волю Андрея, но Лида в ответном письме даже не упомянула о нем. Боже мой, как я негодовал в тот день! В первую минуту даже подумал, что Лида, наверное, черства душой, что ее сердце — корка, а потом, когда в блиндаже собрались ребята, когда мы стали вспоминать — это случалось каждый раз в минуты затишья — свой дом, своих близких, на сердце потеплело, и я подумал тогда: «Нет, Лида не могла поступить так. Наверное, просто затерялось письмо». Я снова написал ей о том, что услышал от Андрея, но... Я разозлился, целых два месяца не писал Лиде, а она, словно ничего не случилось, раз в десять дней присылала мне весточки...

— Отчего же ты все-таки грустишь, Антон? — допытывается Галка.

«Сказать?» Мне хочется поделиться с ней своими думами, но вместо ответа я неожиданно «выстреливаю»:

— Дядя Ваня вернулся!

— Какой дядя Ваня?

— Верин муж. Неужели забыла про него?

— Ну-у...— недоверчиво произносит Галка.

— Честное слово! — восклицаю я.

Галка смотрит на меня — не розыгрыш ли? Я не обижаюсь. Я и сам смотрел бы точно так, если бы мне сообщили эту новость: ведь в нашем огромном дворе никто не верил, что может произойти такое чудо, что дядя Ваня живой. Никто, кроме Веры.

— Обманываешь...— Галка верит и не верит мне.

— С какой стати? Я его первый увидел, крикнул. Вера услышала и... Они полчаса во дворе стояли, все говорили, говорили, говорили.

— Что говорили?

— Разное. Он про волосы спрашивал. Они как пьяные были. А потом я отошел — нехорошо подслушивать.

Галка кидает на меня быстрый взгляд. В ее глазах тепло, понимание.

— Постарел он?

— Вроде бы. Я не присматривался, их прошлую жизнь вспоминал.

Галка задумывается и спустя минуту взволнованно произносит:

— Пусть будет счастлива Вера!

— Пусть! Мне тоже хочется этого.



Несколько минут мы молчим. Потом я перевожу взгляд на малыша, сидящего в коляске. Боже мой, как он похож на Гришку! Такой же нос, рот, такие же брови, такой же подбородок,

— Попов,— говорю я.

— Вылитый.

— Сколько ему?

— У нас сегодня день рождения,— говорит Галка, беря сына на руки.— Нам сегодня годик исполнился.

Я лихорадочно соображаю, что бы подарить этому человечку, сосущему с серьезным видом свой палец. Вспоминаю, что дома есть конфеты, очень хорошие конфеты, купленные матерью в коммерческом магазине в день моего возвращения.

— Подожди меня,— говорю я Галке и срываюсь с места.

Конфеты лежат в сахарнице, под салфеткой. Их не так уж много. Я хватаю горсть и бегу обратно.

— Поздравляю тебя, малыш! — говорю я и сую ему конфеты.

Галкин сын таращит глаза. Конфеты падают. Галка сажает мальчугана в коляску, и мы начинаем собирать конфеты. Наши головы соприкасаются, руки — тоже. Чувствую: на щеках выступает краска, сердце колотится, словно выпрыгнуть хочет. Боюсь взглянуть на Галку. Кажется: если взгляну, то... Сам не знаю, что будет, просто боюсь. Не хочу расставаться с той радостью, которая наполняет меня сейчас. Мне давно не было так хорошо.

Собрав конфеты, мы снова садимся на лавочку, взволнованные и смущенные. Несколько минут сидим молча. Малыш — Галка называет его Колей — с сосредоточенным видом сдирает с конфеты обертку. Пальчики работают плохо, обертка не поддается. Коля начинает хныкать.

— Трудись, сын, трудись,— говорит Галка.— Привыкай все делать сам.

Коля ревет в голос.

— Не мучь его,— прошу я,— разверни конфету.

Галка качает головой:

— Пусть сам.

— У него же сегодня день рождения! Ему сегодня все можно!

— Правда.— Галка улыбается и, склонившись над коляской, снимает бумажную обертку. Коля сразу стихает.

Солнечные блики лежат на опавших листьях, играют на Галкином платье — скромном, но сшитом с большим вкусом.

— Красивое платье,— хвалю я, ибо чувствую: надо что-то сказать.

— Из старья перешила,— отвечает Галка.— Заново скроила — и вот,

— Сама?

— Конечно.

— Вот ты какая! Ты, оказывается, и рукодельница.

— Жизнь всему научит.

Я смотрю на Галку. Красивей ее я еще никого не встречал. А Лида? Лида... Два года назад я и в мыслях не допускал, что смогу разлюбить ее.

В Галкиных глазах покой и счастье. В них много света, много доброты. Мне почему-то хочется, чтобы такими ее глаза были всегда. Пушистая, наспех заплетенная коса сбегает с плеча. Меня все волнует и привлекает в Галке: пушистая коса, располневшая талия, стройные ноги в стоптанных на один бок туфлях, лицо с большим ртом и огромными глазами, в которых пока покой и счастье, а что будет в них через минуту, неизвестно.

— Как ты живешь теперь? — спрашиваю я.

— Как все,— отвечает Галка.

— Трудно тебе одной с малышом.

— Он в ясельки ходит. У меня выходной сегодня — вот я и решила побыть с ним. А так Авдотья Фатьяновна помогает.

— Ве-ко-ву-ха?

— Я и сама удивляюсь.— Галка улыбается.— Она всегда относилась к нам как-то странно. Особенно к матери.

— А почему?

— Не знаю.— Галка смотрит мне прямо в глаза.

«Не знает,— убеждаюсь я.— Значит, Вековуха ничего не рассказала ей».

Галкина мать умерла в начале войны. Она была самой молчаливой женщиной в нашем дворе. Никто не знал, как она жила раньше, от кого родила дочь Галку, похожую на нее как две капли воды: такие же огромные глаза в пол-лица, такой же большой рот, такие же роскошные волосы. Во всем облике этой женщины: в ее походке, рисунке губ, движении ресниц, не говоря уж о наполненных скорбью глазах,— было что-то трагическое, неподвластное моему пониманию. Жила Галкина мать бедно, но дочь одевала нарядно, хотя и не в шелка — в ситцевые платья приятных расцветок, в жакетки из дешевого сукна с вышивкой на карманах. Все это выглядело на Галке очень здорово, говорило о хорошем вкусе ее матери. Волосы у нее были черные, очень густые и, видимо, очень мягкие. Она носила на затылке пучок, а дочь заплетала волосы в косу, пушистую и толстую, которую она то закидывала резким движением за спину, то держала спереди, перебирая пальцами кончики волос, более светлые, чем сама коса. В глазах Галкиной матери всегда была скорбь, а глаза дочери то и дело менялись. Иногда в них застывала грусть, а иногда они становились бесшабашно-веселыми. Смена происходила так внезапно, что я недоумевал. «Почему так получается?» — спрашивал я сам себя, ибо не видел причин, которые могли бы повлиять на Галкино настроение.

Огромные, черные глаза приковывали к себе. Когда я смотрел на Галку, мне казалось: моя душа соприкасается с чем-то таинственным...

— О чем думаешь, Антон? — спрашивает Галка.

— Ни о чем.

Я лгу. Я вспоминаю то, что слышал от Вековухи незадолго до ухода в армию.

...В тот день я задержался на работе. Пришел домой, вижу — Вековуха. Она сидела наискосок от бабушки, выпрямившись на стуле. Из-под расстегнутого пальто виднелась кофта, тоже расстегнутая, под ней другая, третья и, кажется, четвертая. Кофты напоминали капустные листья, а Вековуха — кочерыжку.

Последнее время я виделся с Вековухой редко и теперь с удовольствием поздоровался с ней.

— Вишь, какой вымахал! — сказала Авдотья Фатьяновна.— Одно слово, верста.

— Высокий,— подтвердила бабушка.

Ее щеки слегка порозовели, глаза светились. Чувствовалось, бабушка рада Вековухе. «Бабушке полезно поболтать,— подумал я.— Она совсем осиротела, все время одна и одна».

Топка была раскрыта. Жарко мерцали крупные, золотисто-малиновые угли. По ним пробегали синеватые всполохи. Сбоку от печи лежала связка сухих дощечек, перевитых ржавой проволокой.

— Авдотья Фатьяновна принесла,— сказала бабушка, когда я взглянул на дощечки.— Две связки! Одну мы истопили, а другую про запас оставили.

— Еще довоенные.— Вековуха скупо улыбнулась.

— Спасибо,— сказал я.— Только себя не обделите.

— Не обделю,— ответила Авдотья Фатьяновна.— Мою комнату натопить — раз фыркнуть.

Иней на стеклах потемнел, на обоях появились мокрые пятна. Я присел перед топкой на корточки. В лицо пахнуло жаром. «Каждый бы день так топить»,— подумал я.

Из висящего на стене репродуктора послышался стук часов.

— Сделай погромче,— попросила бабушка.— Сейчас сводку передавать будут.

Репродуктор она купила в самом начале войны и теперь по нескольку раз в день выслушивала одну и ту же сводку. В сорок первом году с бабушкиного лица не сходило выражение скорби, а после сталинградских событий она часто слушала сводку с улыбкой удовлетворения, кивая головой в такт словам диктора.

Я крутанул до отказа колесико с надписью «громкость». Голос диктора произнес: «В течение 8 декабря западнее и юго-западнее Кременчуга наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки противника, продолжали наступление... В излучине Днепра, юго-западнее Днепропетровска, наши войска вели бои местного значения, в ходе которых овладели несколькими сильно укрепленными опорными пунктами противника. В районе северо-восточнее Черняхова наши войска вели ожесточенные бои с противником, в ходе которых нами оставлено несколько населенных пунктов...»

Мы выслушали сводку молча. Когда раздалась музыка, Авдотья Фатьяновна пробормотала, ни к кому не обращаясь:

— Вишь, какие дела. То он нас теснит, то мы его.

— Так всегда на войне бывает,— сказал я.

Вековуха помахала на лицо ладонью, вытерла пот кончиком шерстяного платка.

— Снимите пальто,— сказал я.— Жарко ведь.

— Ничего,— возразила Авдотья Фатьяновна,— жар костей не ломит.— Покопавшись в недрах своего пальто, она извлекла небольшую банку с чем-то темным.— На-ка.— Она протянула банку мне.

— Что это?

— Варенье.

— Варенье? — Бабушка приподнялась в кресле.— Откуда оно у тебя, Авдотья Фатьяновна?

— Нашла.— Вековуха улыбнулась.— Стала под кроватью убирать и нашла. Еще довоенной варки. С крыжовника. Он у меня в тот год подгорел. Выбрасывать жалко было. Я его переложила в банки— и под кровать. Забыла про него. А теперь нашла. Это вам, к чаю.

— Что ты, что ты! — запротестовала бабушка.— Лучше себе оставь.

— Оставила,— сказала Вековуха.— Я две банки нашла. Я не очень-то такое люблю: оно на сахаре. Я больше на меду уважаю. Раньше по десять банок на зиму заготовляла.

— Сейчас чай пить будем,— сказала бабушка.— Выпьешь с нами, Авдотья Фатьяновна?

— Не откажусь.— Вековуха сняла пальто, повесила его на свободный крючок.

Варенье оказалось чуть горьковатым, очень густым. Оно походило на расплавленные, слипшиеся в один ком «подушечки», которые продавались до войны в продмагах. Мы пили чай с вареньем, как с конфетами, вприкуску. Вековуха пила с блюдечка, шумно втягивая жидкость. Бабушка прихлебывала чай из своей любимой чашки с тонкими, почти прозрачными стенками, на которых красовались розы. Она очень любила эту чашку и даже обыкновенную воду пила только из нее. Стаканы бабушка терпеть не могла. А я, наоборот, предпочитал стаканы. Обхватив стакан ладонями, чуть приподнимал его, делал глоток и поспешно ставил на стол: чай был крутой кипяток.

— Подстаканник возьми,— сказала бабушка, неодобрительно покосившись на меня.

— Так вкуснее,— ответил я и снова сделал глоток.

Авдотья Фатьяновна налила блюдечко до краев, повернулась ко мне:

— Гришка-то, слышала, совсем плох?

Попов тяжело болел. У него обнаружили туберкулез. С помощью моей матери Раиса Владимировна поместила сына в загородную больницу. Он пробыл там без всякой пользы восемь месяцев и вот уже две недели лежал дома.

Поповых Вековуха не любила. Когда Гришка появлялся во дворе, она поджимала губы и глаза ее становились строгими. А ко мне Вековуха относилась с грубоватой ласковостью, часто зазывала в свою каморку с затхлым запахом давно не проветривавшегося помещения, угощала твердыми, как камень, просвирками.

— Спасибо,— отказывался я,— только что пообедал.

— Скушай,— уговаривала меня Вековуха.

— Потом съем.— Я опускал просвирку в карман.

Авдотья Фатьяновна кивала и, поглаживая меня по стриженой макушке, приговаривала:

— Скушай, скушай!

Я отдавал просвирки вечно голодному Гришке. Ломая о них зубы, он крутил головой и бормотал:

— Тверже сухарей. Наверное, еще до революции пекли.

— Наверное,— соглашался я.

Я подкармливал Гришку до тех пор, пока это не увидела Вековуха. Она подозвала меня и сказала строго:

— Большой грех, отрок, на душу берешь. Он,— Авдотья Фатьяновна скосила на Гришку черное око,— когти сосет, ровно лукавый, а ты ему богову пищу, просвиру. Срамота!

Я растерялся.

— Чего она? — спросил Гришка, когда я подошел к нему.

— Ничего.

Настроение испортилось. Даже играть расхотелось. Я обрадовался, когда бабушка позвала меня домой.

— Чего такой невеселый? — поинтересовалась она.

Я выложил ей то, что услышал от Вековухи. Бабушка молча встала, надела шляпку — она всегда надевала ее, когда выходила из дома,— и, не сказав мне ни слова, направилась к двери.

Я бросился к окну. Бабушка пересекла двор и... Разговаривала она с Авдотьей Фатьяновной долго. Все это время я торчал у окна, стараясь предугадать, что скажет бабушка, когда вернется. Но она ничего не сказала, несмотря на то, что я изнывал от любопытства. Всем своим видом бабушка показывала — спрашивать бесполезно. Лишь вечером, во время ужина, обменявшись с матерью несколькими фразами на французском языке, она словно бы невзначай произнесла:

— У Авдотьи Фатьяновны на религиозной почве помутнение. Ты не очень-то прислушивайся к ней — она многого недопонимает.

Царапая вилкой по тарелке, я спросил:

— А почему она Гришку лукавым назвала? И что это такое — лукавый?

Мать отодвинула тарелку, что-то сказала бабушке по-французски. Бабушка возразила. Потом, усмехнувшись, добавила, глядя на меня:

— Авдотья Фатьяновна церковные книги читает. А в них, говорят, сплошная выдумка.

Мать кивнула, снова подвинула тарелку к себе. Я почувствовал: бабушка и мать хитрят. Открыл рот, намереваясь спросить еще о чем-то, но бабушка положила ладонь на стол.

— Когда я ем, я глух и нем!..

Я вспомнил это и осторожно сказал, что Гришке пока действительно худо, но что он обязательно выкарабкается.

Бабушка завозилась в кресле, а Вековуха произнесла, держа блюдечко на растопыренных пальцах:

— Жалко будет, если помрет он.

В ее голосе не было прежнего недоброжелательства. Это удивило меня.

— Ты не пучь глаза, не пучь! — воскликнула Авдотья Фатьяновна.— Я от всего сердца говорю. Врать не буду, я Поповых не люблю, но раз творец создал их, значит, так надо. — Вековуха вздохнула и добавила: — Господи, господи! Кому горе и слезы сейчас, а кому хиханьки да хаханьки.

— О ком ты? — спросила бабушка, не донеся до рта ложку с засахарившейся ягодой.

— О Гальке,— ответила Вековуха.— Как вечер, у нее гулянка. Совсем разбаловалась девка. Срамота!

— Не может быть,— сказала бабушка.

— По нынешним временам все может быть,— возразила Вековуха. И добавила: — Я Гальку вот какой помню.— Она опустила руку к полу.

— Разве?

— Помню,— подтвердила Авдотья Фатьяновна.— Ее мать в полюбовницах у моего второго хозяина-адвоката состояла. Он нестарый был, видный из себя, говорил кудревато. А деньги лопатой греб. Раз в месяц выступит на суде и живет в удовольствие. Первое время она у него горничной была, а потом промеж них любовь началась. Стал он одевать ее, как куколку, в театры вывозить, в ресторации. Так они полтора года прожили, пока Галька не народилась. После этого он и отказал ей. Я тогда же от него съехала, потому как адвокат этот гнилым человеком оказался, неугодным богу. Когда Галькина мать ребенка ждала, он целыми неделями дома не ночевал. Она, бывало, сидит одна на лестнице, плачет. Уревется, глаза покраснеют, нос разбухнет, что и продыху нет. Два разá с ума сходила. Я еще тогда упреждала ее — не путайся с ним, ветрогон он, по себе дерево руби, а она ни в какую! Все надеялась, что он с ней в закон вступит. После этого и стала она к бутылочке прикладываться.

— Неужели? — не поверила бабушка.

— Не вру,— спокойно сказала Вековуха.— Не шибко, но прикладывалась. На людях она стеснялась, все больше в одиночку, дома. Когда выпьет, на стук не отзывалась, если одна сидела, а так наказывала Гальке говорить — нету-де матери дома.

— Кто бы мог подумать,— пробормотала бабушка.

— На все божья воля.— Вековуха перекрестилась.— От этого она и померла. Творец,— Авдотья Фатьяновна вскинула глаза к потолку,— людей за грехи наказывает. Кто грешен сильно, с того и спрос.— Вековуха помолчала и решительно произнесла: — Галька вся в мать!

Последнее время я встречался с Галкой редко, несмотря на то, что она тоже работала на «Шарике». Каждый день я видел только Галкину фотографию, которая висела у проходной на Доске почета.

Я сказал Вековухе, как работает Галка.

— Ишь ты,— удивилась Авдотья Фатьяновна.— А я думала, она шалтай-болтай.

— Нет,— сказал я.

— Ишь ты,— повторила Авдотья Фатьяновна.— Чего же она тогда себе жизнь ломает?

Я подумал: «Вековуха ошибается. Галка не ломает себе жизнь. Просто в ней бродит молодость, просто ей хочется расслабиться, отдохнуть после того огромного напряжения, которого требует работа».

— Как же ты живешь сейчас, Авдотья Фатьяновна? — спросила бабушка.— В церковь, наверное, не ездишь?

— Ну да! — Вековуха усмехнулась.— Ездю. Каждое воскресенье! Там сейчас новый поп служит.

— Хорошо служит? — с живостью спросила бабушка.

— О-очень! — Вековуха даже зажмурилась от удовольствия.— Как зачнет убиенных поминать, сердце заходит. Сам он из себя высокий, черный, голос — стены дрожат.

— Все-таки как ты живешь, Авдотья Фатьяновна?

Вековуха откинулась на спинку стула, обвела нас зорким, немигающим взглядом.

— Вот так и живу. Как сейчас все старухи живут — на иждивенческую карточку.

— Тяжело тебе,— сказала бабушка.

— А кому легко? — возразила Вековуха.— Время сейчас такое, что легкой жизни и достатка стыдиться надо.— Она перевернула чашку донышком вверх, поднялась.— Засиделась. Пора и честь знать...

5

Ковыряя носком сапога мокрые, слипшиеся листья, я вспоминаю, как преображался Гришка, когда Галка выходила во двор. Его угрюмое лицо светлело, в глазах появлялось что-то доброе. Он никогда не подходил к Галке, смотрел на нее издали, а если им случалось столкнуться, как говорится, нос к носу, то Гришка мучительно краснел и, пробормотав что-то, поспешно удалялся. Галка забрасывала на спину косу, провожала его долгим взглядом. Это почему-то застряло в моей памяти, хотя тогда, в детстве, я не придавал этому значения: Гришка был некрасивым, и я даже не мог представить, что его можно полюбить и что он способен на такое же чувство. Я возмущался и негодовал, когда Гришка говорил, что Галка красивее и добрее Лиды.

— Добрее? — переспрашивал я.

— Добрее,— подтверждал Гришка.

— Ничего ты не понимаешь! — Я запускал руки в карманы недавно сшитых, настоящих, как у взрослых, брюк и, подражая бабушке, начинал рассуждать о женской красоте. Бабушка часто называла Лиду самой миловидной девочкой на нашем дворе. Если это казалось мне неубедительным, я произносил нараспев стихи Блока, в которых говорилось о схваченном шелками девичьем стане, об узкой руке в кольцах.

— Это больше к Гале подходит,— возражал мне Гришка.

— Что-о? — Я обижался и обзывал Гришку дураком...

...Галка пытливо смотрит на меня, словно хочет прочитать мои мысли. Легкий ветерок перебирает

еще не опавшие листья, чуть относит в сторону гибкие ветки, похожие на распущенные женские волосы. Коля спит, полуоткрыв рот, выпачканный конфетой. Галка отгоняет атакующих его мух и молчит. А у меня на языке вертится вопрос. Мне неловко спрашивать об этом, но я все-таки спрашиваю.

— Ты любила его? — Я не смотрю на Галку, я смотрю вниз.

— Наверное,— отвечает Галка. Отвечает не сразу. Несколько секунд молчит, будто вспоминает что-то.— Я жалела его. Вспомни сам, как жилось ему. Одна радость была — песенки. Кстати, знаешь, где он чаще всего насвистывал их?

— Где?

— Вон там.— Галка показывает на то место, где раньше были сараи, где Гришка предложил мне распить четвертинку.— Я часто останавливалась там послушать,— продолжает Галка.— Не знаю, видел ли он меня... Наверное, нет. В его песенках такая тоска была, что навертывались слезы. Но ты только не подумай, Антон, что я жила с ним. Это у нас всего один раз вышло. Раиса Владимировна отлучилась куда-то, а я в тот день с ночной шла. И вдруг почувствовала — тянет к Грише. Он обрадовался, засветился весь, стал говорить, что любит меня. Дрогнуло мое сердце, показалось в тот момент, что ближе и роднее Гриши нет у меня никого. Сам посуди, Антон, мать умерла, ни родных, ни близких, Вековуха в ту пору только здороваться стала, а он... он любил меня. Я это еще девчонкой поняла. А дальше как получилось, сам догадаешься.

— Не жалеешь, что так получилось? — Я слышу, как хрипит мой голос.

— По-честному ответить? — Галка вскидывает голову. Мягкая прядь падает ей на лоб.

— Конечно!

— Ни капельки не жалею. Я только испугалась, когда поняла, что ребенок будет. А потом подумала: пусть.

Я почему-то завидую Гришке. Понимаю, что это глупо, даже нечестно, но ничего не могу поделать.

— А ты вспоминал его? — спрашивает Галка.

Мне становится стыдно. Там, на фронте, я вспоминал чаще всего бабушку, мать, потом Лиду, Галку, а Гришкино лицо лишь изредка возникало перед глазами и сразу исчезало. И, словно в отместку за это, в памяти начинает медленно раскручиваться полузабытое.

В тот день мать приехала, как всегда, внезапно. Бабушка спала, скрючившись в кресле. На кончике ее носа висела капля. Такого с ней никогда не случалось. Мать взглянула на бабушку, спросила шепотом, обратив на меня полные тревоги глаза:

— Заболела она?

— Нет.

От матери пахло морозом. Запутавшийся в ворсинках шинели снег потемнел, превратился на плечах в большие, выпуклые капли. Показалось: с появлением матери в комнате стало еще холоднее. Мать подула прямо перед собой, увидела облачко пара.

— Боже мой, какая у вас холодина!

— Это еще ничего,— возразил я.

Мать сняла через голову полевую сумку, расстегнула шинель, обвела глазами стены в подтеках и сказала:

— Совсем обветшало наше жилище. Не представляю, что с бабушкой будет, когда ты уйдешь на фронт.

— Я и сам об этом думаю,— пробормотал я.

Мать открыла дверь, стряхнула с шинели капли, стала разуваться.

— Замерзнешь,— сказал я.— Оставайся в валенках.

— Ноги в них, как в колодках,— ответила мать, но разуваться не стала.

На ней была суконная гимнастерка с темно-зелеными пуговицами, синяя, лоснящаяся на бедрах юбка. Кожаный, хрустящий ремень с портупеей висел косо. Я подумал, что моя мать совсем не похожа на женщин-военврачей, которые встречаются на улицах, что она до мозга костей гражданский человек и специальность у нее гражданская — фтизиатр.

Потирая озябшие руки, мать прошлась по комнате, потрогала холодную печь и сказала:

— В госпитале хоть тепло и относительно сытно, а у вас тут ужас. От холода у меня спазмы сосудов и дикая головная боль.

— Может, потопить?

Мать кивнула.

Я принес охапку сырых и тяжелых, словно свинец, поленьев, настрогал лучинок, сунул в топку измятую газету, поднес к ней спичку и стал гадать про себя — разгорятся дрова с первой попытки или нет.

Пламя охватило лучинки. Они стали потрескивать, потом занялись и дрова. Горели они плохо, сильно дымили. Синеватый огонек то пропадал, то появлялся снова, но тяга была хорошей.

Бабушка все еще спала.

— Может, разбудить? — Я перевел глаза на бабушку.

— Пускай спит,— ответила мать. Она штопала мой носок, вдев в него деревянную ложку.— В ее возрасте это естественно.

— Кстати,— неожиданно сказал я,— Гришка из больницы вернулся.

Не поднимая головы, мать спросила:

— Заходил к нему?

— Н-нет.

— Нехорошо.— Мать отложила штопку, достала из полевой сумки фонендоскоп.— Надо навестить его.

В кресле завозилась, отыскивая носовой платок, бабушка. Мать тихонько окликнула ее. Бабушка встрепенулась, посмотрела на мать, спросила:

— Приехала? — Она вытерла нос, откинула плед, приподнялась, опершись о подлокотники.— Давно приехала?

— Только что,— ответила мать.

— А я все сплю и сплю,— сказала бабушка.— Прямо наказание какое-то.

В материнских глазах промелькнула тревога. Я только сейчас заметил, как постарела мать. В ее темно-русых волосах виднелись серебряные нити, лоб и щеки покрывали морщины, под глазами лежала синева — признак усталости и недоедания, пальцы были желтыми от йода, которым протиралась перед уколами кожа больных.

Мать чмокнула бабушку в лоб.

— Мы сейчас вернемся.

— Куда это вы?

— К Поповым.

— Сходите к нему, сходите,— закивала бабушка.— Но только поскорее возвращайтесь.

До этого я никогда не бывал у Поповых и убранство их комнаты видел лишь мельком, когда, играя в салочки или казаки-разбойники, пробегал мимо окна с отставшим наличником. Взгляд успевал схватить самое главное: две кровати, накрытые лоскутными одеялами, старый комод, высокий и пузатый, шкаф с оторванной дверцей. Из окна Гришкиной комнаты всегда несло чем-то кислым. Гришка гово-

рил мне, что его мать — тряпичница, каких свет не видел, что она не хочет расставаться даже с драными-предраными носками, что все обноски она связывает в узлы и сует их под кровать, где они отсыревают и гниют.

— От них и идет вонь,— жаловался Гришка.

Я сочувствовал ему, я не представлял, как можно дышать таким воздухом.

Постучавшись, мы вошли к Поповым. Гришка полулежал на кровати, откинувшись на гору подушек, три из которых, нижние, были без наволочек, а верхняя отливала желтизной. Его плечи покоились на подушках, голова лежала на спинке кровати — на толстом металлическом пруте, накрытом полотенцем, на фоне которого выделялась Гришкина шевелюра: густые, давно не стриженные волосы. Лицо у него было землистым, с глубокими впадинами на щеках, глаза — блестящими. Казалось, в них что-то светится. Гришка походил сейчас на врубелевского Демона, которого я видел в роскошном издании Лермонтова, стоявшем на книжной полке в нашей комнате.

Комната Поповых была продолговатой, узкой. У стен стояли кровати — одна у самой двери, другая у окна. Между ними оставался проход, сквозь который можно было протиснуться только бочком. Раиса Владимировна спала возле окна. В ногах Гришкиной кровати находилась печь. Занимая пространство между дверью и стеной, она почти на полметра вдавалась в комнату. Топка находилась сбоку, около самой двери. Печь была высокая — такая же, как у нас,— обмазанная глиной. Задняя спинка Гришкиной кровати упиралась в печь. Когда он вытягивал ноги, просовывая их сквозь металлические прутья, касался подошвами шершавой поверхности печи.

Кроме кроватей, в комнате стояли комод, накрытый кружевной дорожкой, платяной шкаф с державшейся на одной петле дверцей, источенный жучками стол и три расшатанных стула. Посреди комнаты свисал с потолка ситцевый абажур — грязный, прожженный в нескольких местах. На стульях и спинках кроватей висела одежда. На подоконнике и комоде стояли пузырьки и бутылочки с лекарствами. Раиса Владимировна гладила.

Слабо улыбнувшись, Гришка попытался привстать.

— Лежи, лежи,— остановила его мать. Обернувшись к Раисе Владимировне, добавила: — Душно у вас. Надо бы проветривать комнату.

— А сквозняк? — Раиса Владимировна выкатила глаза, позабыв об утюге.

— Закройте поплотнее дверь, укутайте сына и проветривайте.

— Все тепло уйдет...— Раиса Владимировна перевела взгляд на окно.

— Не уйдет,— возразила мать.— Для него,— она посмотрела на Гришку,— свежий воздух тоже лекарство.

Гришка кивнул и весело — так показалось мне — покосился на Раису Владимировну.

Подойдя к нему, мать присела на край кровати и сказала, откидывая одеяло с его груди:

— Давай я тебя послушаю.

Гришка сел. Мать обхватила его за плечи, потянула на себя.

— Теперь рубашку снимем,— ласково сказала она и помогла Гришке расстегнуть пуговицы на рубашке с вышивкой на рукавах.

Гришкины бока напоминали два ксилофона. Справа и слева отчетливо проступали ребра, обтянутые синеватой, почти прозрачной кожей. Пока мать выстукивала Гришку, перемещая по его спине ладонь, он смотрел на свой живот — втянутый, с выпирающими над ним ребрами. Он смотрел на свой живот с недоумением, словно видел его первый раз.

— А теперь сделай вдох,— сказала мать.

Гришка сделал вдох и зашелся кашлем. Из его груди вырывался хрип, худые плечи сотрясались, рука шарила под подушкой — искала платок.

Раиса Владимировна опустилась на стул. Ее руки повисли, из глаз покатились слезы.

Кашлял Гришка страшно — с надрывом, судорожно глотая воздух. Мать легонько похлопала его по спине.

— Сейчас пройдет. Сейчас я тебе таблетку дам. Очень хорошую таблетку.

Я увидел на комоде стакан с мутью на гранях, налил в него на три четверти воды.

Порывшись в нагрудном кармашке, мать извлекла из него небольшую коробочку, наполненную белыми таблетками.

— Запей,— сказала она, протягивая Гришке таблетку и стакан.

Он положил таблетку в рот, сделал глоток и откинулся на подушки. В его груди по-прежнему что-то клокотало и булькало, но кашлял он уже реже и тише.

— Сейчас совсем пройдет,— сказала мать и вложила в уши костяные наконечники фонендоскопа.

Никелированная, блестящая головка поползла по Гришкиной груди. Его лицо было обращено к стене. Когда начинался кашель, он подносил к губам носовой платок и держал его у рта до тех пор, пока не прекращался приступ.

Я не раз слышал от матери, что туберкулез — страшная болезнь, что медицина пока бессильна перед ней, что из каждых десяти больных выздоравливают три, а остальных ждет смерть или медленное угасание, что главное — сопротивляемость организма, что с туберкулезом можно прожить много-много лет, а можно сгореть в полгода. Бывая у матери в больнице, я видел больных туберкулезом, иногда цветущих, казалось, полных сил, но чаще изможденных, со впалыми, как у Гришки, щеками. В серых халатах или пижамах, они гуляли по двору, часто останавливались, отдыхали на скамейках. Они улыбались, шутили, смеялись, а я гадал про себя — кто из них умрет, а кто останется в живых. Я жалел этих людей, потому что понимал: их жизнь — неизвестность. Я никогда не подходил к ним. Я не подходил к ним не потому, что боялся заразиться,— боялся выдать себя, боялся оскорбить этих людей переполнявшим меня состраданием.

Такое же чувство я испытывал, глядя на Гришку. Я не допускал и мысли, что он умрет. Я уверял себя, что он выздоровеет, что упадок сил — временное явление.

Головка фонендоскопа перемещалась по Гришкиной груди. Она прослушивала каждый сантиметр. Она усиливала хрипы и передавала их по трубочкам в уши. Раиса Владимировна не сводила глаз с этой головки. Я тоже смотрел на нее. Я молил про себя бога, чтобы мать сказала: «Ничего страшного».

Но она сказала совсем другое. Перебирая резиновые трубочки, она спросила, глядя на Гришку:

— Когда тебе последний раз снимок делали?

— Не помню,— ответил Гришка.— Кажется, месяц назад.

— Сохранился он?

Раиса Владимировна метнулась к комоду, порылась в белье, извлекла из-под него свернутый в трубочку рентгеновский снимок. Мать развернула его, посмотрела на свет и сразу опустила. «Плохо»,— подумал я.

Попова с надеждой посмотрела на мать. Мать молчала.

— Что? — хрипло спросила Раиса Владимировна.

Медленно, взвешивая каждое слово, мать сказала:

— Ему покой нужен, свежий воздух и...— мать запнулась,— сносное питание: белки, жиры, углеводы. По утрам лучше всего гоголь-моголь.

«Гоголь-моголь,— подумал я.— Где взять яйца, сахарный песок? Где взять жиры, белки и все остальное? Неужели мать не понимает, что говорит?»

— Я понимаю,— сказала мать,— на все это потребуется много денег, но...

— Я достану! — неожиданно воскликнула Раиса Владимировна. Ее глаза излучали живой блеск, движения стали уверенными.

Запахло паленым.

— Мама, утюг,— сказал Гришка.

— А, чтоб его! — Раиса Владимировна метнулась к двери.

Гришка засмеялся. В его смехе не было ни злобы, ни ехидства. Это был добродушный смех, в котором чувствовалась любовь и жалость к матери.

Я удивился. Это, должно быть, отобразилось на моем лице. Гришка вздохнул и сказал:

— А ты, я слышал, в армию собираешься?

— Да,— подтвердил я.— Повестку жду.

— Счастливец! — Гришка задумался.— Ты воевать будешь, бить этих сволочей, а я...— Он отвел глаза к стене.

— Ничего! — воскликнул я.— Ты поправишься и тоже...

— Правда? — Гришка оживился.

— Конечно!

Чуть-чуть приподнявшись, он стал насвистывать.

— Новая песенка? — спросил я.

Продолжая насвистывать, Гришка кивнул. В его новой песенке была и радость и тоска. В глазах у меня защемило.

— Нравится? — поинтересовался Гришка.

— Очень!

Гришка улыбнулся.

— У меня теперь много времени. Лежу, а в голове все бродит что-то, бродит.

— В нашем дворе твои песенки любят.

— Да... Галка их любит,— сказал Гришка и осекся.

— Пора,— напомнила мать.

— Заходи,— жалобно попросил Гришка, когда мы стали прощаться.

На втором этаже около двери в нашу квартиру я остановился.

— Что? — спросила мать.

— Он выздоровеет?

Мать помолчала.

— Нет.

В детстве я отвергал смерть. Мне казалось тогда: ученые изобретут лекарство, которое позволит жить вечно. За несколько лет я поумнел и теперь воспринимал смерть как логическое завершение жизни. Я не отвергал смерть ради чего-то и во имя чего-то. Считал: можно погибнуть на фронте, бросившись на амбразуру, можно испытать на себе новую прививку, можно пожертвовать своей жизнью во имя жизни близкого тебе человека. Но умереть просто так, дома, на кровати — такую смерть я не принимал.

— А вдруг? — с надеждой спросил я.

— Что вдруг?

— Вдруг он... выживет?

— Будем надеяться,— сказала мать и добавила: — Ты навещай его, пока в Москве. Хоть изредка навещай. Это для него тоже лекарство.

«Будем надеяться»,— подумал я. Разумом я понимал всю бессмысленность такой надежды, а сердце не хотело понимать это...

Войдя к себе, мы увидели склонившуюся над диваном бабушку. На нем были разложены узелки, коробочки, пожелтевшие от времени письма — все то, к чему так ревниво относилась бабушка, что хранила в зеркальном шкафу.

Обернувшись, бабушка смутилась, сгребла узелки, коробочки, письма в одну кучу, потом вдруг махнула рукой, тихо засмеялась. Взяв из кучи небольшую продолговатую коробочку, подошла, прихрамывая, к матери. Открыла коробочку. Изнутри она оказалась обшитой атласом. На атласной подушечке лежала брошка — узенькая полоска светлого металла, украшенного бирюзовыми точечками. Глядя на мать, бабушка сказала:

— Брошка эта копеечная, а мне дорога. После смерти все это,— бабушка кивнула на узелки, коробочки, письма,— сожги, а брошку в гроб положи. Не хочу с ней расставаться!

— Ах, оставь, пожалуйста! — рассердилась мать. Она всегда сердилась, когда бабушка говорила о своей смерти.

— Сердись не сердись,— с печальной улыбкой возразила бабушка,— а умирать, chére amie[1], все равно придется. Пожила свое — хватит!

Мать подошла к ней, поцеловала бабушку в висок. Бабушка неловко обхватила мою мать за шею, и они на несколько минут застыли, будто неживые...

6

— Жил Гриша Попов на нашем дворе,— доносится до меня Галкин голос,— а теперь ни его нет, ни Раисы Владимировны.

— Кстати, где она?

— Уехала.

— Уехала?

— Сразу после похорон. Видно, поняла, что сильно виновата перед сыном и перед вот этим тогда еще не народившимся человечком.— Галка кивает на безмятежно спящего Колю и добавляет, сделав ударение на «он»: — А он умер в день твоего отъезда... Ты помнишь, как мы танцевали накануне?

Помню. Конечно, помню! И не только это. Последний день, проведенный в Москве, я помню отчетливо, словно это было вчера.

Шел третий год войны. После ноябрьской слякоти ударили сильные морозы, а перед ними два дня и две ночи валил и валил густой-прегустой снег. С крыш свисали снеговые козырьки, двор утопал в сугробах, среди которых извивались узенькие тропинки. Все тропинки начинались около подъездов. Утром, когда люди спешили на работу, и вечером, когда они возвращались, тропинки покрывались желтым налетом; днем же и особенно ночью на них наметало столько снега, что их приходилось протаптывать заново. Ветер стлал по двору поземку. Когда порывы усиливались, снег вспархивал над сугробами белыми, скрученными в спирали облачками. Взъерошенные, полузамерзшие воробьи, эти маленькие комочки, попрятались кто куда.

Двор казался вымершим.

Ничего этого я не видел — на окнах нашей комнаты лежал толстый слой инея с ледяными наростами. Лед был выпуклым, прозрачным, от него веяло хо-

---

[1] дорогой друг.

лодом. И все-таки я отчетливо представлял себе наш двор, потому что все — снег, тропинки — еще не успело померкнуть в памяти; я только что пришел, озябший до мозга костей, домой и теперь хотел только одного — согреться. Приложил ладонь к печи, но ощутил лишь холодный, шершавый кирпич, без намека на тепло. Печь я топил раз в сутки, перед сном. «До вечера еще ждать и ждать»,— подумал я и поежился.

От недостатка света воздух в нашей комнате казался синеватым, похожим на дым. Но дым давал хоть немного тепла, а этот воздух ничего не давал — только холод.

За два с половиной года наша комната сильно изменилась: темные обои потемнели еще больше, покрылись пятнами, трещинками, краска на подоконниках покоробилась. В комнате пахло холодом и сырой осиной — дрова теперь хранились частью в комнате, частью в коридоре: наш сарай прекратил свое существование в первый год войны. В сорок первом, когда не стало топлива, мы его сломали и сожгли. Несколько дней в нашей комнате было по-настоящему тепло.

Дрова выдавались по специальным талонам — 75 процентов осины и 25 процентов сосны или березы. Мы получали их на Мытной улице, на дровяном складе, расположенном около керосиновой лавки, где — тоже по талонам! — продавался керосин. Дрова были сырые — хоть выжимай. Горели они плохо, угарным, нестойким пламенем, и почти не давали тепла. После них оставалась зола и горстка углей. Разжигались дрова еще хуже. Умение разжечь их стало искусством. В нашей квартире лучше всех это делала Вера. Она укладывала дрова очень хитро, совала в них пучок тонких лучинок, кусочек березовой коры и поджигала. На растопку печи Вера тратила всего одну спичку, а я — пять или шесть. Это огорчало меня: спички выдавались по карточкам, на рынке они стоили дорого — пять, а то и десять рублей коробок.

Стояли такие холода, что стены нашей комнаты промерзли насквозь. Под подоконниками белел иней. Вечером, когда я топил печь, обои покрывались мокрыми пятнами и на пол натекали лужи. Жильцы снизу пожаловались — потолок не просыхает, и я стал класть на подоконник тряпки. К утру мокрые пятна на обоях снова превращались в иней, а тряпки гнулись в руках, словно картон. Все щели в стене, обращенной во двор, были утыканы старыми чулками, тряпками, но это мало помогало: к середине ночи комната настолько остывала, что, казалось, волосы примерзают к подушке. Спал я, накрывшись с головой одеялом, навалив на себя все, что только можно: старое пальто, пиджаки, изъеденный молью платок. В постели было тепло и уютно. Я не вставал даже тогда, когда... Проснувшись среди ночи, я терпел до утра, то проваливаясь куда-то, то просыпаясь снова. Страшнее всего было утром, когда приходилось вставать. Я откладывал это до самой последней секунды, потом вскакивал и, чувствуя, как прыгают губы, быстро надевал рубашку. Вот уже более двух лет я работал на «Шарике» — сперва учеником строгальщика, а последнее время строгальщиком третьего разряда. Работал в три смены, как и все. Очень трудно было ночью, когда хотелось спать, когда глаза слипались сами собой. Мне нравилось работать с утра. После работы оставалась куча свободного времени, которым можно было распорядиться по собственному усмотрению.

Я только что пришел с ночной смены. Я радовался, что мне больше не придется вставать по утрам и мчаться в цех. Завтра я уходил в армию. Повестка лежала на столе. Я получил ее три дня назад. Я мог бы уволиться сразу после получения повестки, но я сознательно не сделал этого: «Шарик» считался оборонным предприятием, меня могли не отпустить. А мне хотелось на фронт. Мне казалось, там я принесу больше пользы. Я попытался уйти в армию еще полгода назад, но в военкомате мне дали от ворот поворот. Мне сказали, что двадцать шестой год еще не призывают. И вот теперь настал мой черед. В семнадцать лет не думают о смерти. Я не допускал и мысли, что меня убьют или ранят. Мне хотелось вернуться домой с медалью, а еще лучше — с орденом. Я понимал, что получить медаль или орден будет нелегко, и поэтому собирался воевать на совесть.

Был я в ту пору неопытен, наивен, о войне судил лишь по кино и книгам, я даже не подозревал, какая она, настоящая война, думал, все будет просто. Но все оказалось совсем не так, как я представлял себе это. Было страшно. Да, страшно! И в этом нет ничего удивительного, нет ничего зазорного. Страх — естественное состояние, и, если ты не прячешься за спину других, не отлыниваешь, если ты четко и беспрекословно выполняешь команды, значит, ты сумел преодолеть страх, стал настоящим солдатом. Не сразу далось мне это. Нет, не сразу, подействовал пример других, таких же безусых ребят, как я.

Я сижу около Галки, вижу ее глаза — два бездонных колодца — и вспоминаю, вспоминаю, вспоминаю.

Незадолго до моего ухода в армию бабушка сильно сдала. Первые два года держалась: выменивала вещи на продукты. На рынке ценилась только одежда, безделушки не пользовались спросом, поэтому японский фарфор и прочее бабушка отнесла в комиссионный магазин. Деньги быстро кончились. На рынок ушли отрезы, скатерти. С каждым месяцем в шкафах становилось все просторней. Карточки, особенно иждивенческие, отоваривались плохо. Волей-неволей бабушке приходилось ходить в комиссионный магазин или на рынок. Когда в комнате не осталось ничего ценного, она продала пианино. Больше всех сокрушался в тот день Гришка. Он ничего не говорил, только вздыхал, и в глазах у него стояли слезы.

Закутавшись в плед, бабушка сидела целыми днями в кресле и о чем-то думала. Ее глаза потускнели, кожа стала дряблой. Она уже не походила на прежнюю бабушку, веселую, полную жизни. Я хотел вызвать ей врача, но она сказала, что у нее ничего не болит.

За стеной кашлял Федор Иванович Силин, наш сосед, заядлый курильщик. До войны он курил «Беломорканал», а теперь — махорку, которую выменивал на хлеб. Он говорил, что без хлеба прожить можно, а без курева — никак.

Был он ужасно нескладный, с длинными, висящими вдоль туловища руками. Плечи у него были покатые, как у женщины, лицо доброе, с крупными чертами — мясистым носом, широким ртом и по-детски округлым подбородком. Каждое его движение — неторопливый поворот головы, медленная походка — свидетельствовало о невозмутимости характера.

Работал Федор Иванович точильщиком. С утра до вечера таскал на себе точильный станок и выкрикивал: «Ножи, ножницы точу, мясорубки». Свой станок он берег, никогда не оставлял его в коридоре — вносил в комнату. Когда кому-нибудь требовалось наточить нож, Федор Иванович устанавливал станок на лестничной клетке и, нажимая ногой на педаль, мурлыкал что-то.

Ножи он точил прекрасно. Побывав в его руках, они становились острыми, как бритвы. Быть точильщиком Федору Ивановичу нравилось. Он не скрывал этого. В минуты откровенности Федор Иванович рассказывал:

— Идешь по улице, солнышко греет, ветерок обдувает, красота! Зимой тоже хорошо: снежок поскрипывает, морозец, и никто тебе не мешает, никто тебя не тревожит. Я люблю ножи точить — в них жизнь человеческая. У одних ножи богатые, как у твоей бабушки, у других дешевые. У одних тупые, у других только затупленные, у третьих — просто кусок железа, не нож. Таким хозяйкам я выговор делаю, потому что за ножом тоже уход требуется. Я лица не запоминаю, а ножи — да. По ним определить могу, что за человек — хозяйка.

Федор Иванович был мастером на все руки. Когда в нашей квартире требовалось что-нибудь починить или прибить, обращались к Силину. Если требовалась починка, он долго вертел в руках испорченную вещь, трогал пальцем выступы, потом произносил:

— Сделаю.

Если же надо было прибить картину или полку, Федор Иванович приходил с молотком, клещами и гвоздями. Несколько минут молча смотрел на то место, куда надо было прибивать, потом долго примеривал картину или полку. Не поворачиваясь, спрашивал:

— Хорошо?

Когда ему отвечали «хорошо», доставал из-за уха огрызок карандаша, делал на стене пометки. Отойдя на шаг, смотрел на них. Если пометки совпадали, складывал пучком гвозди, совал их в рот, доставал торчащий из кармана молоток. Приставив гвоздь к стене, вгонял его двумя-тремя ударами в дерево.

Он никогда не торговался и на вопрос, сколько будет стоить работа, всегда отвечал:

— Сколько дадите.

Если же заказчики настаивали, Федор Иванович волновался: пальцы приходили в движение, глаза устремлялись в пол.

Бабушке часто казалось, что она недоплачивает Силину. Поэтому за каждую услугу она давала ему то рубль, то трешку. Федор Иванович молча брал деньги и уходил. Через несколько минут возвращался — приносил сдачу.

— Не надо, не надо,— отказывалась бабушка.

Федор Иванович молча клал деньги на стол и так же молча удалялся.

— Очень честный человек,— бормотала бабушка.

Я думал так же.

Кроме этого, Силин чинил обувь. И чинил лучше, чем в мастерской. Все жильцы нашей квартиры чинили обувь у Федора Ивановича, все, но только не Елизавета Григорьевна. Она утверждала, что Силин — кустарь, что хорошую обувь он испортит. Но Федор Иванович чинил и хорошую обувь, чинил отлично. Он занимался этим делом до тех пор, пока его не оштрафовали. Я тогда почему-то решил, что фининспектора вызвала Елизавета Григорьевна.

Бабушка открыла глаза. Она дремала в кресле.

— Пришел? А я и не слышала.— Помолчала, напрягая память, и добавила: — Чайку поставь, если не трудно. Холодно очень.

— Ладно,— сказал я и пошел на кухню.

На кухне было еще холодней. Во время первой бомбежки на кухне лопнуло стекло, и теперь из окна сильно садило. На месте стекла темнела покоробившаяся, обросшая инеем фанера. Приподнявшись на цыпочки, можно было увидеть свалку — огромный пустырь, похожий на гигантскую арену, накрытую белым-белым ковром. За свалкой виднелся Конный двор. До войны я часто бегал туда. Мне нравилось смотреть на лошадей, нравился запах конского пота; под блестящей кожей отчетливо проступали замысловатые сплетения сухожилий, кони вздрагивали, обмахивались хвостами, когда на них садились мухи и оводы. Теперь на Конном дворе размещался гараж воинской части. Конный двор был оцеплен колючей проволокой, туда никого не пускали.

До войны наша кухня обогревалась внушительной печью, топка которой находилась в комнате Елизаветы Григорьевны. Но в самом начале войны она поставила в своей комнате железную печурку — на четырех ножках, с двумя вьюшками, и на кухне стало, как в могильном склепе.

С той поры как началась война, потолок и стены на кухне не белились. На них лежал густой слой копоти. Ее было так много, что она отслаивалась и шевелилась, когда возникало слабое дуновение. Очень часто на полу и на столах оказывались куски копоти, похожие на черные кляксы. Они размазывались, когда их стирали, въедались в щели. Не слышно было теперь ни веселого шипения примусов, ни слабого потрескивания керосинок, ни журчания воды, вытекающей из крана,— ничто не нарушало тишины, такой непривычной для нашей кухни. В последние годы варили и жарили редко. Горячее готовили раз в день, а в промежутках кипятили чай. Даже не кипятили, а подогревали — берегли керосин.

Чаще всех на кухне бывала Елизавета Григорьевна. Только она готовила три раза в день. В самом начале войны она привела к себе плешивого мужчину в суконной гимнастерке без погон, в синих галифе.

— Мой муж — Никодим Петрович,— отрекомендовала Елизавета Григорьевна этого человека.

Вскоре выяснилось: Никодим Петрович вовсе и не муж. Но, несмотря на это, Елизавета Григорьевна продолжала называть его мужем. Был он агентом по снабжению, поэтому Елизавета Григорьевна могла готовить три раза в день. Когда она жарила колбасу или варила суп, по квартире распространялся такой аромат, что у меня текли слюнки.

Вот и сейчас Елизавета Григорьевна что-то варила, помешивая ложкой в кастрюле. Была она в байковом халате не первой свежести, в грубошерстных носках, в домашних тапках на войлочной подошве, растоптанных, но еще достаточно прочных. Обзаведясь сожителем, Елизавета Григорьевна перестала обращать внимание на свой внешний вид. Она снова превратилась в прежнюю Елизавету Григорьевну, неряшливо и безвкусно одетую. Несмотря на то, что Никодим Петрович приносил ей отрезы и обувь — он доставал не только продукты, но и промтовары,— Елизавета Григорьевна продолжала ходить в том, что она справила себе до войны. Новые платья она берегла. Никодим Петрович часто бранился с ней, советовал одеваться получше, но Елизавета Григорьевна его не слушала. Ей, видимо, нравилось донашивать старье, видимо, не хотелось возиться с укладкой волос, не хотелось делать то, что обязательно для нового платья. Своей жизнью Елизавета Григорьевна была довольна. Она часто говорила на кухне, особенно при Вере, что муж ей достался — дай бог всякому такого, что она ни о чем не тужит.

— Война кончится — ребеночка заведу,— мечтала Елизавета Григорьевна.

— А не поздно будет? — спрашивала бабушка.

— Нет,— отвечала Елизавета Григорьевна. И добавляла: — Материально мы и сейчас обеспечены, все же лучше дождаться конца войны.

Меня коробила болтовня этой сытой женщины. Так и подмывало сказать ей что-нибудь резкое, но я помалкивал: Елизавета Григорьевна не задевала ни меня, ни мать, ни бабушку — все стрелы были направлены на Веру, а Вера не обращала на них внимания. Это бесило Елизавету Григорьевну. И она не скрывала этого.

— Здравствуйте,— сказал я Елизавете Григорьевне и покосился на кастрюлю, в которой булькало что-то.

— Здравствуй,— отозвалась Елизавета Григорьевна, скребя ложкой по дну кастрюли.— Бабушка как?

— Мерзнет,— сказал я.

— А ты потопи,— посоветовала Елизавета Григорьевна.

«Потопи,— подумал я.— Тебе хорошо говорить — потопи. Тебе дрова каждую неделю привозят, а у нас их с гулькин нос».

Подув на ложку, Елизавета Григорьевна попробовала варево — что-то темное, вкусно пахнувшее. Оно показалось ей недостаточно соленым. Поморщившись, Елизавета Григорьевна бросила в кастрюлю щепотку соли, которая стояла на столе в поллитровой банке.

— Пойду мужа кормить,— сказала она и сняла кастрюлю с керосинки.

Я ничего не ответил — прочищал примус. Денатурата не было, примус приходилось разжигать керосином, от которого возникала копоть. Провозившись минут пять, я все же разжег примус. Посмотрел на руку — испачкалась. Пустил тоненькую струйку и стал мыть руки, перекатывая в ладонях шершавый обмылок, совсем не дающий пены.

Вошла Вера. Она была в темном халате, от которого пахло мазутом, в резиновых ботах с пуговками на боку. Щеки у нее покраснели от мороза, пальцы свело.

— Ну и погодка сегодня! — сказала Вера.— Градусов тридцать, наверное.

— По радио передавали — двадцать пять,— сообщил я.

— Это днем двадцать пять будет,— возразила Вера.— А сейчас тридцать.— Она подула на пальцы.

— Пожалуй,— согласился я.

Вера работала, как и я, на «Шарике», но только в другом цехе. «Она только что с ночной»,— подумал я и спросил:

— Чего так поздно?

— Паек выкупала,— ответила Вера.— Целый час простояла в очереди.

— Чего выдают?

— Ничего особенного. На жировые талоны смальцу взяла, а мясные приберегла. Может, колбасу выбросят, неохота их на селедку переводить.

— Селедка — это ерунда,— поддакнул я.

Вера улыбнулась и неожиданно сказала:

— А я вчера сон видела. Живой Ваня.

Я отвел глаза.

— Ей-богу, живой! — воскликнула Вера.

— Возможно,— пробормотал я.

Я не верил тем, кто на людях рыдал навзрыд, кто стучал в грудь кулаком, кто ходил от соседа к соседу и жаловался. Несмотря на то, что это производило впечатление, я не верил! Настоящее горе представлялось мне молчаливым. «Настоящее горе,— думал я,— носят в себе, а плачут втихомолку,— так, чтобы другие не видели».

— Кипит.— Вера кивнула на чайник.

Я погасил примус, взял чайник и вошел в темный, пахнувший мышами коридор. Лампочка в коридоре давно перегорела. Вера все собиралась ввернуть другую, но не могла достать пятнадцатисвечовую, а более сильную не хотела Елизавета Григорьевна. Она говорила, что коридор не фойе, что десять или пятнадцать свечей для него в самый раз, а больше — расточительство.

Первое время разговоры о лампочке возникали часто, а потом все смирились с отсутствием света, научились обходить в темноте корзины, сундуки, дрова и другие предметы, которых с каждым месяцем в нашем коридоре становилось все меньше и меньше: что-то сжигалось, что-то обменивалось,— на рынке даже за старые вещи можно было получить кое-какие продукты.

Я увидел прямоугольник света, падающий на пол из комнаты Силиных. Согнувшись над корзиной, в коридоре стоял Федор Иванович. Он что-то искал, загораживая проход. Вот уже два года Федор Иванович работал в артели, где шили солдатские «сидора». Он «переквалифицировался» и теперь ремонтировал швейные машинки.

— Посторонитесь,— сказал я, отводя руку с чайником.— Как бы не ошпарить вас.

— А-а...— Федор Иванович посторонился.— Чайком побаловаться решил?

— Холодно,— сказал я.

— Холодно,— согласился Федор Иванович.— Значит, последний день сегодня?

— Завтра утром,— ответил я.

— А мне двенадцатого.

— Вас тоже? — удивился я.

— Забрали.— Федор Иванович вздохнул.— Но в нестроевые. Наверное, в тылу оставят. А если пошлют, то в трофейную команду или в кашевары.

— Какой из тебя кашевар! — воскликнула Клавдия Васильевна, появляясь в дверях.— Ты варил хоть когда-нибудь кашу-то?

— Кашу сварить — нехитрое дело,— отозвался Федор Иванович. Он стоял в проходе, держа в руках старые ботинки. Одет Силин был тепло — в душегрейку и ватные брюки. Все это сшила ему жена. Клавдия Васильевна работала в той же, что и муж, артели, но только на дому.

— Нехитрое? — спросила Клавдия Васильевна.— Это только кажется так. Хорошую кашу сварить — не нож наточить.

— Э-эх,— вздохнул Федор Иванович.— Когда-то теперь придется поточить их? Да и придется ли? Теперь люди все сами правят — и ножи, и ножницы, и бритвы. После войны нашему брату, точильщику, много работы будет, потому что правильно наточить нож — наука. А насчет каши,— Федор Иванович обернулся к жене,— не беспокойся, сумею. Сейчас концентраты в ходу. С ними никакой возни: размял, залил водой и крути поварешкой.

— Не возьмут тебя в кашевары,— сказала Клавдия Васильевна.— У тебя к этому никакого таланта.

Была она такой маленькой и худенькой, что, стоя в дверях, совсем не застила свет. Федор Иванович похудел, как, впрочем, похудели почти все в нашей квартире, а его жена не изменилась: ей, видимо, некуда было худеть. Насколько я помнил, Клавдия Васильевна всегда довольствовалась малым, всегда отдавала лучшие куски мужу.

— Вот обувку ищу,— пояснил Федор Иванович.— Жалко в хороших-то идти — все равно пропадут.— Он осмотрел ботинки, которые держал в руках, и добавил: — Сойдут! Набойки набью, косячки прилажу — как раз на неделю хватит. А там обуют. Башма-

ки с обмотками выдадут или сапоги... Как полагаешь, что лучше — башмаки с обмотками или сапоги?

— Конечно, сапоги!

— А я полагаю — башмаки с обмотками. В них теплее.

— Зато в сапогах красивее.

— Это мне ни к чему,— сказал Федор Иванович.— Мне лишь бы тепло было да курева побольше.

Клавдия Васильевна улыбнулась.

— Кому что, а моему дымоеду — курево. Будет тебе курево, отец. Там, я слышала, пачку махорки на день выдают.

— Это мне мало,— возразил Федор Иванович.

— Больно ты хитрый! У других и того нет, а ты — мало.

Открылась дверь, осветив на несколько секунд другую часть коридора. Ковыряя спичкой в зубах, к нам подошел Никодим Петрович. От него вкусно пахло. За два с половиной года он раздобрел. Мышцы налились жирком, щеки округлились, под ремнем топорщился животик.

— Про что речь? — спросил Никодим Петрович.

— Про курево,— сказал Федор Иванович.

Никодим Петрович достал металлический портсигар, на внутренних стенках которого лежали под резинками, тесно прижавшись друг к другу, толстые папиросины, протянул его Федору Ивановичу.

— Угощайтесь.

— Благодарствую.— Федор Иванович осторожно извлек папиросу, помял ее в пальцах.— Благодарствую. Давно не курил такие.— Он достал коробок, тряхнул им, проверяя, есть ли в нем спички, и спросил, не глядя на Никодима Петровича: — Вам такие по пайку выдают?

Запустив под ремень пальцы, Никодим Петрович расправил на гимнастерке складки, снисходительно улыбнулся.

— Это генеральские. Мне другие положены — похуже. Но не имей, как говорится, два брата, а имей два блата. Блат в наши дни — великое дело.

Меня возмутило это, и я сказал:

— На одном блате долго не проживешь. Блат — это омерзительно!

Никодим Петрович усмехнулся:

— Молоды вы еще, поэтому и рассуждаете так. Я уже десять лет агентом работаю и знаю: блат — это все.

Меня уже давно удивляло, что Никодим Петрович не в армии, и я сказал:

— Значит, по блату и от фронта отвертеться можно?

Никодим Петрович хохотнул:

— Все успеем там побывать.

Такую фразу я уже слышал. Она воспринималась мной, как отговорка, как лишнее доказательство, что на фронт попадут далеко не все, что кое-кому удастся словчить.

Федор Иванович разглядывал пепел на папироске. Клавдия Васильевна стояла с непроницаемым выражением на лице. В коридоре что-то назревало. Так бывает летом, перед грозой, когда светит солнце, а по небу уже ползет фиолетовая туча, испещренная далекими вспышками молний. Грома еще не слышно, но все ждут, что он вот-вот грянет. Солнце постепенно меркнет, покрывается облаками, которые плывут перед тучей, словно легкие ладьи перед большим кораблем. Наступает гнетущая тишина — предвестница грома, ослепляющих молний, ливня.

Не представляю, чем бы все это кончилось, если бы не распахнулась дверь, ведущая на лестничную клетку, и в коридор не вошла бы в облачке пара моя мать — в подбитой ватой шинели с капитанскими погонами на плечах, в нелепо сидящей шапке-ушанке, в непомерно больших валенках с отворотами, с полевой сумкой на боку. В руке она держала сверток, перевитый крест-накрест шпагатом.

— Здравствуйте,— сказала мать, обводя всех нас взглядом.— Что у вас происходит?

— Митингуем,— сказал Никодим Петрович и пошел, поскрипывая сапогами, на кухню.

Федор Иванович спросил что-то о погоде, Клавдия Васильевна вздохнула. Мать прикоснулась холодными, как льдышки, губами к моей щеке и сказала:

— Твою телеграмму только вчера получила. Всего на полчаса отпросилась. За медикаментами приехала. Дел у меня, сам понимаешь, невпроворот.— Она потерла лоб, припоминая что-то.— Собрался уже?

— Какие у солдата сборы! — ответил я с нарочитой грубостью.— Кружка, ложка, полотенце — вот и все.

— Я кое-что привезла тебе,— сказала мать, отдавая мне сверток.

— Опять экономила? — пробормотал я, пытаясь узнать на ощупь, что там.

Силины ушли в свою комнату. Из кухни доносился скрип сапог. В уборной журчала вода...

7

Галка молчит. И я молчу. Солнце не жжет, только пригревает. Радуясь погожему дню, весело чирикают воробьи. В палисаднике, под окном Вековухи, растут цветы. (Два года назад на этом месте зеленела картошка.) На тонких стеблях покачиваются красные и белые георгины, огромные и тяжелые, распускаются астры — лиловые, красные, белые. Кончилась война, и людям снова понадобились цветы. На окне Вековухи — решетка. «Зачем она ей? — думаю я.— Неужели Авдотья Фатьяновна боится жуликов?» Зажав под мышкой костыль, по двору мотается Лидин брат, небритый и уже под мухой. Неряшливо одетый, он похож сейчас на тех забулдыг, которые все дни напролет околачиваются на рынках — что-то продают, покупают, меняют, которые живут какой-то своей, непонятной мне жизнью — собираются по вечерам в пивнушках за покрытыми липкими клеенками столиками, орут пропитыми голосами песни и, стуча в грудь кулаками, пьяно плачут, потом сквернословят, дерутся, давая выход накопившейся в их сердцах горечи, неудовлетворенности жизнью.

У Витьки — вторая группа. Раз в полгода он ходит на переосвидетельствование. Вчера Витька пожаловался мне на врачей.

— Чего они гоняют меня? — сказал Витька.— Неужели думают, что нога отрастет? Дали бы бессрочную — и конец.

Витька мастерит зажигалки и продает их на Даниловском рынке. Пьет он много, но не напивается.

— Водка меня не берет,— куражится Витька,— а настроение поднимает.

До войны он был другой. Его светло-голубые, почти прозрачные глаза искрились весельем, с губ не сходила улыбка, которая менялась у него в зависимости от настроения — то становилась нахальной, то открытой. Но в плохом настроении Витька пребывал редко. Чаще всего он по-хорошему улыбался и насвистывал веселое, провожая взглядом появляющихся в нашем дворе женщин. Витька старше меня на два года. Он увлекался футболом, каждое воскре-

сенье ездил на «Динамо» тренироваться. Девушки и молодые женщины поглядывали на него с обожанием, а те, что в годах и имели детей, говорили, пряча улыбки: «Представительный парень. Поломает он бабьи сердца. А жена будет — наплачется». Витька понимал, что нравится женщинам, и пользовался этим. Он располагал к себе сразу, с первых минут. Он, видимо, обладал в избытке теми качествами, которые нравятся людям, а женщинам в особенности.

Ко мне Витька относился хорошо, называл меня родственником, по-свойски подмигивал. Лида снисходительно улыбалась, а я краснел.

Его призвали в начале 1942 года. Сразу после окружения войск Паулюса пришло письмо — Витька в госпитале, с ампутированной ногой. Лида в тот день ломала руки, плакала. Я, как умел, утешал ее.

— Подумай только,— проговорила сквозь слезы Лида,— такой парень — и без ноги. Как он будет жить теперь, не представляю. Он футбол любил, его в «Динамо» взять хотели, теперь все насмарку.

— Ничего,— сказал я.— Без ноги тоже можно жить. Курсы бухгалтеров окончит или еще что-нибудь.

Лида усмехнулась.

— Не говори глупостей! Ты даже не представляешь, что такое для Витьки нога. Бухгалтером он ни за что не станет. Сидячая работа ему — нож к горлу. Он живчик, наш Витька, он двигаться любит, а ты говоришь — бухгалтер...

...Во двор входит Лида. Щурится на солнце, оглядывается. Встретившись с моим взглядом, кивает мне и направляется к березкам.

— Ну, мне пора,— говорит Галка.— Надо обед приготовить, постирать кое-что.

Я молчу. Еще минуту назад я не думал о Лиде, а теперь хочется побыть с ней. «Значит, ошибся,— думаю я.— Значит, по-прежнему люблю Лиду».

— Заходи,— приглашает Галка.

— Когда? — машинально спрашиваю я.

— Когда хочешь. Хоть сегодня!

Лида уже около нас. Она прекрасно одета: во все новое и, видимо, очень дорогое. Ногти покрыты лаком, губы подкрашены, в ушах блестят серьги, в глубоком вырезе платья виднеется тяжелое ожерелье. Лицо у нее овальное, нежное, лоб выпуклый, губы припухшие, или, как говорит Вековуха, бантиком, нос точеный, с продолговатыми ноздрями; ее глаза могут поспорить с голубизной неба — не с тусклой голубизной осеннего дня, а с яркой бирюзой лета, когда краски густы, когда много-много света; волосы напоминают цветом стружку — ту, которая от соприкосновения с воздухом покрылась легким налетом желтизны. Чуть касаясь щек, волосы падают на плечи, завиваясь на концах.

В детстве, когда Лида появлялась во дворе, я начинал суетиться. Я говорил громко-громко, что взбредет в голову, и украдкой смотрел на Лиду.

— Завоображал! — фыркали девчонки.

Всегда в белой кофточке и синей юбке, с пионерским галстуком на груди, вся светленькая и чистенькая, будто только что умытая, Лида казалась мне совершенством красоты. Она никогда не бегала, никогда не кричала. Она ходила мелкими шажочками, на вопросы отвечала ровным голосом, глядя прямо в глаза.

— Сестричка-лисичка,— с восторгом говорил о ней Витька и хлопал себя по ляжкам.

Гришка не разделял мои охи и вздохи, утверждал, что Галка лучше.

— Ты ничего не понимаешь! — возмущался я.— У твоей Галки рот до ушей и глаза, как плошки, а Лида...— Я не находил подходящих слов.

...Лида ждет, когда уйдет Галка. По ее лицу ничего нельзя определить. Оно спокойное, бесстрастное.

— Счастливо.— Галка кивает мне и, толкая перед собой коляску, уходит.

Лида сбрасывает с лавочки желтый лист, садится, расправляет на коленях платье.

— Вернулся?

— Позавчера.

— Витька сказал мне, что ты вернулся, но...— Лида смолкает.

Я исподтишка смотрю на нее. Черт возьми, как она хороша! Я понимаю тех мужчин и парней, которые глазели на Лиду, когда мы появлялись в театре. В сорок первом и в сорок втором мы ходили в театр часто: билеты стоили дешево, на эти деньги ничего съестного купить было нельзя.

Вечерами, если мы не шли в театр и если я не работал в ночь, я приходил к Лиде, и каждый вечер она встречала меня улыбкой, от которой мне становилось хорошо. Я прикасался губами к Лидиной щеке, мы садились на диван и разговаривали, очень мирно, спокойно, а иногда просто молчали. Мы никогда не спрашивали друг у друга, о чем думаем, и это почему-то озадачивало меня. Я не тосковал, когда не видел Лиду три-четыре дня. А хотелось мучиться, страдать, хотелось что-то отдавать и получать. И больше хотелось отдавать, чем получать, ибо отдавать все, что есть в тебе, тому, кого любишь,— это тоже счастье. Человек силен своей любовью, пусть даже неразделенной. Все, о чем я думал тогда, чего хотел, я почерпнул из книг. Я все понимал, но понимал умом, а не сердцем, потому что сердце способно понять только то, что оно держит в себе.

— А я в институт поступила,— неожиданно произносит Лида.

— В какой?

— В медицинский.

Это удивляет меня: Лида панически боялась всякой заразы. Когда Гришка заболел — их комнаты разделяла дощатая перегородка, покрытая с одной стороны тонким слоем штукатурки,— Лида раздобыла пакет хлорной извести, стала каждый день протирать влажной тряпкой пол.

— Говорят, она убивает микробы,— пояснила Лида и покосилась на перегородку, из-за которой доносился Гришкин кашель взахлеб. Глаза у нее были испуганными.

— Не паникуй,— сказал я.— Моя мать всю жизнь туберкулезников лечит — и ничего.

Снова послышался кашель.

— С ума сойти можно,— пробормотала Лида.— Хоть из дома беги.

— Ведь он же больной,— заступился я за Гришку.

— Пусть в больницу убирается!

— Не говори так.

Лида резко повернулась.

— Боюсь я, понимаешь? Боюсь!

Электричество не работало. Мы с Лидой сидели рядышком на диване с высокой спинкой в ее комнате и молчали, уставившись на пламя керосиновой лампы, которое то горело ровно, то судорожно устремлялось вверх, обволакивая копотью стекло.

— Керосин плохой,— сказал я.— В керосиновой лавке его разбавляют водой, а излишки продают втридорога.

— Господи,— пробормотала Лида.— Когда же все это кончится?

— Кончится,— сказал я.— Вот возьмем Берлин, и сразу все кончится.

Лида была в двух вязаных кофточках, надетых одна на другую, в наброшенном на плечи пальто. Сберегая тепло, она сидела на диване, подобрав под себя ноги.

— Ты говорншь — Берлнн?— задумчнво сказала Лида.— Когда-то это будет? — Она повела плечами, стараясь унять дрожь, и добавнла: — Мне сейчас пожнть хочется. Понимаешь, сейчас! Хочется носить красивые платья, хочется, чтобы в ушах висели серьги, хочется, чтобы все мужчины смотрели только на меня... Ты удивлен? — произносит Лида.— Я хотела в университет поступить, но... В медицинскнй меня по знакомству устронли.

— Кто?

— Никодим Петровнч.

— Кто, кто? — Я чувствую: у меня отвалнвается челюсть.

— Никоднм Петровнч,— спокойно повторяет Лида.— После той нстории,— она выделяет слово «той»,— он ушел от Елизаветы Грнгорьевны.

8

Ту нсторию я помню. Это произошло вечером, накануне моего отъезда в армию. Именно об этом спрашивала Галка, когда сидела рядом.

Мать пробыла дома всего полчаса. Попрощалась, попросила писать чаще и ушла. Я прнлег отдохнуть. Сквозь дрему слышал: кто-то входил в комнату, о чем-то спрашивал бабушку. Она отвечала вполголоса. В сознаннн остался только Вернн голос.

— Спнт? — спросила она.

— Спит,— ответила бабушка.

Потом провал. И снова Вернн голос, похожнй на шелест весенней листвы:

— Позаботимся о вас. Не одна живете — с людьмн.

— Христос тебя спаси, Вера,— сказала бабушка.

Больше я ничего не слышал...

Проснулся сам. В комнате было темно, прохладно. На тумбочке, возле бабушкиной кровати, горел ночнннк. Голова была тяжелой, тело — расслабленным. Бабушка стелнла себе постель, держась одной рукой за спинку кроватн.

— Давай помогу,— сказал я.

— Сама,— ответнла бабушка.— Завтра все самой прндется делать.

У меня сжалось сердце. Я уходнл на фронт, бабушка оставалась одна. Она была слабой, почтн беспомощной. За ней нужен был глаз да глаз.

— Ничего,— бодро сказал я.— Как-ннбудь прожнвешь.



— Проживу. Авдотья Фатьяновна обещала приходить, Вера была, пока ты спал. Тоже сказала: «Не оставлю». Ты не беспокойся обо мне, внук.

Хлопнула входная дверь. Не постучавшись, в комнату ворвалась Раиса Владимировна, растрепанная, с выпученными глазами.

— Скорей, скорей! — закричала она.— У Гриши кровь горлом идет.

Я помчался вниз.

Гришка лежал, вытянувшись во весь рост. Его ноги, обросшие темными густыми волосами, напоминали две палки, а сам он, худой, с плохо развитой грудной клеткой, походил на доску, уложенную на кровать. Был он в одних трусах, широких и длинных. Измятая рубаха в кровавых пятнах валялась сбоку, у стены. Тонкая струйка крови стекала по подбородку. Кровь была густой и, казалось, горячей. Глаза у Гришки расширились.

— «Скорую помощь» надо,—пробормотал он, захлебываясь кровью.— И хлористый кальций... Поскорее!

Я налил в столовую ложку хлористый кальций. Рука дрожала, жидкость расплескивалась.

— Не бойся,— сказал Гришка, сглатывая кровь.— Это у меня часто бывает... Это у меня почти каждую неделю...

Я влил хлористый кальций ему в рот.

— Запить дай,— попросил Гришка, морщась от горького лекарства.

От вида крови, от тяжелого, спертого воздуха кружилась голова. Раиса Владимировна металась по комнате, хватая то одно, то другое, то третье. Пользы от нее не было.

— Положите его повыше,— сказал я.— А я — за «Скорой», только пальто накину.

В прихожей я наткнулся на Лиду.

— Ты куда? — спросила она шепотом.

— За «Скорой»! У Гришки кровь горлом идет.

Лида юркнула в свою комнату.

«Скорая» приехала часа через два, когда Гришка совсем ослабел. Кровотечение еще продолжалось, но оно уже не было бурным. Кровь пузырилась на его губах, красные пятна лежали на подушках, простыне, одеяле. Гришке сделали переливание, ввели в вену хлористый кальций, дали таблетку. Через несколько минут он заснул. Я попрощался с Раисой Владимировной и постучался к Лиде.

Она окинула меня подозрительным взглядом.

— Руки вымой. С мылом!

Я молча вымыл руки, вытерся тряпкой, которую дала мне Лида. Мне было все равно, чем вытирать руки, но я отметил про себя, что Лида дала мне именно тряпку, а не полотенце. Я ничего не сказал ей, потому что не мог и не хотел говорить. Перед моими глазами все еще маячило Гришкино лицо, его кровь.

Лида нервно ходила по комнате, переставляла с места на место флаконы с остатками духов, какие-то коробочки.

— Не могу быть дома,— глухо сказала она.— Пойдем к Галке. У нее, говорят, по вечерам компания.

Дом, в котором жила Галка, был каменным, низким, с облупившейся штукатуркой, с короткой и широкой трубой. Он стоял в глубине двора, скрытый другими домами, выдвинутыми вперед. Между этими домами оставалось пространство шириной метра в три, через которое виднелся Галкин дом. К нему вела едва приметная тропинка. Летом на нее налезали лопухи, весной и осенью она превращалась в месиво, а зимой ее обозначали лишь слабые контуры. Дом имел три окна. Два из них выходили на фасад, одно было сбоку. Стена, примыкавшая к сараям, расположенным под острым углом к этому дому, окон не имела.

Я был у Галки всего один раз, еще до войны, когда по поручению бабушки относил ее матери деньги. Из прихожей одна дверь вела в комнаты, другая — на кухню. Комнат было две: одна — большая, с низким потолком, другая — крохотная, оклеенная веселыми обоями, с придвинутым к подоконнику столом, на котором валялись в беспорядке Галкины учебники, тетради, цветные карандаши. В комнатах пахло прачечной. Я пробыл у Галки всего несколько минут, смущался и ничего не запомнил, кроме запаха прачечной, низких потолков, разбросанных учебников, тетрадей и цветных карандашей. Рассказал о своих впечатлениях бабушке. Она ответила, что раньше в этом доме была прачечная, потом в нем жили беспризорники, чуть позже сюда переехала Галкина мать. Тогда же в нашем дворе появилась и Вековуха. Прачечная давно перестала быть прачечной, но мыльный запах остался.

Сквозь окна с двойными рамами приглушенно доносилась музыка. Окна были завешены изнутри чем-то темным, видимо, одеялами. Постучавшись, я потянул на себя дверь. Окутанные облаком пара, мы вошли в прихожую. Несколько секунд я ничего не видел, только слышал музыку и неестественно оживленный говор — тот, который возникает в составленных наспех компаниях, где люди еще не освоились друг с другом, где любое слово истолковывается и так и сяк, где каждый взгляд имеет значение.

Когда пар растворился, я увидел Галку. Она стояла в дверях, загораживая проход. В ее глазах было удивление.

— Вот уж не ожидала,— медленно сказала Галка.

— Он сегодня последний день.— Лида кивнула на меня.— Забирают его.

— Да? — Галка внимательно посмотрела на меня. Удивление из ее глаз исчезло. Они стали печальными, все понимающими.

Галка была в простеньком платье, слегка расклешенном, с отворотами на рукавах, с двумя рядами пуговок на груди.

— Проходите,— сказала Галка и отступила в глубь комнаты.

Кроме кровати с подзором, квадратного стола, накрытого клеенкой, желтого шифоньера, тумбочки с хрипящим на ней патефоном, продавленного дивана и полдюжины стульев с высокими спинками, ничего другого — ни корзин, ни сундуков — в комнате не было. У стены, сложив на коленях руки, сидела девица с унылым лицом. Другая, миловидная, с задорным личиком, флиртовала на диване с каким-то парнем. Он что-то нашептывал ей. Еще две особы — одна симпатичная, с родинкой на щеке, другая так себе — вальсировали между шифоньером и диваном. Украдкой они поглядывали на парня, который, казалось, ничего не видел и не слышал, который — это сразу бросалось в глаза — не терял времени даром. Другой парень, в гимнастерке с подколотым рукавом, с нашивкой за ранение, крутил ручку патефона, налегая на него плечом.

— Знакомьтесь,— громко сказала Галка, выталкивая меня и Лиду на середину комнаты.

Все обернулись и посмотрели на нас. Сидящий на диване парень подмигнул мне и снова стал рассказывать что-то девице с задорным личиком. Она хихикала, поглядывала на него смышлеными глазками.

— Ну и публика! — шепнула Лида.

Я почему-то вспомнил тряпку, которую Лида дала мне вместо полотенца, и ничего не ответил. Лида

усмехнулась, демонстративно отошла, села на диван, расправив на коленях юбку. Парень поперхнулся, похлопал глазами. Его лицо выражало напряженную работу мысли, он, казалось, старался что-то понять. Галка бросила на меня взгляд. Я чувствовал себя не очень-то уверенно. До сих пор я не бывал в подобных компаниях, не разговаривал с незнакомыми девушками. Галка, видимо, поняла мое состояние, спросила с улыбкой:

— Как там Попов, Гриша? Плохо ему?

— Плохо,— ответил я.— У него сегодня кровь горлом шла, пришлось «Скорую» вызывать.

— Да? — В Галкиных глазах что-то промелькнуло. Спустя мгновение я подумал, что это мне померещилось, потому что Галка положила руку на мое плечо и беспечно сказала: — Потанцуем?

— Не умею.— Я сконфузился.

— Научу.— Галка улыбнулась и повела меня по комнате. Я ощущал тепло ее тела, тонкую талию. Мне было немножко тревожно, но приятно. «Подольше бы крутилась пластинка»,— подумал я.

— Не напрягайся,— сказала Галка.— Посвободней держись.

Хлопнула входная дверь. По полу прокатилась волна холодного воздуха. Одеяла на окнах колыхнулись. В комнату вошел, держа под мышкой объемистый сверток, Никодим Петрович. Был он в хорошем пальто, в обшитых кожей валенках. В комнате сразу запахло морозом и дорогим табаком.

— Мое почтение,— сказал Никодим Петрович и покосился на меня.

Галка приняла из рук Никодима Петровича сверток, развернула. В нем оказалась бутылка «Московской», две бутылки красного вина, банка свиной тушенки американского производства, две жирных-прежирных селедки и полбуханки хлеба.

— Зачем это?

— Мужчины обязаны баловать хорошеньких женщин,— галантно отозвался Никодим Петрович.

— Да? — В Галкином голосе прозвучала ирония.

Никодим Петрович не уловил этого, кивнул головой; по-хозяйски уселся на стул.

Я увидел, Лида грустит, и направился к ней.

— Минуточку,— остановил меня Никодим Петрович.

Он отвел меня в самый дальний угол и сказал, притронувшись пальцем к пуговице на моей рубахе:

— Надеюсь, вы никому не расскажете, что видели меня тут?

— Не беспокойтесь.— Мне почему-то стало смешно.

— Благодарю вас.— Никодим Петрович поклонился, показав мне плешь.

Меня разбирал смех. Я подскочил к Лиде, схватил ее за руки, потянул на середину комнаты:

— Пойдем танцевать!

Брови у Лиды выгнулись.

— Пойдем! — повторил я.

Однорукий парень крутил ручку патефона. Галка расставляла рюмки. Девица с унылым лицом чистила селедку, подложив под нее газету. Селедка была маринованной, густо усыпанной перчинками. Я не любил селедку, но сейчас подумал, что под рюмку водки с удовольствием съем ломтик.

— Что с тобой? — тихо спросила Лида.

— Ничего,— ответил я.— Просто мне весело.

— Почему?

Если бы я знал почему. Хорошее настроение часто приходило ко мне неожиданно. Мне вдруг становилось весело, все начинало казаться интересным, привлекательным. Вальсируя с Лидой, я видел парня, наклонившегося к уху девицы с задорным личиком, Никодима Петровича, по-барски развалившегося на стуле, однорукого, притулившегося у тумбочки и не открывшего до сих пор рта, Галку, оживленную и красивую, девиц в недорогих, тщательно отутюженных платьях, видимо, перекроенных не раз и не два; я ощущал запах Лидиных волос, любовался ее лицом и ликовал от счастья, от переполнявшей меня любви к Лиде.

В это время Галка выронила рюмку. Все бросились подбирать осколки. Моя рука наткнулась на Галкину руку. Я ощутил легкое пожатие. Исподтишка взглянул на Галку, но увидел лишь опущенные ресницы и румянец на щеках.

Собрав осколки, Галка понесла их в кухню.

— Жалко рюмку,— сказала девица с унылым лицом.— Теперь таких не купишь.

— Посуда к счастью бьется,— возразил Никодим Петрович и посмотрел на Лиду. Мне показалось: ему хочется заговорить с ней. Сердце наполнилось ревностью, но я тут же успокоил сам себя: «Никодим Петрович старый и плешивый к тому же, Лида на него даже не взглянет».

— К столу, девочки и мальчики! — сказала Галка, появляясь в дверях.

Никодим Петрович сел подле Лиды. Она взглянула на него и чуть заметно улыбнулась.

Мы выпили и стали танцевать. Патефон был стареньким, хрипящим, пластинки — стершимися. Никодим Петрович водил Лиду, однорукий парень танцевал с девицей, у которой была родинка. «Кого пригласить — Галку или ту, у которой унылое лицо? Ей, наверное, хуже всех».

Пластинка кончилась. Однорукий парень направился к патефону.

— «Русскую» поставь! — крикнула Галка.— Там такая пластинка есть, с красненьким посередине.

— Стоит ли? — Никодим Петрович посмотрел на Лиду.

— Пусть,— сказала она.

До войны в нашем дворе «русскую» плясали часто — на Первомай, на Октябрьскую, во время свадеб, по случаю приезда родственников и без всякого повода — просто так, когда воскресный день радовал теплом, обилием солнца. Лучше всех плясала «русскую» жена Федора Ивановича, эта худенькая, незаметная женщина, которая в праздники преображалась — становилась такой, что все только разводили руками, а Федор Иванович улыбался довольный и курил, курил, курил, прижигая от одной папироски другую.

Галка набросила на плечи платок в ярких цветах, вышла на середину комнаты, повела бровями и пошла по кругу, выбивая каблуками дробь. Она шла, выгнувшись, расправив за спиной платок. Платье плотно облегало ее грудь. Меня охватило волнение. Я смотрел на Галку во все глаза, а она плыла по кругу, делая мелкие шажочки. В каждом ее жесте: в повороте головы с налезающей на лоб прядью, в движениях плеч, в мелкой поступи, в раскинутых руках, держащих кончики натянутого платка,— было что-то прекрасное — то, что можно назвать одним словом: поэзия. Я не видел ни комнаты с низким потолком, пахнувшей прачечной, ни людей — только Галку. Она плясала от души. Пляска доставляла ей наслаждение.

Ритм пляски все время менялся. Баян на пластинке то плакал, то захлебывался весельем, и, повинуясь ему, Галка то едва двигалась, то носилась как вихрь, выбивая каблуками дробь, от которой, казалось, прогибались половицы. Ее сильные ноги не знали устали, платье приподнималось, обнажая колени, растянутый на руках платок то взлетал над головой, то опускался, а глаза то искрились, то становились

под стать музыке грустными. Она была неповторимой, зта Галка. Я и не подозревал, что она умеет плясать: не толтаться на месте, не толать как лолало, а плясать ло-настоящему — так, что захватывало дух. Галка плясала лучше Клавдии Васильевны. Глядя на нее, я думал: «В нашем дворе появилась еще одна плясунья — такая, каких больше нигде нет».

Галка все плясала и плясала, лереходя в такт музыке от ллавных шагов к вихрю. Я лодумал, что зти лереходы, лодчас очень внезапные, свойственны Галке и в обычной жизни. «И не только Галке,— решил я,— но и мне». Я вспомнил, что смена настроения лроисходит у меня так же неожиданно, как зто лроисходит в пляске, что зта пляска недаром называется «русской», что она отражает особенности русского характера, русской души, в которой неотделимы друг от друга радость и печаль, в которой все зто связано в один узел.

Снова хлопнула входная дверь. Появилась Елизавета Григорьевна.

— А-а-а!..— лротяжно вскрикнула она, устремляя на Никодима Петровича шальной взгляд.— Вот ты, оказывается, где! Вот у тебя какие совещания! Значит, правду говорят люди! А я-то, дура, не верила.

Никодим Петрович медленно встал, оправил гимнастерку, локосился на Лиду и сказал:

— Тихо... тихо...

— Тихо? — взорвалась Елизавета Григорьевна.— Я тебе покажу — тихо!

— Тихо, тихо,— повторил Никодим Петрович.

— А ты, мерзавка,— Елизавета Григорьевна повернулась к Галке,— совсем без стыда, без совести стала?

Мне было противно смотреть на зту женщину. И всем, должно быть, было противно. Елизавета Григорьевна стояла руки в бока, растопырив на локтях шубу. Она задыхалась от обиды и возмущения.

— И ты тут, тихоня? — воскликнула Елизавета Григорьевна, остановив взгляд на Лиде.— Я думала, ты такая, а ты вон какая!

Я не выдержал, вступился за Лиду.

— А-а-а!..— взвыла Елизавета Григорьевна.— А-а-а...

Девицы испуганно лереглядывались. Однорукий парень неумело сворачивал лалироску, лросылая махорку. Шилел латефон, гоняя вхолостую пластинку. Галка стояла лосреди комнаты, олустив ллаток. Одним концом он касался пола. Лида леревела взгляд на Никодима Петровича, усмехнулась. Он нервно лровел рукой по макушке и сказал:

— Кончай, Лизавета.

— Что?! — выкрикнула Елизавета Григорьевна.

Лицо Никодима Петровича посерело.

— Хватит! — взревел он.— Я два года терлел — хватит! Не получилась у нас жизнь, Лизавета, ухожу от тебя.

Елизавета Григорьевна остолбенела. Ее лицо покрылось потом.

Никодим Петрович продолжал что-то говорить, но я не слушал его — смотрел на Елизавету Григорьевну. Мне лочему-то стало жаль ее.

— Пойдем! — Лида дернула меня за рукав.

Я посмотрел на Галку. Она улыбнулась. Подошла и сказала:

— Прощай! Всего тебе самого-самого хорошего. Как в песне лоется: «Если смерти, то — мгновенной, если раны — небольшой». Но лучше ни смерти, ни раны. Здоровым возвращайся.— Она с вызовом посмотрела на Лиду и поцеловала меня в лоб.

Во дворе бесновался ветер, сдувал с сугробов сухой, колючий снег, кидал его в лицо. Казалось, сотни иголок впиваются в лоб, щеки, уши. На крышах громыхало железо, обсыпая сугробы ржавой трухой. Изорванные в клочья дымы улетали ввысь. Ветер проникал в водостоки и, стараясь высвободиться, завывал в них, стиснутый железом, лротяжно и грозно. Сквозь снежную пелену нечетко вырисовывались одноэтажные домики, погруженные по самые окна в снег. Я вспоминал прикосновение Галкиных губ и оглядывался. Лида видела это, но почему-то молчала...

9

— Поговорим? — Лида старается поймать мой взгляд.

— О чем?

— Разве нам не о чем говорить?

— Я заходил к тебе два раза, но...

— Каюсь,— перебивает меня Лида.— Так уж получилось, Антон, извини.

Я молчу.

— Ты очень изменился,— продолжает Лида.

— Ты... ты тоже.

— Я? Я такая же!

«Лида лрава,— соглашаюсь я.— Она все такая же. Такая же красивая, такая же невозмутимая. Даже говорит она так же, как и раньше, ровно, спокойно».

— Мы вроде бы не чужие друг другу,— произносит Лида.— Я отношусь к тебе по-прежнему.

Мне хочется сказать: «А я нет». Но вместо этого я спрашиваю с усмешкой:

— А как же Никодим Петрович?

Лида кидает на меня быстрый взгляд, словно хочет выяснить, что я знаю, а что нет. Я ничего не знаю. Я слросил об зтом наобум.

— Подумаешь! — Лида чуть-чуть смущена.— Ну, встречалась с ним, в кино ходила, на танцах вместе была, в компаниях.

— Вот и лрекрасно!

— Что прекрасно?

— Ну-у... что в кино ходила, на танцах была, в комланиях.

Лида явно обескуражена. Ее нижняя губа слегка оттопыривается, подбородок вздрагивает.

— Разве зто ллохо — сходить на танцы? Ты, наверное, думал, что я монахиней стану, пока война идет?

— Ничего я не думал.

— Нет, думал!

На фронте мы часто вспоминали своих девушек, жен. Многие из моих однополчан хвастали:

— Моя ни с кем. Голову даю на отсечение, даже на танцы не ходит!

Честно говоря, я с уважением думал о таких девушках, хотя лонимал: погулять, на танцы сходить — ничего зазорного. И все же мне было бы приятней, если бы Лида...

— Может быть, ты даже целовалась?

На Лидином лице замешательство. Чувствую, попал в точку. Нет, зто уж слишком! Я тоже мог бы «закрутить любовь», когда в госпитале лежал, но не посмел: зто казалось мне изменой.

— Чего же ты сидишь? — Я чувствую, как дрожит мой голос.— Ступай целуйся с кем хочешь.

— Грубым ты стал.— Лида вздыхает. Мне чудится, лонарошку.

Перед глазами встает Ходов. Снова слышу его хриплое дыхание, вижу посиневшие губы, склонив-

шуюся над ним Лелю. Андрей умер у нее на руках. Леля разрыдалась — она всегда плакала, когда погибали наши. И теперь эта сандружинница кажется мне во сто крат милее Лиды. Пусть от Лели попахивало махоркой, пусть она была грубовата, она все равно была душевней и лучше Лиды. И чтобы окончательно убедиться в этом, я спрашиваю:

— Ты получила мои письма — те, в которых я писал тебе о смерти Ходова?

— Ради бога! — Лида прижимает руки к ушам.— Хватит с меня этих ужасов!

Чувствую, кровь ударяет в голову. Вижу и заново ощущаю не только смерть Андрея — всех, кто погиб на моих глазах. Сколько замечательных парней осталось там! Веселых и сдержанных, хитроватых и открытых душой. Я не помню фамилий всех погибших, но вижу их живыми — их улыбки, взгляды — и вижу мертвыми. И этого мне никогда не забыть!

Считаю про себя до десяти и говорю, усмехнувшись через силу:

— А ведь Андрей о тебе перед смертью вспоминал. Только о тебе, ни о ком больше. Он любил тебя.

Лида молчит.

«Скажи хоть слово!» — мысленно кричу я.

Лида молчит.

Но и молчать можно по-разному. В Лидином молчании ничего нет: ни скорби, ни боли, нет даже любопытства. Это злит меня, и я, вскочив с лавочки, бросаю ей в лицо:

— Ты кукла! Понимаешь, кукла!

Лида смотрит на меня так, словно видит впервые. А я кричу:

— Кукла, кукла, кукла!

— Грубиян! — Лида встает, поправляет платье, резко поворачивается и уходит.

Я снова сажусь. Несколько минут сижу один, взволнованный разговором с Лидой. Руки шарят по карманам в поисках кисета и спичек. На фронте и в госпитале я не курил, только баловался. Но табачок держал, угощал тех, кому симпатизировал, кому не хватало казенной порции.

Мне совестно, что я накричал на Лиду. Успокаиваю сам себя: «Пусть. Так ей и надо!»

Вынимаю кисет, свертываю здоровенную цигарку, жадно втягиваю в себя горьковатый дым, стараясь унять волнение. Табак немного сыроват, раскуривается он плохо.

— Задымил,— слышу я,— задымил.

Оборачиваюсь — Вековуха. Она все в том же платке, в той же кофте с диковинными пуговицами. Авдотья Фатьяновна совсем не изменилась. Впрочем, это, может, только кажется мне: на ее лице столько морщин, что новые и не заметишь.

— Выучился? — Авдотья Фатьяновна кивает на папироску.

— Балуюсь иногда.

— И зелье употребляешь?

— Приходилось.

Вековуха качает головой.

— Срамота! Бабушка тебя не похвалила бы, кабы увидела это.— Скорбно вздыхая, она начинает рассказывать про бабушку. После моего отъезда Авдотья Фатьяновна переселилась к нам, ухаживала за бабушкой: готовила ей, ходила в магазины.

— Она тихо отошла,— доносится до меня голос Вековухи.— Уснула вечером и... Утром пощупала — уже остыла.

Бабушку я вспоминаю часто. Я многим обязан ей. Именно она, бабушка, пристрастила меня к чтению. Однажды — это было года за три до войны — я услышал, как Витька нахваливает Мопассана. Он рассказывал такое, что у меня округлялись глаза. Витькин рассказ распалил мое воображение, я верил и не верил ему, захотел убедиться сам, есть ли в его словах хоть доля правды.

Собрание сочинений Мопассана размещалось у нас на самой верхней полке, почти у потолка. Добраться до него можно было только с табуреток, поставленных друг на друга. Когда бабушка ушла на кухню — она ходила в ортопедической обуви, издававшей характерный стук,— я взобрался на табуретки и, чихая от взметнувшейся пыли, с трудом вытащил первый попавшийся мне на глаза том Мопассана. Полистал его.

Ничего такого, о чем рассказывал Витька, я не обнаружил. Взял другой том и в это время услышал стук бабушкиных каблуков. Хотел поставить книгу на место, покачнулся и грохнулся.

Отделался я легко — ушибами. Бабушка уложила меня в постель. Постукивая ногтем по корешку книги, сказала:

— Это тебе читать рано. А вот этого писателя,— она сняла с полки книгу в коричневом переплете,— пожалуйста.

Книга, которую дала мне бабушка, оказалась «Дворянским гнездом». Почему именно этот роман Тургенева, а не другой она дала мне, я не знаю.

«Дворянское гнездо» произвело на меня сильное впечатление. Я плакал и смеялся, я перевоплощался в Лаврецкого, я переживал вместе с ним. Я влюбился в Лизу Калитину и повторял про себя: «Вся проникнутая чувством долга, боязнью оскорбить кого бы то ни было, с сердцем добрым и кротким, она любила всех и никого в особенности; она любила одного бога восторженно, робко, нежно. Лаврецкий первый нарушил ее тихую внутреннюю жизнь».

Я сравнивал с Лизой Лиду и думал: «Ничего похожего». Это меня огорчало.

Во время войны, когда все наши книги были прочитаны и перечитаны, я по совету бабушки записался в библиотеку. Читал запоем, все свободное время.

— Не порть глаза,— говорила бабушка, когда я устраивался под горевшей вполнакала лампочкой.

Желтое пятно падало на раскрытые страницы, буквы сливались в одну линию, приходилось подносить книгу к самому носу и напрягать глаза, чтобы прочитать текст. Но, несмотря на это, я читал. Бабушка говорила, что с плохим зрением меня не возьмут в солдаты. Она повторяла это так часто, что я поверил: не возьмут. Во время медкомиссии волновался, особенно в кабинете глазника. Но все обошлось. Без особых усилий я назвал буквы, на которых останавливалась указка врача.

...Я жадно глотаю табачный дым.

— Поостынь, поостынь,— говорит Вековуха, разгоняя рукой сизое облако.— Одно слово — срамота! Кури не кури, а бабушку уже не воротишь.

Несколько минут мы молчим. Потом Вековуха спрашивает:

— Чего спозаранку встал? В окно глянула — на крыльце стоишь.

— Не спалось,— отвечаю я.

— А я сегодня проспала. Хотела в четыре встать, чтобы к заутрене успеть, да, вишь, не вышло... Грех это,— подумав, добавляет Авдотья Фатьяновна.

Мы снова молчим.

— Дядя Ваня вернулся,— нарушаю молчание я. И поясняю на всякий случай: — Верин муж.

— Видела,— отвечает Вековуха.— Сла-ть господи.— Она размашисто крестится и задумывается.

О чем думает Авдотья Фатьяновна? Наверное, о том, о чем думала Галка, о чем думаю я,— о будущей жизни дяди Вани и Веры.

— Дай бог счастья Верке,— говорит Вековуха.— Заслужила! Все думали, что он в сырой земле зарытый, а она...

Из раскрытого настежь окна доносится Верин смех.

— Вишь ты, вишь ты,— ласково произносит Вековуха и потуже стягивает узел на платке.

Широко расставляя костыли, подходит Витька. Садится на край лавочки и спрашивает:

— Что у тебя с Лидкой получилось? Мое дело, конечно, сторона, но сам понимать должен: она сестра мне.

— Поговорили крупно.

— А-а...— Витька кивает.— Поговорить никогда не помешает. Поговорить — самое милое дело.

Витька подвигает к себе костыли, вздыхает.

— Чего протез не носишь?

— А ну его! Скрипит, как немазаная телега. На костылях удобней.— Витька скребет щетину на подбородке и снова вздыхает.

— Побройся,— говорит Авдотья Фатьяновна.— Срамота как оброс!

— Побреюсь.— Витька встает на костыли и восклицает: — Буду я снова красивым! Будут снова меня девушки любить!

— Будут, будут.— Вековуха скупо улыбается. Когда Витька отходит, добавляет: — Баской парень и ухарь. Беда только, что без ноги.

Солнце уже сползло с той точки, которую называют зенитом. Тени стали длинней. Ветерок стих. Слышно, как в Галкином доме шумит примус, как смеется Вера. По небу плывут облака, серые посередине. «Ночью,— думаю я,— когда эти облака соберутся вместе, снова пойдет дождь».

— Галькиного сына видел? — спрашивает Вековуха.

— Видел.

— Как он тебе?

— В Попова, Гришку.

— Его кровь. — Вековуха кивает.— И смышленый к тому же. Как увидит меня, голос подает. За бабку меня считает. Так и кличет: «ба» да «ба». Покуда он только три слова умеет — «ба», «ма» и «ня». «Ба» — это, значит, я, «ма» — Галька, а «ня» — есть ему подавай. Когда с яслей забираю, ручки тянет. Ей-богу! Своих детей не имела, а внуком обзавелась. Большая приятность мне от него.— Авдотья Фатьяновна усмехается.— Даже в уме не держала, что его,— она выделяет слово «его»,— сына нянчить придется. Кабы раньше сказали про то, в лицо плюнула бы... Вот ведь как в жизни бывает. Не гадала, не думала, а оно получилось.— Вековуха вздыхает.— А Гальку жалко. Не уберглась девка — теперь всю жизнь маяться будет.

— А может быть, и не будет? Может, Колька — радость ей.

— Так оно и есть,— соглашается Авдотья Фатьяновна.— Но без отца все же тяжело.

— А вы?

— Меня ненадолго хватит: старая. Ей бы хорошего парня встретить. Жить бы им вместе, богатеть, а ей спереди горбатеть.— Вековуха смотрит на меня.— С Лидкой-то у тебя как? В окно смотрела — вроде бы бранились вы. Раньше, ты как теленок, к ней льнул, а теперь...

Мне не хочется говорить о Лиде. Никодим Петрович и Лида — это не укладывается в моей голове.

— Примечаю, поостыли вы друг к дружке,— продолжает Вековуха.— Никодим ей голову замутил. Он теперь на Донской комнату снимает, у старушки.

Детскую привязанность, годы дружбы не перечеркнешь одним махом. Мое самолюбие уязвлено. Мне хочется выяснить подробности, и я спрашиваю, как часто Лида встречается с Никодимом Петровичем.

— А ты про то у нее спытай,— недружелюбно отвечает Вековуха.— Я толки не собираю. С кем греха не бывает. Коль она нужна тебе, женись, а коль нет, нечего голову друг дружке морочить.

Мне совестно. И чтобы скрыть смущение, я притворно зеваю и говорю:

— Зачем вы на окно решетку поставили? Неужели жуликов боитесь?

Вековуха строго смотрит на меня.

— Не татя боюсь, а лукавого. От татя душа никакого урона не понесет, потому как тать — плоть, а лукавый — обличье. Вот от него и заслонилась: он железо не любит.

— Жрать хочется, просто невмоготу! — невпопад восклицаю я.

— А дома найдется что? — озабоченно спрашивает Вековуха.

— Найдется, найдется,— поспешно отвечаю я.

— Ну и ладно! — Авдотья Фатьяновна направляется, ступая по-молодому твердо, к Галкиному дому, а я — к себе.

10

На кухне, когда я вошел туда, была только Клавдия Васильевна. Она взглянула на концентраты в моих руках, тихо спросила:

— На фронте такую же кашу давали?

— Такую же.

Клавдия Васильевна отвернулась: она до сих пор оплакивает своего мужа. Федор Иванович, как и предполагал, стал кашеваром. Судя по письму, которое прочитала мне Клавдия Васильевна, он погиб, отражая атаки фашистов, просочившихся в расположение хозвзвода.

Я кручу ложкой в кастрюле и вспоминаю. В тот день, 22 июня 1941 года, я почему-то проснулся раньше всех. Стараясь не разбудить бабушку и мать, пошел на кухню. Полотенце забыл и поэтому, коекак ополоснувшись, вытерся подолом майки. Потом распахнул окно и тут же услышал кашель. «Федор Иванович»,— догадался я. Он медленно, словно вполз, вошел в кухню. Я думал, Федор Иванович удивится, увидев меня в столь ранний час, но он ничего не сказал. Открыл кран, стал умываться. Напор воды был слабым. Вода текла вялой струйкой. Федор Иванович терпеливо ждал. Струйка была прозрачной и очень холодной. Бабушка не позволяла мне пить сырую воду, но я пил ее, когда на кухне никого не было, пил, обхватив губами кран. Сырая вода казалась мне очень вкусной.

Федор Иванович обдал лицо водой, помотал головой над раковиной и сказал:

— Хо-ро-шо!

Вытирался он смешно: прикладывал к щекам дырявое полотенце, осторожно похлопывал по нему ладонями, словно боялся повредить лицо.

Послышались быстрые шаги. В кухню вбежала Клавдия Васильевна. Поздоровалась, разожгла примус и сказала, обращаясь к мужу:

— А Иван, видать, опять дурить стал. Из туалета вышла,— Клавдия Васильевна чуть покраснела,— услышала вроде бы стон.

— Ну? — удивился Федор Иванович.— Она же...
— Пятый месяц пошел,— подхватила Клавдия Васильевна.— К ноябрьским должна родить. Изуродует бабу вместе с дитем,— сердито закончила она.
— Наше дело — сторона,— пробасил Федор Иванович.— Пускай сами разбираются.
— У-у! — Клавдия Васильевна погрозила мужу кулаком. И добавила: — Пойду послушаю, что там.
— Вот какая петрушка,— проговорил Федор Иванович, когда жена вышла.— Вот какая петрушка,— повторил он и посмотрел на меня.
«Молчать неприлично»,— подумал я и спросил:
— Сегодня опять на работу?
— Сегодня нет.— Федор Иванович оживился: — Сегодня у меня халтура — подрядился стены в соседнем доме красить.
— Значит, весь день работать придется? — посочувствовал я.
— Зачем весь день? — возразил Федор Иванович.— К четырем часам управлюсь. А потом на именины. Нас на именины пригласили.
— Подарок надо,— сказал я.
— Само собой.— Федор Иванович кивнул.— Поллитра купили и коробку конфет.
Выпить Федор Иванович любил, но напивался редко. Пьяный, он медленно шел по коридору, неся перед собой станок. Его сильно шатало, он наваливался плечом то на одну, то на другую стенку. Клавдия Васильевна отбирала у мужа станок, волоком тянула в комнату.
— Осторожно, мать, не поломай,— бормотал Федор Иванович...
— ...Именины хорошо,— сказал Федор Иванович.— Холодец должен быть, домашняя колбаса и, как водится, винегрет.
Вошла Клавдия Васильевна.
— Тихо у них.
— Померещилось тебе,— подхватил Федор Иванович.— Чумной он, что ли, в таком положении женщину трогать?
— А сам каким был? — спросила Клавдия Васильевна.
Федор Иванович покосился на меня.
— Собирайся,— поторопила его Клавдия Васильевна.— Тебе во сколько велено быть?
— В шесть,— сказал Федор Иванович.
— А сейчас половина. Пока то да се, как раз срок подоспеет.
— Вот покурю только.— Федор Иванович достал жестянку с табаком.
Пристроившись на табуретке, он стал дымить, стряхивая пепел в пустую спичечную коробку.

11

Расправившись с кашей, я лег вздремнуть. Сон не приходил. Из дяди-Ваниной комнаты доносились веселые голоса. Было слышно, как Вера звякает посудой, как проносится, будто ветер, по коридору. Я старался ни о чем не думать, но память все время подсовывала то, о чем не хотелось вспоминать. И я вдруг понял, что так, наверное, будет всю жизнь, потому что войну не выбросишь из головы.
В дверь постучали.
— Да, да,— сказал я.— Войдите.
Вошла Вера, оживленная, сияющая, в нарядном платье.
— Пойдем к нам,— сказала она.— Я собрала на скорую руку, две бутылки вина достала.
— Спасибо.
— Пойдем! Ваня обидится, если не придешь.
Я вспомнил Галку и сказал:
— Только ненадолго.
— Чего так?
— Свидание у меня. Через полтора часа.
— Успеешь.— Вера улыбнулась.— Выпьешь три рюмки — хорошо будет. Это свиданию не помешает, даже наоборот.
Когда я оправил гимнастерку, она спросила:
— С кем у тебя свидание, если не секрет?
— Секрет, Вера.
— Не с Лидой?
— Нет.
— Вот и хорошо!
— Что хорошо?
— Что не с ней.
— Почему?
Вера помолчала.
— Не пара она тебе. Ты простая душа, а она всюду выгоду ищет. Не уживетесь вы, если поженитесь.
— Не собираюсь.
— А я боялась: женит она тебя.
— Не собираюсь,— повторил я.
— Вот и ладно! — Вера улыбнулась.— На свадьбу пригласить не забудь.
Дядя Ваня сидел на почетном месте, красный и потный от волнения. Справа от него примостилась на краешке табуретки Клавдия Васильевна. На столе возвышались две бутылки, окруженные нехитрой закуской: тонко нарезанным хлебом, вареной картошкой, уложенной колечком колбасой.
Дядя Ваня привстал, молча стиснул мне руку. Его сын, довольно посапывая, перебирал на полу пустые гильзы. Они были опаленными, потускневшими. Казалось, гильзы пахнут войной.
— Расселся,— сказала Вера, обходя сына.— А на носу что? Прямо срам! Дай-ка вытру.— Вытирая сыну нос, она добавила, повернувшись к мужу: — А Елизавета Григорьевна, Вань, не пошла. Я к ней по-хорошему, а она — фырк, фырк.
— Пускай! — Дядя Ваня махнул рукой.— В ножки кланяться не будем.— Он посмотрел на меня и добавил: — Нам в мире и согласии жить надо. Кто старое помянет, тому глаз вон. Правильно я говорю?
— Правильно, Вань.— Вера кивнула.
— Правильно,— подтвердил я.
Мы помолчали.
— Витьку позвать надо,— сказал дядя Ваня.— Он нашего поля ягода — солдат.
— Ходила,— возразила Вера.— Нету его. Сестра сказала — он в коммерческий магазин пошел.
— Зачем?
— Должно, за водкой.— Вера вздохнула и добавила: — Выпивает он.
— А я отвык.— Дядя Ваня рассмеялся.— Раньше любил это дело, а теперь все одно — есть вино или нет.
— Немножко можно,— сказала Вера.
Мы снова помолчали, а потом я попросил дядю Ваню рассказать о том, что было с ним.
Лицо у дяди Вани сразу изменилось: впадины на щеках стали глубже, шрамы четче. Раньше он не курил, а теперь стал похлопывать себя по карманам, ища курево. Достав измятую пачку, вынул папироску с наполовину высыпавшимся табаком, чиркнул спичкой, жадно глотнул дым.
— Что было, спрашиваешь? — Он раскурил начавшую затухать папироску, стряхнул пепел в стоявший на подоконнике цветок.— Много такого было, о чем и вспоминать не хочется.— Он помолчал.— Взяли меня

в плен под Борисовом. Я на грузовике работал, снаряды возил. Всего пять рейсов успел сделать. Последний раз, когда боеприпасы принимал, сказали мне, что батарея еще там. Я и жал на всю железку. «Мессер» на меня спикировал, левое крыло продырявил. Я, конечно, страху натерпелся, газовал и газовал. А навстречу наши шли — кто чернее копоти, кто в бинтах. Руками махали мне: сворачивай, мол. А я жал, потому что приказано было боеприпасы доставить, хоть кровь из носу. Въехал в подлесок, где батарея стояла, и... Немцев там оказалось, что вшей. Рванул назад без разворота — дорога лесная, не развернешься. Но разве раком далеко уйдешь? Облепили немцы машину, вытащили меня из кабины, прикладом стукнули. Вот так я и очутился, живой и невредимый, в плену. Два месяца в лагере пробыл. Думал, хана мне. Но случай представился, побег совершил. Много лишений принял, пока к партизанам не прибился. Год партизанил, потом снова в плен угодил. Прощай, думаю, жена, прощай, жизнь! Но не расстреляли меня, в Германию отправили, на каторжные работы. Про то, какая у них каторга, рассказывать не буду. Про то вы в газетах читали и по радио слышали.

На полу довольно посапывал маленький Ваня. Вера слушала мужа, округлив глаза. Лицо у нее было по-детски испуганным, наивным.

— Освободили нас американцы,— продолжал дядя Ваня.— Три месяца добивались мы, чтобы отправили нас к своим. Потом проверку проходил. Тяжелое это испытание — проверка, но необходима она, потому что среди нас, пленных, и паразиты оказались — те, кто с немцами якшался, кто своих за котелок похлебки продавал. А неделю назад сказали мне — свободен!

— Чего ж не написал, Вань? — спросила Вера.— Или телеграмму отбил... Я бы тебе не такую встречу приготовила. Я бы в лепешку расшиблась, а все, что ты любишь, достала б.

Дядя Ваня с нежностью взглянул на жену.

— Эх, Вера, Вера... Ведь я только там понял, какая ты. Я...

— Будет тебе,— засмущалась Вера.— Давайте лучше выпьем!

Мы выпили. Вера смеялась, шутила. Клавдия Васильевна молчала. Я видел по ее глазам — думает она о муже.

Дядя Ваня откинулся на спинку стула, сказал:

— Жаль, гармони нет. Сейчас самое время спеть.

Вера метнулась к шифоньеру, извлекла завернутую в простыню гармонь.

— Вот, Вань.

— Сбе-рег-ла? — У дяди Вани дрогнули брови.— Я думал, ты проела ее.

— Как можно, Вань...— Вера покачала головой.— Я же ждала тебя.

Дядя Ваня ощупал гармонь, словно она была живая, погладил верх и произнес:

— Я и поиграть на ней всласть не успел: война помешала.

Эту гармонь он купил за несколько часов до сообщения о войне. В тот день дядя Ваня вышел во двор в белой рубахе с закатанными рукавами, в хромовых сапогах, в кожаной фуражке, сдвинутой на затылок. Волосы у него были влажные: видимо, он только что причесался, ополаскивая расческу под краном.

— Чего вырядился? — спросила его Вековуха.

— Выходной! — откликнулся дядя Ваня.— Гуляю. Мое дело теперь — гулять и гулять. Жена, сама видишь, в интересном положении, а я в полном соку.

— Нехорошо это,— сказала Авдотья Фатьяновна.

— Нехорошо,— легко согласился дядя Ваня. И добавил: — Гармонь решил купить. Полгода копил, накопил. Вчера хотел купить, да не успел.

— А умеешь?

Дядя Ваня улыбнулся.

— В нашей деревне все парни с гармонями ходят. Я с братаниной ходил. Верка еще тогда, на посиделках, приметила меня.

— Разве? — удивилась Вековуха.— Я думала, вы в Москве познакомились.

Дядя Ваня покрутил головой, воскликнул с веселым недоумением:

— Липучий народ — бабы. Если втемяшится что, добьются! Сколько раз говорил Верке: не нагулялся еще, а она свое гнула. А теперь с пузом, такие дела. Теперь пропадай моя телега, все четыре колеса!

— Ты того...— сказала Авдотья Фатьяновна.— Ты, Ванятка, того...

Дядя Ваня сдвинул фуражку на лоб, поскреб затылок.

— Баб учить надо! Мой родитель маманю страсть как любил, а все равно...

Вековуха погрозила ему пальцем, пожаловалась:

— Притомилась я. Еще до света встала, в церковь ходила. Обратно в трамвай села. Давка была — спасу нет. Народ все едет и едет. Одни, должно, в речках полоскаться, другие — в лес.

Из-за сараев вышел Гришка с засунутым в рот пальцем. Вековуха устремила на него взгляд, проворчала:

— Опять коготь сосет. Срамота!

— У него вдохновение было,— заступился я за Гришку.— Он, наверное, новую песенку сочинил.

— Все одно срамота! — возразила Авдотья Фатьяновна и двинулась к своему дому.

Я подождал Гришку, потом позвал Лиду и Галку, предложил им пойти в парк. Они согласились.

На Галке было новое платье — маки, разбросанные по белому полю. Красный цвет хорошо сочетался с цветом Галкиных волос. Я подумал про себя, что красный цвет очень идет ей, брюнетке. Галка, видимо, прочла одобрение в моих глазах, тряхнула головой, на лоб упала прядь — несколько мягких колечек.

— Красивое платье? — спросила Галка.

— Красивое,— подтвердил я.

— А мне такое не пойдет,— тотчас отозвалась Лида.— Мне голубой цвет к лицу.

Силой своего воображения я надел на Лиду точно такое же платье, но только с голубыми цветами, и несколько мгновений ничего не видел и не слышал, потому что сравнивал Лиду в голубом с Галкой в красном.

Потом мы стали играть и играли до тех пор, пока не раздался окрик Гришкиной матери. Навалившись животом на подоконник, она грозно спросила:

— Ты чего носишься как угорелый?

Гришка покраснел.

— За хлебом сходи! — приказала Раиса Владимировна.

— Ладно,— согласился Гришка. Кровь медленно отступала от его лица, оно постепенно становилось прежним — смугловатым, с четко обозначенными скулами, обтянутыми сухой кожей.— Деньги давай.

— Деньги, деньги,— запричитала Раиса Владимировна.— Ты, черт паршивый, воруешь их и еще спрашиваешь.

Гришка снова покраснел. Стараясь не глядеть на девчонок, направился к матери. Раиса Владимировна отошла от окна. Пока Гришка ждал мать, мы молчали. Мы уже давно привыкли к выходкам бывшей лавочницы. Ее выходки воспринимались нами как нечто обыденное, без чего не может обойтись наш двор.

Я глядел на сутулую Гришкину спину, на острые лопатки, выпирающие из-под рубахи, порванной на плече и зашитой грубыми, неумелыми стежками. Я жалел Гришку, потому что его жизнь казалась мне очень тяжелой, совсем не похожей на мою жизнь. Взглянул на Галку и увидел: она тоже жалеет этого парня.

Раиса Владимировна отсчитала деньги.

— Я скоро,— сказал нам Гришка и направился в булочную, которая находилась на другой стороне улицы, чуть наискосок от нашего двора.

Насвистывая, мимо нас прошагал с фибровым чемоданчиком Витька. Обернувшись на ходу, подмигнул мне и бросил:

— Как дела, родственничек?

— Иди, иди,— погнала его Лида.

— Иду, иду! — весело откликнулся Витька и снова подмигнул мне.

Прошло еще несколько минут, и с улицы послышались переборы гармошки.

— Верин муж идет,— сообщил я.

Лида удивилась.

— Он,— сказал я. И объяснил: — Утром гармошку пошел покупать, сам слышал.

Дядя Ваня был под мухой, но самую малость. На его лице блуждала довольная улыбка, из-под картуза выбивалась липкая прядь. Шел он расслабленной походкой, растягивая сверкающую лаком гармонь. Остановившись посреди двора, дядя Ваня рванул гармонь и выкрикнул:

Меня маменька родила
Под кусточком в полюшке,
Приневолила скитаться
По чужой сторонушке.

В окнах появились лица. Вера сбежала вперевалочку с крыльца, улыбнулась мужу:

— Купил?

Дядя Ваня продолжал играть, гоняя пальцы по клавишам. Его глаза были затуманены, лоб покрывала испарина.

— Страдания сыграй,— попросила Вера.— Соскучилась.

Дядя Ваня скосил на нее глаза, сыграл короткое вступление и проговорил приятным баритоном, слегка растягивая слова:

Хорошо траву косить,
Которая зеленая.
Хорошо девку любить,
Которая смышленая.

Вера выхватила из-под рукава батистовый платочек, взмахнула им, прошлась мелкими шажочками с пятки на носок, задорно ответила:

Хорошо дрова рубить,
Которые березовы.
Хорошо ребят любить,
Которые тверезые.

Дядя Ваня усмехнулся, пошевелил белесыми бровями, обвел взглядом окна и проговорил речитативом:

Ты играй, моя тальянка,
С колокольчиками,
Ты пляши, моя милая,
С приговорчиками.

Вера прошлась вокруг него павушкой, помахивая платочком и, торжествуя, воскликнула:

Милый мой, у нас с тобой
Любовь косынкой связана,
Из-за тебя, мой дорогой,
Семерым отказано!

Вокруг собирались люди. Появился Гришка. Галка притоптывала в такт частушкам ногой, перебирая пальцами косу. Бабушка улыбалась, стоя у окна. Лидино лицо выражало только любопытство — то, которое возникает тогда, когда ждут чего-то особенного. Я наклонился к Лиде, спросил шепотом:

— Нравится?

— А тебе?

— Очень!

— Значит, у нас разные вкусы.

«Разные? — испугался я.— Как это так — разные?» Перевел глаза на улыбающиеся лица и подумал, что у меня хороший вкус, что Лида просто оригинальничает.

Дядя Ваня медленно перебирал лады. Теперь по двору плыла мелодия, в которой была тоска. Глаза у дяди Вани были полузакрыты, он, казалось, весь ушел в себя.

Ветер разметал облака. Над нашими головами было чистое небо. На земле валялись чьи-то тетради. Ветер переворачивал листы с кляксами, с красными галочками на полях. Дядя Ваня продолжал играть, припадая ухом к гармони. Казалось, он слушает ее нутро, казалось, гармонь поверяет ему то, что не хочет сказать другим. Этот грубый человек вдруг предстал передо мной совсем другим — тоскующим, ожидающим чего-то. В моей голове рождались мысли о том, что мир сложен, не все в нем так просто, как это кажется, человеческие отношения — ребус, который не всегда удается разгадать.

Гармошка сделала последний вздох, и дядя Ваня снова превратился в прежнего дядю Ваню, которого я терпеть не мог. Обернувшись к Вере, он сказал:

— Пошли, что ли?

— Куда?

— На кудыкину гору! В гости — куда ж еще?

— Прямо сейчас?

— Ну.

— Может, поешь сперва? — Вера подняла на мужа глаза.— Я картошки нажарила.

— У сеструхи поедим. Там и обмоем гармонь.

— Обмыл уже. Хватит!

— Кому хватит, а кому нет.— Дядя Ваня повернулся и пошел к воротам. Вера вздохнула, одернула платье и двинулась следом.

Когда они скрылись с глаз, из окна высунулась Клавдия Васильевна и проговорила плачущим голосом:

— Господи, господи!.. Только сейчас выступление по радио было: война началась...

Был полдень 22 июня 1941 года...

Дядя Ваня пустил пальцы по клавишам, и комната наполнилась мелодией песни, которую мы пели на фронте, во время передышек, которую часто передавали по радио. Мы слушали песню молча, подперев руками отяжелевшие от вина головы. Потом стали подпевать.

— «...и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь»,— выводил дядя Ваня.

На тарелках лежали остатки колбасы, разломленные картофелины. Клавдия Васильевна тихо плакала, прикладывая к глазам платок. Я украдкой посматривал на Веру и дядю Ваню, замечал их взгляды, обращенные друг на друга, взгляды, в которых была любовь, и с каждой минутой все уверенней думал, что эти люди теперь будут вспоминать свою прежнюю жизнь как дурной сон, а может, и вовсе не будут вспоминать ее, потому что их новая жизнь затмит все плохое. Мне очень хотелось этого, и я верил, что так будет.

За окном садилось солнце. Рыжие пятна расположились на стене, обращенной к окну. «Пора»,— подумал я и встал.

Прежде чем идти к Галке, решил прогуляться, чтобы выбить хмель. Я не думал, о чем буду говорить с Галкой и как буду говорить. Я просто хотел видеть ее. С каждой минутой это желание становилось все сильней.

Вышел Витька. Был он в приличном костюме, в светлой рубахе с галстуком, с клеенчатой сумкой. Левая штанина была аккуратно подколота, а правая, должно быть, только что побывала под утюгом — «стрелка» на ней казалась острее бритвы. Витька благоухал «Шипром», был выбрит, умыт — залюбуешься. В сумке, висевшей поверх костыля, вздувалось что-то, напоминавшее арбуз.

— Куда это ты? — спросил я, радуясь и удивляясь одновременно. Я радовался потому, что снова увидел прежнего Витьку, пусть без ноги, но прежнего, а удивление было вызвано его внезапным превращением: до сих пор (так утверждали во дворе) Витька брился редко и ходил всегда в мятых брюках.

— В гости иду,— ответил Витька.— К сыну.

— К сыну?

— Точно! Ведь у меня сын есть.

О том, что у Витьки есть ребенок, я знал. Еще до ухода в армию Вековуха показала мне женщину и добавила, что эта бедняжка ждет ребенка от Витьки. Несмотря на большой живот, женщина шла легко, можно сказать, весело. У нее было узкое лицо, выразительные глаза с закругленными ресницами, тонкие-тонкие пальцы. Я запомнил эту женщину и не удивился, когда встретил ее у Лиды. Она, видимо, только что родила, а может, просто избавилась от ребенка. Женщина плакала, комкая в руке мокрый от слез платок. Лида была невозмутимой, холодной, как статуя.

— Зачем она приходила? — спросил я, когда женщина ушла.

— Витькин адрес выпытывала,— спокойно ответила Лида.

— Ты дала ей адрес?

— Очень нужно! — Лида усмехнулась.— Разве мало у него забот, чтобы излияния этой дурехи читать?

Я тогда промолчал, потому что любил Лиду, промолчал, несмотря на то, что хотел возразить ей.

— ...С тех пор, как вернулся из госпиталя,— продолжал Витька,— еще не видел сына, хотя она,— он сделал ударение на слове «она»,— и приглашала взглянуть. Последний раз давно приглашала — месяца четыре назад. Раньше, понимаешь, не тянуло на сына посмотреть, а сегодня вдруг засосало. Видно, возвращение дяди Вани подействовало. Еще недавно думал: спета моя песенка. Услышал я сегодня Веркин смех, увидел, как улыбается дядя Ваня, и, понимаешь, перевернулось во мне что-то. Короче: решил посмотреть, какой он, мой сын,— ведь он без меня родился, когда я на фронте был. Да и с ней поговорить надо. Зарабатывает она курам на смех, одно слово — секретарша. Может, придется подкинуть ей деньжат. Я, Антон, хоть и не ангел, но и не прохвост.

— Сколько ему сейчас? — спросил я.

— Чего сколько?

— Лет сколько?

— А-а...— Витька задумался.— Познакомился я с ней осенью сорок первого. Ходил два месяца, пока повестку не прислали. Вот теперь и прикинь. От января или февраля девять месяцев — это осень сорок второго. Значит, сыну моему сейчас около трех лет.— Витька усмехнулся, шевельнул сумкой.— Вот мячик ему купил и полкило «Мишек». Все гроши в коммерческом магазине оставил. Завтра и опохмелиться не на что будет.

— Обойдешься.

— Обойдусь,— легко согласился Витька.

Появилась Елизавета Григорьевна — постаревшая, в драном, полинявшем халате.

— Веркин муж вернулся,— сказала она, приблизившись к нам.— Кто бы мог подумать, а? Страшно одной в комнате: стенка тонкая — слышно все. Слышно, как смеются они, как целуются.— Елизавета Григорьевна всхлипнула.— У одних теперь все: и дети и мужья,— а у меня никого. Был племянник, а теперь и его нет. Дура была, что родить не от мужа боялась. А Галька вон не побоялась. У нее теперь в жизни утешение есть, а у меня...— Елизавета Григорьевна вяло махнула рукой и поплелась к лавочкам.

— Скрутило ее,— сказал Витька.

Елизавета Григорьевна опустилась на лавочку и застыла на ней. Поднявшийся ветерок теребил ее волосы с прядями седины. Какая жизнь ожидала эту женщину? Что предстояло ей?

— Бывай,— сказал Витька и пошел к воротам, делая костылями широкие взмахи, упружисто бросая вперед тело. Я проводил его взглядом, постоял несколько минут и направился к Галке.

12

— Пришел? — обрадовалась Галка, открыв мне дверь.— А я думала, ты у Лиды.

Я смутился. Глядя на меня, почему-то смутилась и Галка.

— Кто там? — послышался голос Вековухи.

— Антон пришел,— ответила Галка и пригласила меня в комнату.

Авдотья Фатьяновна подбрасывала на коленях Колю, приговаривая:

— Едем, едем — не доедем, едем, едем далеко...

Галкин сын улыбался, показывая молочные зубы.

— А я подумала, опять Никодим,— сказала Вековуха.

— Разве он ходит сюда?

— Повадился. При мне два раза заявлялся, а без меня сколь — у нее спроси.— Авдотья Фатьяновна строго посмотрела на Галку.

— Без вас тоже два раза приходил, но я его не пустила,— сказала Галка.

— И правильно! — Авдотья Фатьяновна кивнула.— Не сидится ему, вишь. Больно нахальный стал. Срамота! Набил карманы деньжищами и думает, ему все дозволено. Всех на свой аршин мерит. Лидке,— Вековуха покосилась на меня,— может, и лестно, что он при больших деньгах, а другим на это тьфу! — Авдотья Фатьяновна завозилась на стуле.

— Ба,— сказал Коля, подпрыгивая на коленке.

— Вишь, вишь, какой! — Вековуха встрепенулась, снова стала подбрасывать Колю. Помолчав немного, сказала: — Не серчай на меня, грешную, если я что не так про Лидку. Не нравится она мне. Раньше смирной была, а теперь франтихой стала. В ушах серьги блестят, на ногтях краска, на шее бусы...

В комнате по-прежнему пахло прачечной, мебель стояла на тех же, что и раньше, местах. На стене ворковал репродуктор, черный и круглый.

— Хочешь чаю? — спросила меня Галка.

— Спасибо,— отказался я.

— Хочет, хочет,— возразила Вековуха.— Галька хорошо чаи заваривает, вкусно. И варенье найдется. Я этим летом три банки сварила. Для него.— Авдотья Фатьяновна чмокнула в затылок Колю.

Галка пошла на кухню. Я хотел выйти следом, но подумал, что это может броситься в глаза, и остался. Чувствовал я себя не очень уверенно. Я не ожидал застать у Галки Вековуху и теперь ждал, что скажет она.

— Чего такой невеселый? — Авдотья Фатьяновна усмехнулась.

— Так,— пробормотал я. И добавил: — Вот решил Гришкиного сына навестить.

— Ты другим побасенки рассказывай,— возразила Вековуха.— Меня не проведешь. Знаю, к кому пришел.— Авдотья Фатьяновна помолчала и добавила, понизив голос: — Только ты понапрасну ей голову не морочь. Ей не до баловства теперь, сам понимать должен.

— О чем вы шушукаетесь? — спросила Галка, внося в комнату варенье в вазочке и насыпанное в тарелку печенье — мелкое, с узорами, чуть обгоревшее по краям.

— У нас свои секреты,— проворчала Вековуха.— У тебя свои, а у нас свои.

— У меня секретов нет,— сказала Галка.

Вековуха промолчала, и я подумал, что Галка сказала правду, что ей нечего таить от других.

Варенье оказалось клубничным, очень вкусным. Вековуха шумно дула на блюдечко. Галка пила чай маленькими глоточками. Коля попробовал варенье и громко сказал:

— Нца!

— Нравится? — встрепенулась Вековуха.

— Нца! — повторил Коля.

— Вишь,— Вековуха улыбнулась,— новое словцо выскочило. Теперь они у него каждый день выскакивать будут. Ходить до срока начал, а со словами задержка вышла.— Она перевела взгляд на меня, принюхалась и сказала с укоризной: — Винцом от тебя попахивает. Нехорошо это. Курить куда ни шло, а пить — последнее дело.

— Дядя Ваня угостил,— поспешно объяснил я.— Празднуют они.

— А-а...— Вековуха кивнула.— Как они, не бранятся?

— Наоборот! Глаз друг с друга не сводят.

— Сла-ть господи! — Вековуха перекрестилась.

Галка обрадованно закивала.

На стене по-прежнему ворковал репродуктор. Это не мешало, как не мешает радио тем, кто привык к нему, кто слушает только то, что вызывает интерес. Потом начался концерт. Глаза у Коли тотчас округлились, ложка застыла в руке.

— Посмотрите! — воскликнул я.

Галка усилила громкость и сказала:

— Это уже давно. Как только музыку начинают передавать, иной раз так заслушается, что даже в штанишки напустит.

— С кем греха не бывает,— заступилась за Колю Вековуха.

Передавали увертюру к «Травиате». Коля таращил на репродуктор глаза и слушал. «Черт побери,— подумал я,— черт побери!»

— Весь в отца,— сказала Вековуха, и я не понял — одобряет она это или нет.— Подрастет — тоже начнет мозгой работать, песенки сочинять.

Концерт продолжался. После увертюры передали «Застольную», арию Жермона, весь четвертый акт. Коля сидел на колене Вековухи с испачканным вареньем лицом и слушал, не отрывая глаз от репродуктора.

Когда музыка смолкла, Вековуха перевернула чашку донышком вверх, опустила на пол Колю и сказала:

— Пойду, не буду мешать вам.

— Вы не мешаете,— возразил я.

— Болтай! — Вековуха усмехнулась.

Как только Авдотья Фатьяновна ушла, раздался стук. Галка в это время укладывала в соседней комнате сына.

— Открыть? — крикнул я.

— Открой,— разрешила Галка. И добавила: — Не представляю, кто бы это мог быть. Неужели снова Никодим Петрович?

Галка угадала. Никодим Петрович был в коверкотовом костюме, в коричневых штиблетах. За пазухой у него вздувалось что-то. Увидев меня, он сказал, скрывая досаду:

— Вы?

Я стоял в дверях, загораживая проход.

— Галя где? — спросил Никодим Петрович.

— Сына укладывает.

— Обождем.— Никодим Петрович протиснулся мимо меня в прихожую.

— Кто? — крикнула Галка.

— Я,— отозвался Никодим Петрович.

Он извлек из-за пазухи поллитровку, бережно опустил ее на стол, по-хозяйски сел на стул. Я промолчал, хотя меня это и покоробило.

Мы играли в молчанку до тех пор, пока не вышла Галка. Прикрыв дверь, она сказала:

— Теперь хоть из пушек пали, не проснется.

Никодим Петрович посмотрел на Галку и пробасил:

— Слух прошел: у твоего парня сегодня именины.

— День рождения,— сказала Галка.

— Все одно. Вот я и решил с бутылочкой прийти, чтобы отметить.

— Чего ж днем не приходили? Виновник торжества спит, а без него какое же веселье?

— Не смог.

— Не смогли? — Галка рассмеялась.— Скажите лучше — боялись. Ждали, когда Авдотья Фатьяновна уйдет.

Никодим Петрович скривил рот.

— Начхал я на твою Авдотью Фатьяновну. Кто она такая, чтобы меня не пускать?

— А я вас приглашала? — рассердилась Галка.— Чего вы в самом деле ходите и ходите? Лида узнает...— Галка прикусила язык, виновато посмотрела на меня.

— Одно другому не мешает,— сказал Никодим Петрович и рассмеялся.

«Пакость»,— подумал я и сказал это вслух.

— Бросьте! — Никодим Петрович нагло взглянул на меня.— Нашего брата, снабженца, такими словами не проймешь. Я свою линию в жизни гну.

«Он, наверное, так и не побывал на фронте,— подумал я.— Не ходил в атаку, не видел, как умирают. Поэтому ему на все наплевать. Поэтому в нем нет ничего того, что есть во мне, Витьке и в тысячах таких, как я и Витька».

— Доставай рюмки, хозяйка,— сказал Никодим Петрович,— сейчас гулять будем.

— Не хочу,— сказала Галка.— Может, Антон хочет.— Она посмотрела на меня.

— Садитесь.— Никодим Петрович показал мне на стул.

— Нет настроения.

— Бросьте!

— Нет настроения,— повторил я.

— Выпьете — появится.

Я рассмеялся.

— Значит, не будете?

— Нет.
— Ну тогда я один.
Это обозлило меня. Я подошел к Никодиму Петровичу и сказал, не сдерживая ярость:
— Слушайте, дуйте отсюда! Неужели не понимаете, что вы тут лишний?
Никодим Петрович перевел глаза на Галку.
— У тебя такое же решение?
— Такое же,— подтвердила Галка.

Никодим Петрович сгреб со стола бутылку, сунул ее за пазуху и, блеснув плешью, двинулся к выходу, бросив напоследок на меня недобрый взгляд.
— Злопамятливый он,— сказала Галка, когда хлопнула дверь.
— А ну его! — возразил я.— Что он может сделать мне, фронтовику?
Пока Никодим Петрович находился в комнате, я не чувствовал скованности, а теперь словно отвалился язык. Галка тоже смущалась, хотя старалась не показывать этого. Но я видел: смущается.

Тикали «ходики». За окнами лежала ночь, полная покоя и тишины. Этот покой и эта тишина почему-то особенно ощущались тут, в бывшей прачечной, где едва слышно говорило радио и тикали «ходики», где за стеной посапывал, причмокивая во сне, Коля. Я подумал, что мне, как мужчине, надо первому начать разговор. Посмотрел на дверь, за которой спал Коля, и сказал:

— Спит. Должно быть, сладко спит.
Галка ответила, и мы стали говорить о Коле. Мы говорили долго, мы мечтали вслух, надеялись, что Гришкин сын станет музыкантом.

— А от меня в нем ничего нет,— с грустью произнесла Галка.
— У тебя будут еще дети,— утешил ее я.
— Конечно, будут.
«Будут!» Я почему-то обрадовался.
Разговор переключился на другое. Галка попросила рассказать о войне. Я стал вспоминать фронтовые эпизоды. Когда рассказывал о страшном, Галкины глаза расширялись, когда вспоминал смешное, они искрились.
— А помнишь,— вдруг сказала Галка,— как мы с тобой на Даниловский рынок ходили?
— Не помню,— признался я.
— Эх, ты,— разочарованно произнесла Галка.— А я все-все запомнила. Это летом было, пять лет назад.
В памяти начало что-то проясняться: сперва чуть-чуть, потом больше, и вдруг все открылось, как сцена в театре.
— Вспомнил! — обрадовался я.
Галка улыбнулась.
Это происходило за год до войны. Мы собрались на рынок вчетвером: я, Лида, Галка и Гришка. Но Лида в самый последний момент передумала — пошла в магазин, Гришку не отпустила мать, и мы направились на рынок вдвоем.
Взрослые ездили на Даниловский рынок на трамвае, а мы, ребятня, ходили пешком. Пройдя немного по Шаболовке, сворачивали в Конный переулок. Он вклинивался в Дровяную площадь — в пустырь, поросший чахлой травкой. На той стороне площади, если смотреть от Конного переулка, возвышалось огромное каменное здание, похожее на казарму, слева и справа площадь окружали невысокие дома и домишки. Еще совсем недавно на Дровяной площади находился небольшой рынок, но жители нашего двора покупали мясо, овощи, молоко на Даниловском рынке, где — так говорила Вековуха — продукты стоили намного дешевле.
На Дровяной площади был продовольственный магазин — маленький, неуютный, пахнувший мышами. Продукты в этом магазине отпускали две толстые, неопрятно одетые тетки. Бабушка утверждала, что этот магазин очень плохой, и ничего не покупала в нем. Сахар, подсолнечное масло, крупу она покупала в другом магазине, расположенном чуть подальше — на углу Мытной улицы и Сиротского переулка. Назывался этот магазин в обиходе «Три поросенка».

— Сходи к «поросенкам»,— говорила бабушка,— купи килограмм песку, макарон побелее и соли.
Все другие продукты — мясо, сливочное масло, рыбу — она покупала в диетическом магазине на Арбате, куда ездила три-четыре раза в неделю или посылала меня.

Дальше наш путь продолжался по Мытной улице. Ее отделял от Дровяной площади высокий каменный дом, под цвет густого дыма. Он был с массивными, изогнутыми балконами и казался мне шикарным. Я почему-то думал, что в этом доме живут заслуженные и народные артисты.

Даниловский рынок находился в конце Мытной улицы. Ходить на рынок я любил. Рынок ничем не напоминал магазины, где надо было стоять в очередях, где на меня нападала скука.

На прилавках лежала редиска, похожая на румяные детские мордочки; пахло укропом, петрушкой; на пучках лука блестели капельки воды; молодая морковка с отстриженными хвостиками задорно топорщила свои острые носики. Свекла с чуть привядшими листьями, парниковые огурцы, молодой картофель — чего только не было на рынке!
Я купил молодую картошку, укроп, лук, Галка набрала полную сумку овощей, и мы двинулись обратно. О чем говорили, не помню. Помню только, что Галка смеялась, шутила, исподтишка поглядывала на меня...
И вот сейчас, ловя Галкин взгляд, я думал: «Может быть, именно тогда она почувствовала какой-то интерес ко мне». Мне хотелось так думать!

Мы разговаривали еще долго-долго — о разных пустяках.

— Поздно уже,— сказала Галка и, повернувшись, посмотрела на дверь комнаты, в которой спал Коля.
Я увидел ее руки с ямочками на локтях (раньше я не замечал этих ямочек). Сквозь ткань платья проступала узенькая полоска лифчика с двумя пуговками. Что-то сдавило горло, на лбу выступил пот, ладони стали липкими. «Что ей терять? — подумал я.— Ей терять нечего. Сейчас подойду и...»
— Не надо,— сказала Галка, обернувшись.
— Ты мне нравишься,— прохрипел я.
— Потому, что я женщина?
— Нет!
— Не лги, Антон.
Я промолчал. Галка, должно быть, поняла, что происходит в моей душе. Она, видимо, догадалась, что мои чувства — только вспышка, только желание.
— Это пройдет, Антон,— сказала Галка.— Выйдешь на свежий воздух, и пройдет.
— Нет, нет, нет!
— Пройдет.
Я стал уговаривать Галку. Я говорил, говорил, говорил, но... ничего не добился.
— Мне можно будет еще раз навестить тебя? — спросил я.
— Конечно, Антон.
Уходя, я взглянул на «ходики» — было без пятнадцати минут двенадцать.



13

Во дворе лежали пятна света. Они падали из окон. Освещенных окон было немного. Темные походили на проруби. Тусклый блеск стекол усиливал это сходство. Из окна дяди-Ваниной комнаты все еще доносились переборы гармони. Горел свет и в комнате Елизаветы Григорьевны. Вековуха спала. Я видел Галкины окна. На одном из них штора была задернута неплотно. Иногда мне удавалось рассмотреть Галку. Она ходила по комнате и что-то делала: видимо, убирала.

Пахло прелыми листьями и еще чем-то, очень знакомым. Листья были мокрыми, и пожухлая трава тоже была мокрой — только что прошел дождь. Прогревшийся за день воздух остыл, тянуло холодком. Низко-низко плыли мохнатые облака. От «Шарика» доносился шум станков, сливающийся в один монотонный, убаюкивающий гул. В Апаковский трамвайный парк, расположенный на нашей улице, уходили последние трамваи. Я видел освещенные вагоны, почти пустые, с прикорнувшими у окон запоздалыми пассажирами и зевающими кондукторами. Если бы не гул «Шарика» и не трамваи, то я, наверное, решил бы, что я сейчас в деревне, где такие же низкие, как в нашем дворе, дома, где так же пахнет, где по ночам тишь и благодать. Я смотрел на Галкины окна и раздумывал: «Зайти? Может, надо быть понахальнее? Может...»

Послышались чьи-то шаги. Вгляделся — Витька.

— Полуночничаешь? — спросил он, подойдя ко мне.

— Воздух-то какой! — ответил я.

Витька потянул носом.

— Грибами пахнет.

«Точно,— вспомнил я.— Прелыми листьями и грибами».

— Поздравь меня,— сказал Витька.

— С чем?

— Сын у меня — во! — Зажав под мышкой костыль, Витька поднял большой палец.— Сперва она пускать не хотела. «Не́чего,— говорит.— Когда приглашали, не приходил, а теперь не́чего». Но я, сам понимаешь, не лыком шит. Вперся, и все дела! Поглядел на сына — пацан как пацан. Решил: «Сматываться надо, пока не поздно». Сунул ему подарки — конфеты и мяч. И тут, понимаешь, чудо произошло. На конфеты он только покосился, а мячом завладел. Повертел его — и как наподдаст! Кувшин на столе стоял — вдребезги. Честное слово! Она его выпороть хотела, но я не позволил. Понравился его ударчик. Поставил я мяч и сказал: «Ну-ка еще разок, только в стенку». Стукнул он. Чувствую: есть что-то. Глаз у меня на это дело наметанный: сам на «Динамо» тренировался, видел, как Ильин бьет, видел и братьев Старостиных из «Спартака». За весь вечер — веришь ли, нет — он всего три «Мишки» слопал, все с мячом возился. Завтра на стадион его поведу, там товарищеская встреча.

— Не рановато ли? — усомнился я.

— Пускай привыкает,— возразил Витька.— Мне не удалось футболистом стать, может, сын им будет.

«Взрослые хотят,— подумал я,— чтобы их дети осуществили то, что не удалось осуществить им». Я вспомнил Колю и решил: ему нужен отец. Эта мысль пришла внезапно. Я понимал: это не главное, главное — Галка, но почему-то думал о Коле, о том, что ему нужен отец. Наверное, так мне было удобней.

— Вот такие дела,— сказал Витька.

— А с ней как? — поинтересовался я.

— Покалякали. Она ничего, понятливая.

— Жениться решил?

— Загрузить паспорт печатью — плевое дело.

— Значит, не будешь?

— Повременю пока.

«А я не хочу ждать,— подумал я.— Вот возьму и женюсь. Если только она согласится».

Зашуршали листья. К дому приближалась Лида с Никодимом Петровичем. Витька окликнул сестру. Когда Лида подошла, он проворчал:

— Все гуляешь?

— Какой брат, такая и сестра.— Лида рассмеялась.

— Ты себя по мне не равняй! — вспылил Витька.— Мне сам бог велел гулять. А ты еще соплячка!

— Фи! — Лида поморщилась.— Какие вы грубые пришли с войны: и ты и он.— Она кивнула на меня.— Неужели вас только этому там научили?

— Прекрати! — крикнул Витька.— Ты ни черта в этом деле не смыслишь.

Никодим Петрович выступил из темноты.

— Говорят, Верочкин муж вернулся?

— Вернулся,— ответил Витька.— А что?

— Трудненько ему теперь будет,— посочувствовал Никодим Петрович.— Испортил он себе анкетку.

— А у вас как с анкеткой? — насмешливо спросил Витька.

— Я человек без пятнышка,— ответил Никодим Петрович.

Я почему-то вспомнил хлещущий по лицу дождь, бегущих цепочкой солдат, Андрея Ходова чуть впереди. Такого ливня я еще никогда не видел. Впереди, позади, слева и справа от меня была сплошная пелена, состоящая из сотен тысяч упругих струй. Дождь шел косо, сильно ударяя в лицо и плечи; фигуры солдат казались размытыми. На мне не было сухой нитки, вода хлюпала под ногами, подошвы скользили на глинистом грунте. Я падал, поднимался, снова падал и снова поднимался. Весь вымазался. Чувствовал: липкая, холодная грязь растекается по телу.

Наш взвод шел на высотку — на немецкие укрепления, прикрывающие село, в которое после нашего сигнала должны были ворваться другие подразделения. Мы уже пытались овладеть этой высоткой, но откатились с большими потерями. А теперь нам помогал ливень — неистовый летний ливень. С высотки бил пулемет, который не могли подавить орудия. Я видел, как падают бойцы, и не мог понять, отчего они падают: оттого, что скользко, или от пуль.

Цепляясь за кусты, росшие на склонах высотки, я лез и лез. А потом мы залегли. Перед самым носом у немцев! Я чувствовал их. Трудно передать словами это ощущение, но я чувствовал: они близко. Краем глаза увидел: Ходов приподнял голову, прислушался и пополз на левый фланг, откуда бил немецкий пулемет. Дождь не утихал. Гимнастерка и брюки липли к телу, в сапогах, когда я шевелил пальцами, перекатывалась вода. Каску я потерял. Не помню когда. Дождевые струи, хлесткие и упругие, ударяли по стриженой макушке. «Так сходят с ума»,— подумал я и прикрыл рукой голову. И в это время на высотке рвануло. Немецкий пулемет стих.

— Взво-од! — крикнул наш лейтенант, заглушая шум ливня.

Мы поднялись и устремились вперед...

...Я вспомнил все это и, глядя на Никодима Петровича, спросил:

— Позвольте узнать, а вы были там? — Я выделил слово «там».

Никодим Петрович с шумом вобрал в себя воздух и выдавил:

— Не довелось.

— Ну тогда все понятно! — воскликнул Витька.— И чего в тебе Лидка нашла?

— Что хотела, то и нашла.— Никодим Петрович произнес эту фразу с каким-то подтекстом.

Витька презрительно хохотнул.

— Нашла. Вот это нашла! — Никодим Петрович позвенел в кармане мелочью.

— Врешь! — крикнул Витька.

— Не вру.

— Так ведь я же даю ей деньги...

Никодим Петрович фыркнул.

— Много ли с зажигалок толку? На губную помаду и то не хватит.

Витька поднял костыль.

— Мотай отсюда!

Никодим Петрович отступил на шаг.

— Мотай отсюда! — повторил Витька.

Никодим Петрович пробормотал что-то и пошел прочь от нас.

Лида отвернулась. Чувствовалось, что Никодим Петрович обидел ее.

Витька высморкался, утерся рукавом и сказал, обращаясь к Лиде:

— Хоть ты и сестра мне, но я голову тебе оторву, если будешь шляться с этим типом.

— С кем хочу, с тем и дружу,— с вызовом ответила Лида.

Витька вонзил костыль в податливые, полуистлевшие листья.

— У тебя еще молоко на губах не обсохло, чтобы так разговаривать с братом.

— Он,— Лида кивнула на меня,— мой ровесник, а ты с ним на равных.

— Формально ровесник! — крикнул Витька.— В действительности он на десять лет старше тебя, потому что на войне был.

Лида притворно вздохнула.

— Надоело все это. Все твердят: война, война. Все стучат в грудь кулаками и говорят: «Мы, мы, мы...» Мне по-настоящему весело только тогда, когда я со своими новыми друзьями встречаюсь. Живут они богато, не то что в нашем дворе. ...Кстати, Никодим Петрович им и в подметки не годится,— поспешно добавила Лида.

— Кто же они, эти... эти?..— В Витькином голосе прозвучала ярость.

— Не твое дело!

— Кто они? — Витька повысил голос.— Ты моя сестра, и я не позволю...

— Может, дома объяснимся?

— Можно и дома,— проворчал Витька.— Пошли!

— Объясняться?

— Не доводи меня!

Я подумал, что он может переборщить, может сгоряча наподдать сестре, и я посоветовал Витьке не очень-то волноваться. Я сказал ему, что Лида уже взрослая, что она сама себе хозяйка.

Лида отвесила мне шутовской поклон...

Через несколько минут в их комнате вспыхнул свет. Лида подошла к окну, резким движением задернула занавеску. Теперь я видел только верхнюю часть комнаты — оклеенный белой бумагой потолок, абажур с бахромой.

Прошло еще несколько минут, и я с удивлением обнаружил: светится только одно окно — Галкино. Через просвет в шторе увидел: она раздевается. Галка расстегнула кофту, спустила юбку, переступила через нее. Повернувшись к окну спиной, сняла лифчик. Больше я ничего не увидел. Галка, должно быть, легла, но свет в ее комнате продолжал гореть. У меня стучало в висках и было сухо во рту. Захотелось подойти и постучать в окно. Но я не осмелился сделать это. Я не мог, не имел права понапрасну тревожить Галку.

Стал накрапывать дождь. Тяжелые, будто налитые свинцом капли упали на землю. Все вокруг зашуршало, зашевелилось. Дождь был холодным, редким. Осенью 1944 года, укрывшись в осиновом подлеске, мы ждали сигнала к атаке точно под таким же дождем. Так же пахло прелыми листьями и грибами. Так же все вокруг шуршало и шевелилось. Лица у всех были напряженными. Мы понимали: после этой атаки кто-нибудь из нас найдет свой вечный покой в братской могиле или отчалит в тыл, в госпиталь. Не помню, о чем я думал тогда. Пытаюсь вспомнить и не могу. Помню только шорохи, шелест листвы, осторожное позвякивание котелков.

А сейчас я думал о тех, кто покинул наш двор, чтобы навечно остаться в моей памяти. И еще я думал о бабушке, о матери, Витьке, Лиде, Вековухе, маленьком Коле, думал о будущем, которое не обещало быть легким и гладким, как хорошо накатанная дорога. И, конечно же, думал о Галке. О ней я думал дольше всего, с радостным чувством. «Спи, мой двор,— думал я,— мой любимый, добрый двор. Ты теперь можешь спать спокойно, как поет Марк Бернес, не затемняя окон,— мы сделали для этого все, что смогли. Не за просто так погибли Ходов и Федор Иванович, не за просто так потерял ногу Витька, а у меня прострелена грудь. Спи, мой двор, убаюкиваемый гулом «Шарика», спите все, хорошие и плохие... Пусть плохие станут хорошими, а хорошие — еще лучше. А кто не захочет стать хорошим, пусть убирается с нашего двора! Спи, мой двор, спи...» И мне почудилось, что в этот самый час, в эти самые минуты мои сверстники, такие же демобилизованные парни, как я, так же смотрят на окна своих любимых или провожают их с танцев, из кино, а те, кто вернулся домой год или полтора назад, стоя около детских кроваток, глядят на безмятежные лица недавно родившихся младенцев. И я позавидовал им, потому что они были уже отцами. Мои руки тосковали по работе — я чувствовал это. Я мог бы не работать, только учиться: мать согласилась бы на это. Но хотелось быть самостоятельным. И я решил: «Учиться буду вечером, после работы».

Прошел всего один день с той минуты, когда я — первый! — увидел «воскресшего» дядю Ваню, а мне показалось — промчались годы. Они промчались в моем сознании, их возродил этот двор, где я жил, откуда ушел на фронт и куда возвратился два... нет, теперь уже три дня назад.

Тускло поблескивали стекла. Накрапывал дождь. На дворе лежал лоскуток света. Маленький, маленький лоскуток — один на большом дворе за Москвой-рекой. Я глядел на этот лоскуток, на Галкино окно и думал. Я уже знал, что отныне, возвращаясь с «Шарика» или выходя во двор просто так, я буду смотреть на это окно...

●

Александр Гевелинг





Вчера — сегодня

Как в прошлое окно,
Как взгляд поверх просторов,—
Бессмертное кино
Военных хроникеров.
Когда передо мной
Клокочет на экране
Атака под Москвой,
Бой в партизанском стане,—
Я не замечу, нет,
Что осложняли съемки
Неполноценный свет,
Несовершенство пленки.
На этом рубеже
Нас окружают люди,
Которых нет уже
И никогда не будет.
Да здравствуй,
Не артист,
Знакомый по открыткам,
А ты, артиллерист,
Усталый и небритый,
Доподлинно живой,
Предельно настоящий,
Истории самой
Уже принадлежащий!
Вот партизан — живет
Он с нами, в нашем мире,
он драит пулемет
МГ-34.
Уселась на пенек
Наташа или Катя
И штопает чулок,
Распялив на гранате.
Просвета не видать,
Метель по трупам рыщет.
Пришла старуха мать
Рыдать у пепелища.
Все это позади,
Но плакать не устала,
Чтоб у меня в груди
Слеза не высыхала,
Чтоб тою жизнью жил,
Деля по-братски крохи,
Но время не делил
На главы и эпохи.
Богата ли, бедна —
Вся жизнь необходима,
Страна у нас — одна,
И жизнь у нас — едина.
Я об одном прошу:
Не делайте сравнений.
Я на сердце ношу
Все грузы поколений.
Вот этот парень — он
У пушки, со снарядом,
Живым запечатлен.
Я с ним навечно рядом.
Не думайте того,
Что будто бы я вправе —
Сегодняшний — к его
Примазываться славе.
Но мы — и он и я —
Одним проходим строем
У Вечного Огня
Над Вечным Непокоем.

✪

Да, наше время слишком отдаленно
От тех времен, когда военкомат,
Спеша, отправил в недра медальона
Все, чем до самой смерти жил солдат.

А что там было? Имя, адрес, дата.
И все. И больше знать не надлежит.
А что там было? Просто жизнь солдата,
Который так и не успел пожить.

Ну, что он пожил? Девочка-веснушка,
Совсем еще неясный, школьный взгляд,
Но почему — горячая подушка
(Ее не помнит райвоенкомат).

Еще песные заплы медуницы,
Рыбацкий непридуманный закат
И Лермонтова тяжкие страницы
(О них не знает райвоенкомат).

Еще он помнил топот эшелона
И мать, окаменевшую от слез
(В солдатские скрижали медальона
Военкомат их тоже не занес).

Что жаждала душа и чем богата,
Никто не знал, да знать и ни к чему.
Теперь вся жизнь: противогаз, граната,
И карабин, и пять обойм к нему.

Мы двадцать миллионов поименно
Не знаем. Всех узнаем ли навряд.
Но мы еще находим медальоны —
Истлевшие свидетельства утрат.

Да будет жизнь восполнена сторицей,
Да жгут навеки честные глаза
И зори, и любови, и страницы,
И женская извечная слеза!





НАТАЛЬЯ ГНАТЮК

Ей 23 года. Оиа работает в газете «Московсиий иомсомолец». Учится на III курсе вечернего отделения фаиультета журиалистики МГУ.



РАССКАЗЫ

Рисунки
Олега КОКИНА.

денежка

Очередь тянулась длинная и тоскливая за предметом, по летнему времени совсем бесполезным,— за шубами. Петьке было здесь жарко и скучно. Вот уже полчаса он выкручивался и извивался на маминой руке, как угорь. Петька тянулся к барьеру. Самое интересное осталось внизу, светилось всеми цветами и притягивало к себе.

Детский же мир на третьем этаже ему совсем не нравился. Он был серо-черно-каракулевый, пах нафталином и состоял из локтей, толкающих Петьку. Мама, коиечно, давно поставила бы его в сторонку, но боялась, что Петька потеряется. Она одергивала его и говорила: «Вон, видишь, мальчик ведет себя хорошо».

Петька скосил глаза на толстого, краснощекого мальчика. Тот сопел и с азартом откручивал последнюю пуговицу на своей нарядной тужурке. Вид у него был сосредоточенный. И Петька еще больше затосковал от собствеиной бездеятельности.

Петькин нос упирался в мамину руку с блестящими часиками, и он волей-неволей глядел на них. В зто время сзади кто-то опять поднажал, и Петька выпустил мамину руку и потерял из виду часики. Но зато перед его носом на каменном полу засиял ослепительно красный пятак.

Новенький и тяжелый, он быстро нагревался в кулаке. Его нельзя было сравнить ни с бумажными рублями, ни с тусклым серебром. Поэтому из всех известных ему денежных знаков Петька больше всего уважал пятак.

Вчера в детском саду воспитательница Таисия Павловна читала книжку про везучую муху, которая по полю пошла и какую-то денежку нашла. Петька представил себе, как муха, перебирая тоненькими лапками, словно белка в колесе, сидит на ребре пятака и катит его на базар, где покупает самовар. Что такое самовар, Петька представлял смутно. Это было что-то большое и ослепительно золотое.

Петька понял, что разбогател.

— Ну, я пошел, мама! — крикнул он для очистки совести в толпу и направился к лестнице.

Первое, что он увидел внизу,— это игрушки.

Петька глядел на игрушечный мир из-под мелькающих рук, поверх стриженых голов и пузатых портфелей, и потому зтот мир казался похожим на лоскутное одеяло. Петькин взгляд выхватывал из него то один яркий лоскут, то другой. Чего только там не было!

Заводные машины с кузовами — от спичечного коробка до такого, в какой Петька мог залезть сам,— ползали по прилавку, как большие жуки, тыкались в руки и сами въезжали в картонные коробки. Зеленые танки с красными звездами вертели башнями и шуршали гусеницами. Надувиые зайцы шевелили пухлыми ушами. Заводные клоуны приседали, а куклы закрывали глаза и пищали. От кукол Петька отвернулся...

Отвериулся и увидел, что людей вокруг много. Ему стало немножко страшно. «Но я же не потерялся,— подумал он,— я сам ушел, сам и найдусь». И стал смотреть, где бы ему легче найтись. И ои увидел веселую продавщицу с таким курносым носом, что в детстве с ней, наверное, часто играли

в известную игру — кто-то из взрослых вдавливает твой кончик носа и весело говорит: «Дзинь, барин дома?» Как будто это приятно! Пользуются тем, что до их носа не достать.

Девушка выстрелила из такой штуки, укрепленной на доске с нарисованными зверями и похожей на щеколду. Каждый знает: чем сильнее ее оттянешь, тем вернее попадешь в заветную лунку. Возле нее написано, сколько очков полагается за того зверя, в чьей шкуре проделана лунка. Игра называется «охотой», а щеколда — «пушкой».

Петька очень любил играть в разведчиков и охотников и поэтому подошел ближе. Металлический шарик упал в лунку на хвосте тигра.

— Теперь твой черед,— улыбнулась продавщица.

Петька ухватился за тугой спуск «пушки», оттянул его, сколько было сил, и отпустил. Шарик несколько раз ударился в бортик, дзинькнул, пересчитав металлические колышки, расставленные по доске, и вкатился в кончик хобота слона так, что казалось, будто это слон сам взял шарик.

— Ого! Сто очков,— удивилась девушка.— Выиграл.

От удовольствия Петька покраснел и сразу вспотел.

— Нравится?

Петька кивнул головой.

— Скажи маме — пусть купит.

— Я сам могу,— гордо сказал Петька и разжал кулак.

Девушка кончила торговое училище совсем недавно и работала в «Детском мире» всего несколько недель. Но даже если бы ей до пенсии оставалось года два, она вряд ли смогла бы припомнить такого удивительного, такого щедрого покупателя, так доверчиво уставившегося снизу в дырочки ее ноздрей. Она смутилась. Но, как все добрые курносые люди, быстро нашлась и очень серьезно спросила, как зовут покупателя.

— Петя Антонов... Пять лет,— с достоинством ответил Петька, по-отцовски сдвинул брови и чуть привстал на цыпочки.

— Хорошо, Петя Антонов. Что же ты хочешь купить? Охоту?

Петька уже хотел было снова кивнуть головой, но не смог. Слишком вокруг много было такого, что он хотел бы купить. А в глубине души он догадывался, что на одну монету можно купить хотя и любую, но все-таки одну вещь. И приходилось выбирать.

— Мне... посмотреть надо... Мне мяч тоже нужен... в футбол играть.

— Валя! — крикнула девушка.— К тебе покупатель.

Валя, рослая и озабоченная, подошла к ним и не сразу нашла Петьку с высоты своего роста и положения.

— Этот, что ли, покупатель? — спросила она, продолжая отыскивать глазами его папу или маму.

— Этот,—подтвердила девушка с курносым носом.

— Один?

— Один.

— А деньги у него есть?

Петька опередил хотевшую сказать что-то курносую продавщицу: «Есть...» — и с важным видом показал свой капитал.

— Да ты что, мальчик...— начала было удивленная Валя, но натолкнулась на взгляд подруги и закончила фразу не так, как собиралась,— ...смотреть будешь, что... покупать?

Петька деловито оглядел Валины богатства. Мячей у нее было столько, что хватило бы на целую детсадовскую группу. Маленькие и побольше, разрисованные узорами и гладкие, похожие на спелую антоновку, они аппетитно выглядывали из сеток и коробок, дожидаясь своего прыгучего часа. Только одного мяча там не было: серьезного, настоящего, футбольного.

— Мне таких не надо,— возразил Петька.— Я вратарь.

— У меня брат — тоже вратарь, только в водное поло играет,— с облегчением согласилась Валя.— А ты футболистом стать хочешь?

— Спортсменом,— уточнил Петька.

— Ага,— кивнула Валя,— тогда тебе не сюда, а в спортотдел нужно. Он у нас во-он там... Найдешь?

— Конечно...

Продавщицы переглянулись.

— Может, сбегать предупредить?

— Ты с ума сошла, а покупатели?

— Жалко, разочаруется парень в жизни...

Покупатели в этом зале как бы делились на несколько этажей. На первом шагали дети лет шести, которых мамы держали за руку. На втором — сами родители. А на плечах у пап сидели малыши. Петька шел на уровне первого этажа, но шел самостоятельно и поглядывал на всех снисходительно. Впрочем, он спешил... Внезапно над его ухом раздался густой бас:

— Молодой человек...

Петька поднял голову и обомлел. Над ним склонилась фуражка милиционера.

«Все,— решил Петька.— Я что-то натворил. Но ведь я не нарочно. И что? Может, «пушку» испортил?»

— Я нечаянно. Она сама испортилась...— Петька скрепя сердце протянул милиционеру пятак.

— Спасибо,— сказал милиционер,— денег не надо. Я все видел, ничего не испортилось. Ты, мальчик, почему один? Заблудился? Где твоя мама?

У Петьки отлегло на душе.

— Мама наверху стоит за шубой. А я тут покупаю...

— А она знает?

— Знает,— уже с меньшей уверенностью ответил Петька.— Я ей сказал.

— Тогда прошу прощения.— Милиционер взял под козырек.

— Даю прощение,— сказал Петька и, уже не глядя по сторонам, отправился прямо в спортивный отдел, где стояли синие самокаты, черные мотоциклы и красные велосипеды.

Сначала он просто прохаживался между ними. Народ вежливо обтекал Петьку, и никто не обращал на него внимания.

«Самокат — хорошо,— размышлял Петька,— на нем учиться не надо, оттолкнулся и поехал. Но скорости нет... На трехколесном «велике» тоже учиться не надо, но что я, маленький, на трехколесном ездить!.. А маленький двухколесный для девчонок... Может, «Орленка» купить?»

Он встал рядом, примерился к рулю.

«Высоко... А если стоя? Если стоя — педали достану. А как я на него сяду? Мама подсадит — засмеют. Правда, во дворе, в углу, ящик стоит, я на него влезу и в седло прыгну. Но разве мама разрешит? Заругает и отнимет. Скажет, дам, когда вырастешь. А я, когда вырасту, может, мотоцикл куплю...»

Петька с уважением покосился на мотоцикл.

«Нет, к мотоциклу шлем и очки нужны. И мама разволнуется. Нет, пока не буду покупать...»

Мимо быстро прошагал продавец в синем халате.

— Отойди, мальчик, не трогай, испортишь.

— Ну да, испорчу! Что я, маленький?..

— Говорят тебе, не мешайся,— кинул на обратном пути, шелестя какими-то бумажками, парень в халате.— Родители, чей ребенок, присмотрите. Оставляют тут одних...

— Я не ребенок...

Продавец сморщился так, что стал похож на печеное яблоко.

— А кто же ты?

— Я Петька. Я велосипед выбираю.

— Видали мы таких выбиральщиков! А деньги ты имеешь?

— Имею.— Петька протянул ему на открытой ладони пятак.

— Ну, ты богач,— присвистнул парень.— И какой же ты, Петька, велосипед выбрал?

— Я еще думаю. Их у вас много, а мне один нужен, самый лучший.

— Может, я помогу лучший выбрать?

— Помогите...

Продавец присел на корточки перед новеньким «Орленком», раскрутил педали и резко остановил.

— Гляди, у него тормоза — класс, цепь не прокручивается. Или тебя звонок интересует?

Петька два раза звякнул.

— Хороший звонок...

— Ты шины, шины проверь, вдруг не накачаны.

Петька постучал ногой о тугую шину.

— Ты на седло погляди, его и опустить и поднять можно...

— Хорошее седло... Ладно, я куплю этот...— Петька направился к кассе.

Продавец не ожидал такого поворота.

— Куда ты, торопыга?! Ты погоди сразу в кассу. Может, что другое подойдет. Вон самокаты стоят чешские. Один парень на таком из Праги в Москву доехал. Представляешь?

Петька представил.

— Да, здорово...

— Это еще что! Завтра обещали партию гоночных велосипедов...

— Гоночных! — ахнул Петька.

— Ну. А на днях....

В разговор вмешался мужчина:

— Товарищ продавец!..

— Видите, я занят...

— Я только спросить...

— Спрашивайте.

— Я сыну хочу на день рождения велосипед подарить, какой вы посоветуете?

— А ты какой посоветуешь? — обратился к Петьке продавец.

Петька задумался.

— А сколько ему лет?

— Шесть...

— Ага,— просиял Петька,— тогда ему этот как раз будет.— И он указал на велосипед, возле которого они стояли.— Я проверял. У него все в порядке.

— Платите в кассу,— пожал плечами продавец,— видите, самый лучший, полчаса выбирали...

— Сказать по правде, Петька,— доверительно шепнул продавец, когда мужчина отошел,— я вспомнил, там ключ из комплекта потерялся. Если цепь соскочит, то без ключа как починишь, так что ты не жалей...

— А тот мальчик как же? — нахмурился Петька.

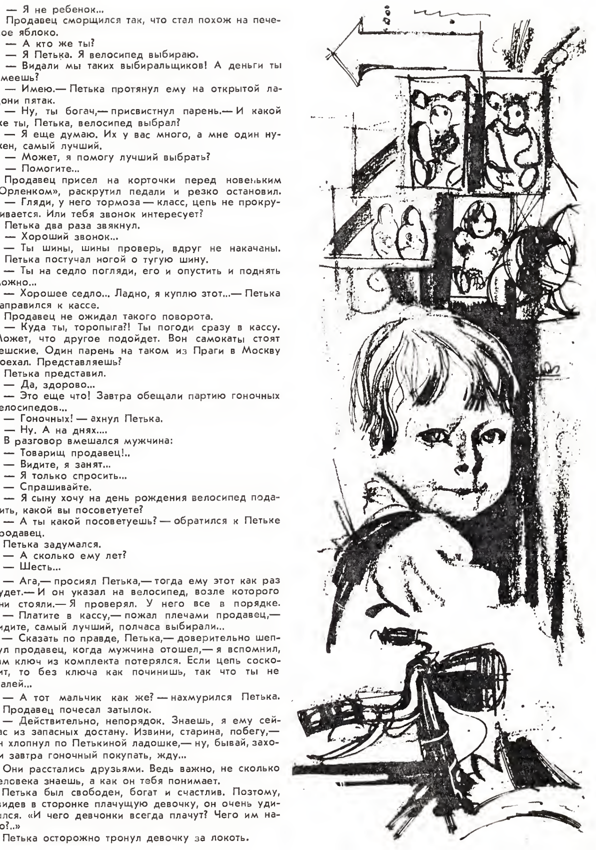
Продавец почесал затылок.

— Действительно, непорядок. Знаешь, я ему сейчас из запасных достану. Извини, старина, побегу,— он хлопнул по Петькиной ладошке,— ну, бывай, заходи завтра гоночный покупать, жду...

Они расстались друзьями. Ведь важно, не сколько человека знаешь, а как он тебя понимает.

Петька был свободен, богат и счастлив. Поэтому, увидев в сторонке плачущую девочку, он очень удивился. «И чего девчонки всегда плачут? Чего им надо?..»

Петька осторожно тронул девочку за локоть.



— Ты чего? Потерялась?

Девочка совсем отвернулась к стенке, и Петька уже видел только ее спину и красный вздрагивающий бант на макушке. Петька растерянно пожал плечами.

— Хочешь, я тебе деньги дам, чего-нибудь купишь... Ну, хочешь... куклу с закрывающимися глазами? Она еще «мама» говорит. Хочешь? На, возьми...

— Господи, это что же за наказанье! На минуту оставить нельзя. Уже с каким-то мальчишкой связалась!.. Перестань реветь сейчас же!.. Куплю я тебе все, что захочешь, куплю...

Женщина потащила девочку сквозь толпу к прилавку. На прощание обе оглянулись. Девочка с таким победоносным видом, что Петька пожалел, что подходил к ней, а мама — так недоверчиво и опасливо, будто Петька у нее не то попросил, не то взял что-то. И Петька злорадно подумал, что раз так, то пусть она и ходит со своим «наказаньем»...

Больше он ничего не успел подумать, потому что сквозь чью-то сетчатую авоську углядел много-много мороженого. Его раздавала тетка в белом халате. Перед мороженым Петька устоять не мог. Глаза у него разбежались. Ему захотелось и стаканчик с кремовой розочкой, и эскимо на палочке, и пломбир, но больше всего стаканчик.

Обычно мама не разрешала Петьке есть холодное мороженое, боялась, что он схватит ангину. Мама держала мороженое в блюдечке до тех пор, пока оно превращалось в теплое сладкое молоко. И тогда Петька, давясь, со слезами на глазах, хлебал его, глядя на кота, который сидел напротив и облизывался. Коту он тайком позволял облизать блюдечко...

Сейчас Петьке не мог помешать никто. Петька сглотнул слюну и сжал кулак так крепко, что пятак впился в ладошку и напомнил ему, что он может съесть любое, самое большое и самое вкусное мороженое.

«Только бы не ошибиться!» — подумал Петька, для верности обхватил левой рукой правую руку с зажатым пятаком и стал ходить вокруг тележки кругами. Сначала большими, затем подходя все ближе и ближе.

Возле тележки стоял мужчина в пенсне и доказывал толстой, багровой от гнева тетке:

— Так, голубушка, нельзя, сдачу надо отдавать, хотя бы и копеечку.

— Интеллигент! — ахнула тетка, апеллируя к публике, нервным движением вытащила тяжелый полотняный мешочек и высыпала мелочь. — Я что, надуть тебя хочу? Ты сюда гляди, где ты видишь копейки? Нет, ты хорошо гляди, может, тебе из-за очков не видать. Ты видишь, у меня одно серебро? Все двугривенные дают, а после требуют... А где я возьму? Не хочешь — не ешь. А то раскричался, ишь ты! Выжига! — Она подбоченилась и закончила, как отрезала: — У кого нужных денег нет, те пускай не едят. Следующий. Бери, мальчик, чего стоишь.

Петька шагнул вперед.

— Мне стаканчик дайте. С кремом.

Тетка, тяжело дыша, протянула руку и замерла... Она перевела взгляд с пятака на Петьку.

Петька стоял на цыпочках, перегнув голову через край тележки так, что его щека сдвинулась к носу, и, не отрываясь, глядел на коробку, где, как в сотах, ровными рядами стояли стаканчики с настоящим, твердым, холодным мороженым. У Петьки даже лоб вспотел от нетерпения.

И тут видавшая всякие виды, злая от жары и наплыва покупателей тетка неожиданно для себя, не сводя глаз с Петьки, нашарила рукой стаканчик и... протянула ему.

— Мальчик Петя Антонов, твоя мама ожидает тебя на первом этаже в комнате милиции... Мальчик Петя...

Петька огляделся. Возле прилавка с тетрадками, где солидные первоклассники двигали крышками пеналов и щелкали замками портфелей, стоял спиной к нему, облокотившись, знакомый милиционер и беседовал вполголоса с продавщицей. Они смеялись.

Петька подошел к ним.

— Дядя милиционер...

— А, это ты? Гуляй, мальчик, гуляй, — едва взглянув на него, бросил через плечо милиционер.

— Я не могу больше гулять. Я Петя Антонов.

— Ну и что?

— Я мальчик Петя Антонов. Меня мама ждет.

— А... Так бы и сказал. Ну, пошли...

Петькина свобода кончилась. Но он не горевал. Ведь у него осталось мороженое. Петька впился в него зубами и оглянулся напоследок. Тетка из-за тележки помахала ему рукой. Петька задвинул языком кусок мороженого за щеку и улыбнулся во весь свой щербатый рот. Этот мир ему очень нравился.

Струляндия

Мама, не отрываясь от «Вопросов философии» и по обыкновению жуя свое любимое овсяное печенье, сообщила, что звонил Иван Антонович, или иначе мой отец. Он хотел часа через два зайти к нам и просил отпустить меня с ним прогуляться.

— А что такое отец? И вообще почему я обязана встречаться с абсолютно ненужным мне человеком? — спросила я, аккуратно повесив выглаженную юбку на спинку стула.

От моего вопроса у мамы слегка поднялись брови, она положила журнал на живот и стала пристально рассматривать симпатичный таллинский фонарик, свисавший над тахтой.

— Ты хочешь меня обидеть?..

Ее голос прозвучал неуверенно, потому что мы жили дружно и на самом деле она не думала, что я хочу ее обидеть. Просто она решила узнать, что я имею против Ивана Антоновича.

— И потом я, кажется, не давала повода отзываться о нем так...

— Я никак не отзываюсь о нем. И я не хочу тебя обидеть. Я действительно не понимаю, зачем он мне нужен и вообще почему он мой отец. Ну не в том смысле, конечно, а по-настоящему. Вот у Машки отец так отец. Как-то весной она тройку по физике получила. Сидят они за ужином. Он ей о физике слово, она ему два, он ей еще слово, она ему десять. Он схватил чашку да как швырнет об пол. Его любимая чашка и вдребезги. Вот это, я понимаю, отец!

Мама потянула воздух носом. Кажется, я увлеклась и забыла об утюге. Мама вскочила и стала мне помогать. Скатерть мы спасли общими усилиями.

Мама подошла к трюмо и провела пуховкой по лицу. Потом она достала из маленькой палехской шкатулки брошь, которую не надевала уже много лет, — цветущую яблоневую ветку. Она повертела ее в руках, покачала головой и положила на место. Затем вдруг снова достала и решительно приколола на свое любимое платье, зеленое, из японского шелка.

— Я думаю, что ему не сладко в своем Тихом,— сказала мама, как бы извиняясь,— тайга все-таки, комары, грязь...

«Пожалела,— неожиданно неприязненно подумала я.— Себя ты пожалела, милая моя мамочка, себя, когда не поехала с ним в тайгу. Да, но осуждать легче всего. А сама бы я поехала? У нее здесь работа, раз. Во-вторых, век декабристских жен давно прошел. Да и он не декабрист, его никто не заставлял ехать именно в тайгу. Он о маме совсем не подумал. Он эгоист. Нет, я бы тоже не поехала. А теперь он нам с мамой совсем не нужен. Нам и так хорошо. Как жили десять лет, так и будем жить вдвоем, припеваючи...»

— Наверное, ему захотелось на тебя поглядеть,— продолжала мама.— Он, очевидно, расскажет много интересного. И потом, почему мне приходится тебя уговаривать? Он твой отец.

Я еще подумала, посмотрела на маму.

— Конечно, мама. Нам будет интересно...

Иван Антонович пришел точно, как обещал. Он снял фуражку, держа ее в руках, тщательно вытер ноги, хотя дождя не было полмесяца, и прошел в комнату. Мама взяла у него фуражку и повесила на вешалку в прихожей.

— Чайку выпьешь, Иван Антонович?

— Да нет, жарко, чего-нибудь холодненького лучше.

Мама достала из холодильника сразу запотевшую кастрюлю с компотом и налила в большую, пол-литровую чашку. Он выпил в один прием с видимым наслаждением.

— Еще?

— Спасибо, хватит. Что читаешь, Света?

— Да так... Ничего,— ответила я, отложив в сторону маленький альбом Матисса.

Он покосился на яркую обложку.

— А я, знаешь, Левитана люблю. Там у меня был, сейчас куда-то задевался. Средняя полоса у него такая...— он подыскал нужное слово,—...золотистая. Глядишь — радуешься...— Он замолчал, обвел глазами комнату. В прошлый раз мы жили в коммунальной квартире, а отдельную получили прошлой весной, и Иван Антонович здесь еще не был.

— Красиво у вас. Мебель новая. В кредит купили?

— Я за статью хорошо получила...

— Да,— не слыша маминых слов, продолжал Иван Антонович,— идет время... Светка вон какая взрослая. Когда каждый день человека видишь — не замечаешь. А тут... В шестом учишься?

— В седьмой перешла...

— А я думал, в шестой,— расстроился он.— И как, на «отлично»?

— По-разному...

— Точные науки не любит,— вставила мать,— вся в меня...

Я недовольно покосилась на маму. Могла бы этого и не говорить. Кому это нужно? Тем более, что этим случайным выпадом она как бы нарушала существующую между ними атмосферу тихого развода, дальше которой они идти не решались до сих пор.

Мама тоже спохватилась.

— А как ты? Надолго в Москве? Когда приехал?

— Ночью прилетел. Неудачно: в воскресные дни попал, все закрыто. Других билетов-то не было — лето, все в Москву едут. Вот в понедельник с делами управлюсь — и домой. А пока дай, думаю, к вам загляну...— и без всякого перехода, на той же интонации, только глядя уже в сторону, попросил: — Умыться нельзя? С дороги не умывался.

— Конечно, конечно,— заторопилась мама.— Вот полотенце, мыло...

...— Ну, мы, пожалуй, пойдем? — сказал он, вытирая шею концом полотенца.

На полотенце оставались серые полоски...

В этот раз мы решили отправиться в Парк культуры имени Горького. «Хорошо бы узнать,— раздумывала я, сидя в душном вагоне метро,— почему парк назвали именем писателя. Он там что, гулял, катался на лодке или ел мороженое, когда еще был не очень великим? Или он этот парк, как говорят взрослые, организовывал? Фу, какое слово «ор-га-ни-зо-вы-вал», похоже на длинный некрашеный забор, вдоль которого идет человек, забивает в рядок гвозди и пересчитывает их: ор-га-ни-зо-вы-вает доски».

— Иван Антонович, почему парк так назвали?

Я всегда обращалась к нему по имени-отчеству, как ко всякому чужому взрослому человеку. И хотя он к этому давно привык, каждый раз он едва приметно вздрагивал, и мне это было приятно. Иван Антонович снял фуражку, обтер ладонью загорелый лоб, покрывшийся каплями пота, и редеющие на темени волосы.

— Светик, ты же сама знаешь... Там можно погулять, посмотреть концерт или эти горки, на горках можно покататься... Поэтому и назвали парком культуры, ну и отдыха тоже...

— Но ведь раньше горок там не было? — съехидничала я.

— Да, не было.

На этом вопрос исчерпался.

Дробный стук колес, напоминающий отбойный молоток, врывался в приоткрытые фрамуги. Только вгрызался он не в асфальт или руду, а в меня. Это, наверное, покажется странным, но когда меня что-то раздражало, мне хотелось закрыть глаза и очутиться в своем любимом мире, где не было назойливых людей, требующих общения, и где жили спокойные и красивые морские звезды. Я так делала уже много раз. ...В этом мире всегда прохладно. Зеленая вода обволакивает тело. Белые волосы то мягко ласкают лицо, то колышутся сзади, как мантия,— в зависимости от того, на спине или животе я плыву. Без малейшего усилия я переворачиваюсь через голову и радуюсь своей ловкости. Ряд пузырьков отмечает мой след.

Какая-то рыба уставилась на меня в изумлении. Эту рыбу я не знаю. Для знакомства протянула ей палец, она быстро схватила его и, не сдавливая и не моргая, ждала, что же будет дальше. Какая любопытная! Я пощекотала ей под плавником. И тут рыба захохотала. Да, это выглядело именно так. Судорожно разинутый рот, выпученные глаза, быстро бьющий плавник. Она удирала от меня...

Потом я захотела поиграть со своей приятельницей, большой белой гладкой рыбой, которую я назвала струляндией. Обычно мы с ней закручивались волчком вокруг одной оси. Создавались маленькие боковые вихри, которые норовили выпихнуть нас со своих орбит. Кого выносило первым, тот проигрывал...

Внезапно звук исчез. Я все слышала, я же не спала. Я открыла глаза. Грохот остался в тоннеле. А поезд медленно вкатывался в аквариум станции «Ленинские горы».

Все стали глядеть на пляж. Там было много народа, гораздо больше, чем мелкой рыбешки под домом-валуном струляндии.

— Пойдем, дочка, искупаемся? — спросил отец.

— Я уже купалась,— ответила я и в который раз стала нащупывать в кармане, не завалилась ли туда морская звезда. Морской звезды не было. Морские звезды не могут жить на земле...

В парке было шумно и людно. Репродукторы наперебой создавали веселое настроение, карусели крутились по часовой стрелке и против, мороженым-пирожным торговали на каждой аллее.

Первым делом мы пошли на американские горки.

Узкий красный вагончик медленно тащился по железной спирали вверх. Я почувствовала некоторое разочарование. Моя подруга Машка явно преувеличивала, когда говорила, что самолеты, которые крутятся туда-сюда и вниз головой,— это пустяки по сравнению с горками. Уж лучше бы купили билеты в «Шапито»... Теперь, наверное, слона показывают. Тем временем вагончик вскарабкался на самую верхушку, замер на минутку, как мне показалось, набрал побольше воздуха и нырнул вниз. Кто-то взвизгнул. На первом трамплине смельчаки подпрыгнули и позеленели, на втором, кажется, совершенно разочаровались в своей смелости. Очередь заметно поредела.

— Прокатимся?

— Не стоит. Не хочется,— медленно, растягивая слова, ответила я и пристально посмотрела на Ивана Антоновича. Наверняка думает, что трушу.

— И хорошо,— неожиданно согласился он.— У меня гипертония, мне нельзя.

— А на подвесной карусели можно?

— На подвесной можно.

— А на самолете?

— На самолете не знаю. У нас на работе зимой проверка была. Сказали, перегрузки вредны. Ну, у нас, слава богу, какие перегрузки! Чертежи да расчеты...

На карусели мы все-таки прокатились. Целых три раза. И, конечно же, я вопреки приличиям начала чертить ногой в воздухе такие фигуры высшего пилотажа, что босоножка нырнула вниз, к кустам орешника.

Я запрыгала на одной ноге к кусту, но Иван Антонович опередил меня. В одной руке он бережно, как стакан с чаем, нес на ладони злополучную обувку, другую кренделем подставил мне, чтобы я цеплялась и не теряла равновесия. Хотя я потеряла его, по правде говоря, еще с утра...

Мы присели на зеленую скамейку, и Иван Антонович стал меня обувать, как маленькую. Мне было все еще смешно от высоты, воздуха и ощущения свободы в полете, и я позволила ему обувать себя, хотя это выглядело просто неприлично: взрослый человек обувает здоровую девицу. Он сидел скорчившись и пытался застегнуть пряжку, к которой надо знать особый секрет.

Я иногда позволяла себе поступать неприлично. В конце концов вовсе не я пригласила его гулять и оторвала от таких важных дел, как... Я постаралась припомнить, какие именно важные дела остались у меня дома. Ну, словом, от важных для меня дел.

Впечатление после полета стало проходить. Иван Антонович тяжело дышал, пряжка никак не хотела застегиваться. Воротничок резал ему шею, и она побагровела. Я рассердилась на себя.

«Дура. Злая дура. И все тут».

Я нагнулась и застегнула пряжку в один момент. Иван Антонович поднял голову, и наши глаза встретились. Мои, зеленые, явно злые, как у кошки, и его, как мне казалось раньше, бесцветные, а сейчас добрые, слегка удивленные и, как я убедилась в эту минуту, голубые. А бесцветными они выглядели просто из-за выгоревших добела ресниц и бровей.

— Я же только хотел тебе помочь...

«Господи, ну в кого только я такой колодой уродилась!» — проклинала я себя, не замечая ни тележек мороженщиц, украшенных воздушными шариками, ни стаек девушек в бумажных шапочках.

Нет, ничего, ну ни капельки нет во мне человеческого. Со мной отец идет, а я выпендриваюсь, выпендриваюсь... С чужими так не поступают... Неужели во мне даже голоса крови нет?

Я на секунду прислушалась и похолодела. Все во мне молчало, только в животе после карусели что-то бурчало. Из-за этого я разозлилась на себя еще больше и оказалась на той точке, когда человек считает себя законченным негодяем. По-моему, это иногда случается с каждым. И любой человек рядом тогда кажется ангелом.

«Господи,— угрызалась я,— вот идет со мной рядом прекрасный человек. Глаза добрые, искренние. У него же все на лице написано. У него даже плешь от того, что он умный. Математику любит. Хочет со мной по-человечески поговорить, вон как волнуется, даже руки вспотели... И потом, он же отец тебе. Неужели ты не чувствуешь, что он тебе нужен? Так должно быть... Ну, а зачем бы он мне мог пригодиться? — уже поспокойнее стала соображать я.— Ну, во-первых, если бы мы каждый день с ним жили, я бы делилась с ним. Может, о Мишке из 9-го «А» рассказала... Да если б он только к нам в школу пришел, все девчонки просто под парты попадали бы. Рост — во, плечи — во... От зависти полопались бы. С ним и в тайгу на охоту пойти не страшно. Медведь на меня напал — он медведя бах, тигра — бах... Нет, тигры вроде из другой оперы...»

— Папа, ты медведя убивал?

— А зачем? У нас он на просеку выйдет: ты на него поглядишь, он на тебя — и порядок, разошлись... Вот Яшка — другое дело. Яшку мы прошлой весной молоком отпоили, когда его мать какой-то охотничек возле самой берлоги завалил...

— Светка?!

Мы чуть не столкнулись лбами от неожиданности.

— Ты чего здесь?

Если бы я встретила Машку полчаса назад, уж я бы постаралась вовремя улизнуть на другую аллею и не показывать ей Ивана Антоновича. Хотя именно с Машкой, а не с кем другим я пошла бы при случае в разведку. Но сейчас я была даже рада показать такого замечательного отца Машке. «Вот он, голос крови»,— в доли секунды пронеслось в голове. Говорят же, что перед казнью человек за секунду всю свою жизнь вспомнить может.

— С папой гуляю,— выпалила я с неожиданной страстью.— Он из тайги, там работает, раньше не мог приехать, все время письма писал, а теперь приехал, и мы гуляем. Он медведя весной голыми руками поймал, вот такого...

У Ивана Антоновича округлились глаза. Машка почувствовала себя не в своей тарелке.

— Ну... забеги как-нибудь, как освободишься... До свидания.— В полном столбняке Машка даже шаркнула ногой, чего за ней с рождения не водилось.

— Светка, что с тобой? — обнял меня за плечи Иван Антонович, когда Машка со скоростью привидения исчезла за ближайшим киоском «Союзпечати».

Я хлюпнула и пожала плечами. Действительно, чего я распсиховалась? Нет, голоса крови во мне нет, я все придумала. Видно, я совсем пропащая. Слишком современная. Печать времени, вот как это называется. И бороться с ней нет никаких сил.

Я скосила глаза на кончик носа. Так и есть, покраснел.

— Дайте лучше платок, Иван Антонович. Это нервы.

— Слушай.— Он попытался улыбнуться.— А не пообедать ли нам? От нервов, говорят, помогает...

Я сердито кивнула головой.

— Куда прикажет дама?

— В ресторан...

...Струляндию я нашла, раздвинув кусты синей маковии. Она дремала на большом плоском камне.

Увидев меня, она дружелюбно колыхнула плавником. Придонная мелочь тут же разбежалась во все стороны. Я продвинулась ближе, но она вдруг забеспокоилась и как-то странно покосилась на мою левую руку. Я тоже взглянула. Надо же! Та, любопытная, все-таки зацепила указательный палец. Какая неприятность! Струляндия, конечно, и виду не покажет, слишком мы с ней в хороших отношениях, но ведь она рыба, а любой рыбе, если она не акула, неприятно глядеть на кровь. Я сделала знак, что заплыву позже, и побыстрее отправилась прочь, зажав ранку...

На этот раз мне даже не понадобилось открывать глаза — они были и так открыты, только чуть раньше я видела струляндию, а сейчас меня как бы переключили, и я поняла, что Иван Антонович ждет ответа.

— Так почему же ты не поехала в лагерь? — повторил он, застыв с наколотым на вилку куском хлеба. Солянка на сковородке стыла. Мне надо было ответить.

— Машка скарлатину подхватила, мы и не поехали...

— А одной слабо́?

Я подняла левую бровь, как это делала мама, когда при ней говорили что-нибудь несусветное.

— Значит, Маша тебя хорошо понимает?

— Лучше, чем другие...

Иван Антонович опустил глаза и стал медленно подбирать остатки соуса коркой пшеничного хлеба...

Потом мы еще долго ходили где-то, Иван Антонович рассказывал мне что-то, и иногда я даже отвечала ему, но все это было так мелко и ненужно, как пересчитывать ступеньки на лестнице, по которой ты поднимаешься во сне...

— Гляди-ка, дочка, рыба! В Москве-реке рыба! — повернул ко мне завороженное лицо Иван Антонович. Я с трудом отвела глаза от сверкающей воды.

— Тише, вы,— не отводя глаз от удилища, проворчал мальчишка в надетой козырьком назад велосипедной кепке.

— Конечно, конечно,— виновато отозвался Иван Антонович.— Просто я давно не ловил, увидал — и сердце зашлось.— Последние слова он сказал едва слышно, для себя.

— Разве у вас не ловят? — осторожно поинтересовалась я.

— Еще как! Тайменя красного, семгу, ленка. Меньше полпуда не рыба считается... А ты, дочка, что, рыбу ловить любишь?

— Нет. Я рыбу люблю, когда она не на крючке...— как можно безразличнее отозвалась я и подумала: не выдала ли я нас со струляндией чем-нибудь.

— А я люблю. Таймень, тот из воды сам прыгает, танцует. На свою голову рыболову место указывает. Я его, глупыша, не ловил вовсе. Чего там ловить? Он на одном месте крутится. Сорвется с крючка, казалось бы, уноси ноги подобру-поздорову, так нет, на то же место возвращается. Его любой, у кого сила в руке есть, как телка на веревочке приведет, да еще и хвалиться будет. Я, дочка, голубую семгу уважал, хотя она гораздо меньше весу тянет. С ней вроде схватки получается. Ты ее или она тебя. Она то за камни удерет, то в пороги бросится — леску оборвет. Я за ней часами мотаться могу. Словишь — ты сильнее, уйдет — рано, значит, тягаться, подучиться надо. Один только раз изменил я семге. Поспорили наши ребята, кто из них рыболов лучше. И я с ними, не подумав, увязался. Вышли на место. Час хожу со спиннингом.



другой, ни одной поклевки. Вдруг схватил таймень. Не свою наживку, а схватил. С голодухи, видно. Ладно, думаю, пусть хоть таймень будет. Правду сказать, этот поумней оказался. Долго меня водил, а под конец так рванул — пальцы катушкой обожгло. Часа два боролись, измотал он меня, но и сам устал. Я его на берег. Он лежит и плавниками тихо-тихо шевелит... Вдруг на том месте, где он из воды сигал, самка ка-ак прыгнет! Брызги летят, а она прыгает, прыгает... И хоть знаю, что они парами не ходят, тут что-то на меня нашло. Если я его убью, думаю, то ей некого будет ждать. А это плохо, когда некого ждать. И отпустить подранка нельзя. Долго сомневался, но так и не спихнул, удержался. Только на рыбалку с тех пор уже не ходил...

«Когда некого ждать...» — тупо повторяла я про себя.

Если еще час назад я чувствовала себя человеком, который заявился на бал в сапогах, то теперь я выскочила из сапог и оказалась в нормальных лакированных туфлях. Я хочу сказать, что я незаметно для себя, как говорит Машка, влезла в свою тарелку. И из этой самой тарелки увидела грустного, неустроенного человека, которому ждать некого, а он все равно с бессмысленным постоянством ждет и каждый раз натыкается на пустые углы, и они кричат ему: ты один, ты один, ты один... Я увидела человека, которому я нужна, и уже не имеет значения, нужен ли он мне, и многое не имеет никакого значения. И все это глупости, а главное то, что я нужна ему так сильно, что без меня он, как та рыба, ляжет на берегу и помрет от тоски. Может, я неправильно объясняю, но тогда мне казалось именно так...

Душная пелена спала. Дышалось легко и спокойно, потому что пошел внезапный летний дождь. Он смягчал пыльную землю, лакировал асфальт и листья, бил фонтанчиками по воде. Дождь, блестящий, как чешуя семги или струляндии.

Прохладные пряди легли на лоб, как компресс. Впервые за весь день мне стало хорошо. Я могла стоять под дождем целую вечность, если бы не отец. Он никогда не думал о себе и мог простудиться.

Я набрала полные легкие свежего мокрого воздуха и дернула его за рукав. Мы побежали, перескакивая через лужи, в Нескучный сад. В одном месте я поскользнулась, и отец поддержал меня. Его ладонь была широкая, жесткая, а главное, очень надежная. Такая, как иногда у мамы или Машки.

Мы встали под раскидистое дерево. Если обхватить его ствол руками, то можно представить себе, что держишь огромный зонт. С концов зонта струилась мокрая, блестящая бахрома. Она очерчивала вокруг нас странный, загадочный круг. Все остальное осталось там, вне круга, стало не таким важным. А мы были здесь. Два родных человека. Отец и я.

Мы стряхивали с одежды еще не успевшие впитаться капли, смотрели друг на друга и смеялись... Потом мое внимание привлекло то место на его рубашке, где была пуговица, а сейчас только кустик ниток. Должно быть, потерял под дождем. Я долго, не отрываясь, смотрела на этот жидкий кустик...

...Вечером я приплыла к струляндии. Играть на этот раз мы не стали. Я сказала ей:

— Я нужна ему. Понимаешь?

Струляндия строго глядела на меня оранжевым глазом, словно настороженный светофор перед тем, как зажечь зеленый или красный огонь.

●



КНИГА НА СТРОЙКЕ

Константин Александрович Федин подарил молодым строителям железной дороги Тюмень—Сургут свою книгу — роман «Костер». Недавно комсомольский штаб стройки вручил подарок писателя лучшей на трассе библиотеке в далеком таежном поселке Усть-Юган.

...Я хорошо помню, как все начиналось там, на Усть-Югане. Это было совсем недавно, несколько лет назад. Тайга, сугробы по подбородок, горстка — два-три десятка — людей. Метель, ветры, заблудившиеся трактора, рация, у которой почему-то всегда садились батареи. Грузы по зимнику и неизменный первый вопрос встречающих: «Ну, что привезли?»

Шла техника и стройматериалы из Сургута и с берега Юганской Оби. Санно-тракторные поезда тащили продукты, оборудование. Надо было торопиться. Погожие деньки были в эту пору наперечет. Завьюжит — и пропадай дело...

Торопились, не жалели сил. На машины, на тракторные сани напихивалось всего сверх меры. Рейс туда — сейчас же назад... «Ну, что привезли?» — недолго любопытствовали, толпились у грузов первые устьюжане. И уже примеривались деловито к тюку или ящику. И охали, приседая под тяжестью. Тянулась цепочка к складу, где хлопал под свежим ветром брезентовый полог.

Я жил в вагончике, который днем был красным уголком, парикмахерской, еще и библиотекой. На ночь я ставил здесь раскладушку. А если приходил совсем поздно и в вагончике не было света, стелил прямо на читальном столе, подкладывая под голову

старые подшивки... Я все не мог понять: почему вдруг библиотека? Книжек-то видно не было. Красный уголок — это похоже. Были плакаты, шахматные доски, кипа потрепанных журналов. И парикмахерскую можно было угадать — запах «Шипра», огромное самодельное кресло... А вот книг...

Не увидел я их и в очередную субботу, когда набился в вагончик народ. И пришла девушка с сумочкой. Библиотекарь. В сумочке — стопка формуляров. Затолпились ребята, все хотят поближе к столу. «Тихий Дон» у Иванова. Спиши... Беру Гоголя. Ага, у Федченки...» Вот так каждый. И по-прежнему не видно книг. Заочный обмен...

Сегодня — тысячи экземпляров в Усть-Юганской библиотеке. И свой в поселке книжный магазин. А тогда на всех приходилось двадцать — тридцать книжек. Чего ж их в библиотеку сдавать? Ходили по рукам. А формуляры так, для порядка.

Я помню и другое. Парень-тракторист читал половинку гоголевской «Шинели», и я спросил его: «На махорку раскрутили-то другую половину?» А он обиделся и сказал, что это как кусок хлеба — пополам, когда голодно. И что он на очереди за второй частью, а у него у самого ребята тоже давно «Шинель» забили...

Главный механик Усть-Юганского СМП Петр Осипов говорил в те дни мне: «В тайге книга, она все. Пока театра, кино, телевидения на трассе нет, книга на вес золота. Она компактна. Никаких тебе подмостков, экранов, киноустановок. Был бы белый свет, потребность в чтении да книга...»

Была, была потребность, а вот книг-то не было. И приходилось выходить из положения так, как в Усть-Югане. Или как сделал мой хороший товарищ Валентин Солохин, начальник пятнадцатого мостоотряда. Он скупил (без всяких преувеличений) книжный магазин в Тобольске, и потом уже под Сургутом «открыл» у себя на дому библиотеку для своих рабочих...

Это верно, что в тайгу, в глухомань перво-наперво надо забрасывать технику, и материалы, и оборудование — без них не освоишь края. Но ведь верно и другое: в Тюменской области общеобразовательный уровень гораздо выше, нежели во многих традиционных областях России. А значит, потребность в книге, в чтении бóльшая. (Надо к тому же учесть, что здесь по-прежнему не густо с театрами и кинозалами. Нечем компенсировать книжный голод.) В прошлом году на севере Тюменской области на каждого человека было продано книг всего на два рубля пятьдесят копеек. Снижаются фонды на учебники для вузов и техникумов, тогда как количество учащихся растет. Управление рабочего снабжения стройки Тюмень — Сургут только второй год торгует книгами и на ничтожную в общем-то сумму — до десяти тысяч рублей... И неизменен вопрос, которым встречают тебя знакомые в тайге, на трассе: «Ну что, книжку привез?»

Комсомольский штаб стройки решил по справедливости. В Усть-Югане сегодня замечательная библиотека. И актив там замечательный. Двадцать два человека постоянно помогают комсомолке Доминике Рогожану — проводят читательские конференции, литературные вечера. Сами, не дожидаясь Книготорга, закупают на Большой земле книги и учебники.

Здесь, в Усть-Югане, и прежде понимали и понимают теперь: книга для стройки не роскошь и не баловство. Она составная часть жизни на дороге. Без книги невозможно движение и развитие молодого человека-строителя. Без книги немыслим и успех дела.

КОНСТ. ФЕДИН

Костер

РОМАН

Молодым строителям железной дороги Тюмень — Сургут с пожеланием успеха, счастья, неизменного здоровья

Конст. Федин

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА [illegible]

Октябрь 1972 г. под Москвой

В прошлом году известные советские писатели и поэты, авторы «Юности», передали стройке библиотечку из своих книжек. Когда библиотечка собиралась, были сомнения — не окажется ли она парадной? Для пятнадцатитысячного коллектива двести — триста книжек — капля в море.

Разговор особый, как распорядился штаб подарком писателей. (К примеру: книги из библиотечки вручали победителям конкурсов по профессиям, передовикам молодежного социалистического соревнования, и не было для ребят награды дороже.) Важно подчеркнуть общественную сторону писательского почина, сказать о том, что уже сегодня он поддержан. Ученики 249-й московской школы собрали солидную библиотеку для ударной комсомольской стройки, и, очевидно, это далеко не последний отклик. Общественная озабоченность проблемой «книжного голода» на стройке наверняка будет стимулировать плановые и торгующие организации, задача которых — этот «голод» в конце концов ликвидировать.

А. ФРОЛОВ

МИХАИЛ ИСАКОВСКИЙ



ТАК ПРИШЕЛ ОН В НАШУ ЖИЗНЬ...

1

Первый раз я встретился с Александром Трифоновичем Твардовским, а точнее, с Сашей Твардовским, зимой 1926 года, в январе или феврале, тогда ему было неполных шестнадцать лет.

В Смоленске проводился губернский съезд селькоров, на который пригласили и Сашу Твардовского — селькора с почти уже двухлетним стажем.

Во время обеденного перерыва на съезде ко мне в редакцию газеты «Рабочий путь» он и пришел. Это был стройный юноша с очень голубыми глазами и светло-русыми волосами. Одет был Саша в куртку, сшитую из овчины. Шапку он держал в руках.

Сейчас не сохранилось того дома по улице Карла Маркса, в котором помещалась редакция «Рабочего пути». Но я отлично помню, в какой комнате мы встретились; помню большой стол, покрытый почему-то черной клеенкой, за которым я работал и за который рядом со мной — плечом к плечу — сел Твардовский. Он дал мне несколько старательно переписанных стихотворений, и я стал читать их.

Стихи Твардовского мне понравились. Конечно, они не были совершенны, как и стихи всякого начинающего поэта, но тем не менее нетрудно было заметить, что Твардовский пишет не так, как другие: он по-своему видит описываемое в стихах и старается говорить своими словами, не прибегая к установившимся шаблонам стихотворной речи. В этом смысле стихи были поэтически свежими, в своем роде оригинальными, мало похожими на те стихи так называемых крестьянских поэтов, которые печатались в то время в больших количествах.

Если не изменяет мне память, я выбрал для «Рабочего пути» два стихотворения, которые показались мне наиболее удавшимися, и попросил редакционного художника, чтобы тот нарисовал портрет автора.

Стихи с портретом появились то ли на следующий день, то ли спустя еще один день. Напечатаны они были на очень видном месте — на третьей странице сверху в правом углу.

И я думаю, что Саше Твардовскому было приятно вернуться домой со съезда селькоров уже в качестве поэта, которого печатает губернская газета, печатает даже с портретом.

2

В следующий раз я встретился с Твардовским в двадцать восьмом году под осень. Он приехал, чтобы устроиться на работу. И, конечно же, больше всего ему хотелось работать в газете. Об этом он просил и меня.

Однако ни я, ни кто-либо другой ничего не могли сделать. В то время существовала еще безработица, и желающих найти работу было много. А у Саши не было к тому же никакой специальности.

Что касается редакции газеты «Рабочий путь», то взять его туда было тоже невозможно. В то время весь штат редакции состоял из восьми или десяти человек. Включить в штат еще хотя бы только одного человека газета не могла: она и без того приносила убыток и никаких дотаций ни от кого не получала. И было поэтому не до расширения штатов.

Об этом я и начал говорить Саше Твардовскому, когда тот, встретив меня на улице, завел речь об устройстве на работу в редакцию. И, между прочим, я посоветовал ему:

— А почему бы вам (мы тогда были с ним на «вы») не поехать обратно домой? Подождали бы там, пока положение не изменится к лучшему, а потом можно было бы подумать и о работе в Смоленске.

— Нет,— решительно ответил Твардовский,— домой я не поеду. Попробую все-таки остаться здесь...

И он остался в Смоленске, хотя приходилось ему иногда очень плохо. Он скитался по чужим углам и жил за счет грошового гонорара, получаемого им за стихи, изредка печатавшиеся в смоленских газетах.

К этому времени, то есть к концу двадцать восьмого года или к началу двадцать девятого, относится одно событие, которое мне хорошо запомнилось. На собрании смоленских литераторов Твардовский читал свои новые стихи, и мы, участники собрания, обсуждали их.

Среди прочитанных было стихотворение «Уборщица». По содержанию да и по форме стихотворение самое незамысловатое. В нем говорилось о том, как уборщица приводит в порядок комнату, где только что окончилось заседание, как она ставит на место венские стулья, сдвинутые как попало. Но в незамысловатости стихотворения было нечто такое, что мог вложить в него только Твардовский. Уборщица ставила на место не просто венские стулья, а стулья е щ е т е п л ы е от только что сидевших на них людей. Заприметить подобную деталь и сказать о ней мог только поэт с большой поэтической зоркостью.

Эта зоркость весьма характерна для поэзии Твардовского. Возьмите любое его произведение, и вы найдете в нем столько деталей, столько самых неожиданных красок! Мы сами наверняка не заметили бы этих деталей и красок, если бы нам не подсказал их Твардовский. И подобный «подсказ» начался у него еще в юные годы.

Мне вспомнилось сейчас стихотворение Твардовского о наступлении осени, стихотворение, написанное в 1943 году. Начинается оно следующей строкой:

В лесу заметней стала елка...

Собственно, дальше об осеннем лесе можно и не говорить. Все ясно само по себе: листва облетела, деревья стоят почти голые. Лишь немногие желтые листки, оставшиеся на ветках, трепещут от ветра. Лес стал как бы прозрачным, он весь как бы просматривается насквозь. И в нем то тут, то там видна яркая зелень елки (слово «елка» Твардовский упот-



М. Исаковский и А. Твардовский на прогулке.

ребил как собирательное), той елки, которая летом была скрыта густо разросшейся листвой и только теперь «стала заметней».

Пример этот, конечно, не единственный и не самый значительный. Но и он показывает, как зорко видел мир поэт Твардовский и как хорошо и достоверно описывал он то, что попадало в поле его зрения.

3

Саша Твардовский не удержался все же в Смоленске: уж очень плохо приходилось ему там. И он решил попытать счастья в Москве. Как жилось ему в столице, я могу судить лишь по небольшому письму, которое получил от него, по-видимому, в начале тридцатого года (точной даты па письме нет, а конверт не сохранился). Кстати сказать, это письмо было самым первым, полученным мной от Твардовского. Вот что писал он мне:

«Уважаемый Мих. Вас.!

Приветствую Вас от имени московского пролетариата. Я жив, здоров, очень весел. Всего этого желаю и вам — (Один раз большое «В», другой — маленькое!) —

Михаил Васильевич! Напишите мне по возможности длинное письмо, в коем вы отобразите текущие смоленские события, свою работу и т. д. и т. д.

У вас в «Чудаке» идут стихи. Там же на днях появится мое «Варенье». Больше нигде мне не удалось приткнуть этого стихотворения. В общем стишки мои идут помаленьку. Смотрите ближайшие №№ Прожектора, Огонька, Октября. Работаю старательно, несмотря на не весьма удобные жилищные обстоятельства, ну, да на днях я поселюсь в с в о е й о т д е л ь н о й комнате, где на двери будет укреплена дощечка:

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ.

Пролет. поэт
19 лет.

Жму вашу трудовую руку!
Так пишите, дорогой!
Адрес: М-ва, 9, Тверская, 38, кв. 211.

Я».

Письмо Твардовского, хотя и было написано с юмором, даже с известной долей игривости, свидетельствовало все же о том, что жилось молодому поэту в Москве нелегко. Печатали его редко и мало, а той самой с в о е й, о т д е л ь н о й комнаты, о которой писал с такой надеждой, он так и не дождался.

И в тридцатом году «пролет. поэт 19 лет» (хотя тогда ему было уже 20) снова оказался в Смоленске. Он нашел себе работу в журнале «Западная область» (был такой журнал. Тогда и сама область называлась не Смоленской, а Западной). Кроме работы в журнале, молодой поэт часто ездил в командировки в качестве корреспондента газеты «Рабочий путь». Ездил он преимущественно в колхозы, писал корреспонденции, очерки и, конечно же, стихи.

Но я в это время переехал на работу в Москву, и личные встречи с Александром Трифоновичем у меня прекратились.

4

Но именно в эту пору между Твардовским и мною возникла та большая дружба, которая длилась несколько десятилетий.

Пожалуй, началась она с переписки. Писали мы друг другу очень часто, рассказывали в письмах о своих делах, о планах на будущее, посылали друг другу стихи. И, конечно, помогали один другому всем, что только было в наших возможностях.

Из Москвы я часто приезжал в Смоленск. Во время таких приездов мы с Твардовским были почти все время вместе. Вместе мы совершили и несколько поездок по Смоленской области. Дважды — летом тридцать шестого года — побывали в моих родных местах, во Всходском районе. Там Александр Трифонович на районном слете участников художественной самодеятельности перед пятью тысячами собравшихся с необычайно большим успехом читал главы из еще не напечатанной тогда «Страны Муравии».

В 1935 году Александр Трифонович решил показать мне «свой» колхоз. Своим он называл его по той причине, что много раз бывал в нем, писал о нем, подолгу жил там. Колхоз этот, находившийся в селе Рибшево и получивший название «Память Ленина»,

Твардовский знал настолько хорошо, что лучше, вероятно, и нельзя знать. Он знал не только хозяйство колхоза, не только руководителей его во главе с председателем Дмитрием Прасоловым, но он знал всех колхозников и колхозниц, знал их характеры и наклонности, знал, кто и как жил раньше — до колхоза.

В писательской среде мы много говорим и говорили, что писатель должен знать жизнь народа. Для Твардовского этой проблемы никогда не существовало. Жизнь деревни он знал во всех подробностях, знал даже то, что знать совсем не обязательно,— разные курьезные и некурьезные случаи из жизни колхозников.

Приехав в Рибшево, мы остановились с ним в хате-лаборатории — никакой гостиницы в колхозе, конечно, не было. Утром я увидел, как присматривавший за лабораторией дед принес большую охапку сухих березовых дров и затопил русскую печь, которая занимала, пожалуй, четвертую часть площади всей хаты-лаборатории.

Я удивился, зачем в такую жару (температура днем доходила до плюс тридцати градусов) надо топить печь да еще такую большую. А потом шутливо спросил Твардовского:

— Может, этот дед варит себе еду сразу на целую неделю?

— Если б это так, то еще ничего б,— с некоторой загадочностью ответил Твардовский.— А то ведь он затопил печку и извел столько дров только затем, чтобы сварить себе на завтрак одно-единственное куриное яйцо. Вот он какой дед!

Признаться, я ни за что не заприметил бы, что дед топит огромную печь из-за одного яйца. А Твардовский примечал все, даже самые незначительные мелочи.

Вспоминается и другой случай, связанный с поездкой в колхоз «Память Ленина».

Еще раньше Твардовский писал мне, что в колхозе три автомашины — две грузовых и одна легковая. К слову *легковая* он прибавлял еще одно слово — «антилопа».

В Рибшеве я вспомнил об «антилопе» и спросил у Александра Трифоновича, почему он называет легковую колхозную машину точно так же, как в книге Ильфа и Петрова «Золотой теленок». И мой друг рассказал мне удивительную в своем роде историю.

Еще во время первой мировой войны, по-видимому, летом семнадцатого года, молодой солдат-шофер угнал с фронта небольшой грузовичок и тайком, ночью пригнал его в Рибшево своему отцу. Той же ночью машину со всеми предосторожностями загнали в самый угол сенного сарая и забросали ее сеном.

Машина была совсем ни к чему в крестьянском хозяйстве. Да и показывать ее было опасно. Но отец солдата все же никак не хотел расставаться с ней. «Может, на что пригодится»,—думал он и продолжал скрывать автомашину в сенном сарае.

Так и простоял в нем фронтовой грузовичок более десяти лет. Он был обнаружен лишь тогда, когда началась коллективизация.

Председатель колхоза Прасолов, как мог, привел в порядок эту неожиданно оказавшуюся в колхозе автомашину. Колхозный плотник сколотил из досок новый, уже «легковой» кузов, и машина заработала. Вот откуда взялась эта самая «антилопа», на которой Прасолов совершал свои служебные поездки. Ну, а название «антилопа» дал, конечно, Твардовский. Оно так понравилось колхозникам, что те иначе и не называли свою машину, как только «антилопой».

История совершенно необычная и редкостная. Но Александр Трифонович знал и ее.

Он, однако, не только рассказывал мне разные истории, имеющие отношение к колхозу «Память Ленина», но показывал и его хозяйство, поскольку председатель (на «антилопе»!) уехал куда-то по делам и в Рибшеве его не было.

Мы ходили с Александром Трифоновичем по полям и лугам, смотрели колхозное стадо, разговаривали с пастухом. Но с особой радостью показал мне Твардовский озеро, которого не было еще год тому назад. Оно образовалось по воле колхозников, соорудивших плотину на небольшой речке. Озеро — большое, многоводное, красивое. В нем завелась уже и рыба.

5

Несомненно, глубокое знание истории возникновения многих колхозов Смоленщины, знание жизни колхозников и натолкнуло Твардовского на мысль взяться за поэму «Страна Муравия». Писать это произведение он начал в тридцать четвертом году, когда ему было двадцать четыре года. И уже с первых глав «Страны Муравии» стало очевидным, с каким талантливым, я бы даже сказал, с каким особо талантливым и самобытным поэтом мы имеем дело.

Еще не окончив поэмы, Твардовский часто читал мне то, что он уже успел написать.

Эти чтения, проходившие то в Смоленске, куда приезжал я, то в Москве, куда приезжал иногда Твардовский, я очень любил: в них всегда открывалось что-то новое, чего ты еще не знал и о чем никто еще не писал. Главное же — не писал так, как мог написать лишь один Твардовский.

А в тридцать шестом году Александр Трифонович читал «Страну Муравию» в Москве, в теперешнем Доме литераторов, в присутствии большого количества писателей.

Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что чтение это прошло не просто хорошо, оно прошло триумфально.

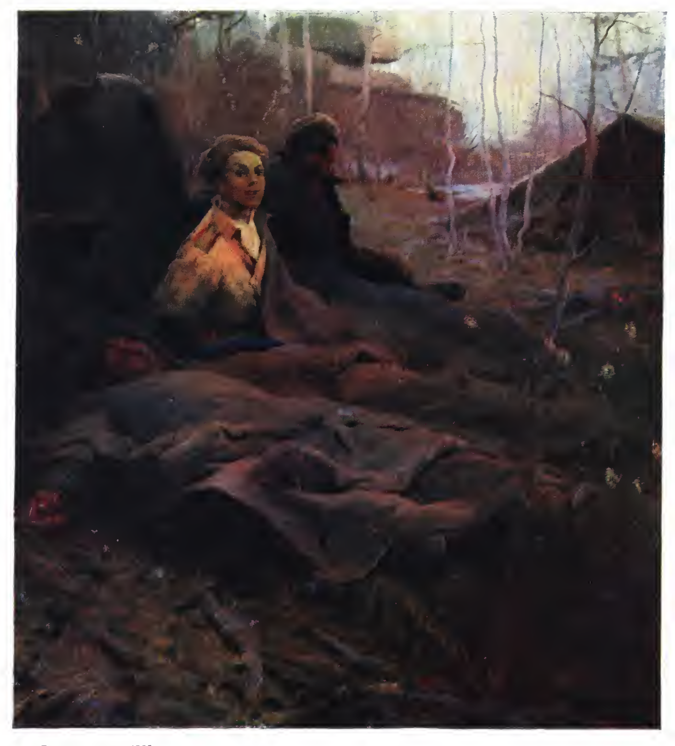
«Страну Муравию» напечатал журнал «Красная новь». А автору поэмы, поступившему для продолжения образования в Институт философии, литературы и истории (сокращенно ИФЛИ), Союз писателей назначил особую стипендию.

Поэма Твардовского сразу же получила широчайшее распространение. Высокую оценку дала ей и критика. И очень скоро «Страна Муравия» была включена в вузовские программы: студенты должны были изучать ее наряду с произведениями классиков и лучшими произведениями советской литературы.

Создалось любопытное положение: студент Твардовский при окончании института (а он его окончил в 1939 году) на экзаменах мог вытащить такой билет, по которому он должен был бы рассказать экзаменаторам о произведении поэта А. Твардовского «Страна Муравия». Случай, как мне кажется, небывалый в истории литературы...

Вот так пришел в нашу жизнь самый лучший наш поэт — поэт огромного таланта Александр Трифонович Твардовский.

●



Дыхание весны. 1955.

Из произведений заслуженного художника РСФСР Б. М. Неменского.

Земля опаленная. 1957.

Тишина. 1965.



Лара. 1972.



В стране голубых стрекоз. 1972.



АЛЕКСАНДРА ПИСТУНОВА

ТЕМПЕРАТУРА ЧУВСТВА

О живописи Бориса Неменского всегда много спорят знатоки искусства, художественные критики, писатели, широкая зрительская аудитория. Каждое его полотно вот уже почти четверть века вызывает активный общественный интерес. Отчего же так? Видимо, картины этого мастера по-особому волнуют наши сердца. Но чем? Неменский не увлечен формотворчеством: не ищет рискованных цветосочетаний, резких композиционных приемов, странных образов. Его рассказ прост — художник повествует лишь о том, что каждый в состоянии наблюдать непосредственно, и его сюжеты как будто легко можно назвать жанровой живописью.

Восемнадцатилетним мальчиком придя на войну, прошагав по передовым почти четыре года, оставив поразительный дневник фронтовых зарисовок, Неменский начал свой путь с того постижения жизни в ее острых ситуациях, которое определило его тему. Эта тема — назовем ее исследованием температуры чувства — всегда была единственной для художника.

Сиротство старой матери, нежное покровительство раненым девочки-медсестры, красота внезапно открывшегося солдату весеннего лесного мира, горькая боль и мука защитника Отечества от ощущения опаленной родной земли... Таковы были «военные» сюжеты Неменского, выполненные спустя годы после боев, оставшиеся в глазах художника не памятью о факте, но памятью о состоянии души.

Затем пришли иные сюжеты, «мирные»: к огромному окну нового дома прижималось бескрайнее голубое небо, и букет полевых цветов возле стекла казался лохматой веселой птицей молодости и бесконечной жизни; юная мать обнимала свернувшегося возле ее руки рыжеголового малыша, они спали вдвоем, и это явление новой, такой обыкновенной и такой прекрасной спящей мадонны что-то тихо открывало внутри тебя, какую-то музыку, похожую на клавесин Люлли (я заметила, что на выставке Неменского люди говорили шепотом возле этой картины, наверное, боялись спугнуть очарование легкого сна); мальчишки и девчонки в пионерской форме сидели перед вечером где-то в предгорьях — в Крыму или в Карпатах — и пели и напоминали издали цветы, брошенный на луговину гигантский венок; и еще множество человечьих лиц, напряженно вслушивающихся в живые звуки мира,— девушки, женщины, рабочие парни, подростки, просветленные, перешагнувшие какой-то духовный, нравственный порог новые люди.

Нет, это не просто жанровая живопись. Такая распахнутость души, такая высокая температура чувства! Александр Бенуа называл подобную экспрессивную манеру романтическим реализмом, и, вероятно, это определение может в какой-нибудь мере соответствовать и искусству Неменского. Теперь мы почти подошли к спорам вокруг этого художника. Как назвать его яростное вторжение в жизнь человеческого сердца? Вправе ли увлекаться такими состояниями пластическое искусство живописи? И почему этого мастера больше волнует «что сказать», чем «как сказать», и вроде он вовсе не занят пятном, линией, ракурсом — обычными задачами художника?

Борис Неменский написал однажды: «Искусство живет не только трудом и мыслями художников, оно в такой же мере живет трудом и мыслями зрителей», и самая большая радость от его живописи — ощущение этого «в такой же мере», ощущение зрительской личной причастности к священным играм Аполлона.

Я не случайно употребила древнее понятие о «священных играх». По легенде Аполлон покровительствовал всем искусствам, не разъединяя их, но соединяя собою. Важно ли это сегодня? Очень важно. Вот почему афористическая образность, емкая поэтика Неменского, его замечательная театральность, крупные планы душевных состояний его героев побуждают зрителя думать о жизни и о красоте, заставляют его находить систему мировоззрения, систему пристрастий.

Перешагнув границы быта, живопись Бориса Неменского стала, по существу,— хотя это и несколько громко сказано,— исторической. И это качество определено не только ее участием в формировании духовной жизни советских поколений, но констатацией этой жизни — ее эстетики и этики, ее стремления к высокому идеалу. Жанровое у Неменского стало эпическим, границы факта раздвинуты его кистью, заметившей, казалось бы, локальное, сиюминутное: чье-то волнение, печаль, восторг, мечту. Температуру чувства, которым жив человек.

ФЕЛИКС
КУЗНЕЦОВ

КАК ЧЕЛОВЕКУ ЧЕЛОВЕКОМ БЫТЬ



ВЕЧНЫЙ СПОР...

В пьесе Ч. Айтматова и К. Мухамеджанова «Восхождение на Фудзияму», поставленной театром «Современник», старая учительница Айша-апа, характер в спектакле наиболее высокий, сильный и цельный, читает давнее стихотворение одного из своих учеников, Сабура:

> Нет, нескончаем вечный спор:
> Как человеку человеком быть?..
> Кто навязал нам этот спор?
> Кто ниспослал нам вечный спор:
> Как человеку человеком быть?..

Когда один из героев пьесы говорит, что его эти стихи не задевают: «Слишком абстрактная постановка вопроса. Нет примет времени. О каком человеке идет речь?»,— другой с жаром ему отвечает: «А я в этом вижу их достоинство. Они общечеловечны. Наш социальный опыт позволяет нам говорить уже от имени всех, от всего рода человеческого. Ведь никто еще, никакое общество не прошло такого пути, как мы...»

Эта тема — право и обязанность советского художника поднимать в своем творчестве сложнейшие философские, в том числе и общечеловеческие вопросы современности,— звучит в спектакле «Восхождение на Фудзияму» с полемической остротой. Думается, что за этой полемичностью и личный опыт одного из авторов пьесы, Чингиза Айтматова, написавшего одно из глубоких философских произведений наших дней — повесть «Белый пароход». «Восхождение на Фудзияму» и «Белый пароход» при всей разительной несхожести жанров и жизненного материала тем не менее связаны между собой неуловимыми тугими нитями и в первую очередь характером постановки в них нравственно-философских проблем. При ближайшем рассмотрении вопросы, поставленные в них, оказываются вместе с тем и глубоко социальными, актуальнейшими вопросами, нервом жизни сегодняшнего дня.

Важно понять и осмыслить эту диалектику общечеловеческого и социального в «Белом пароходе» и «Восхождении на Фудзияму». Иначе возникают крайности, подобные той, которая проявилась в диалоге о «Белом пароходе» между Вл. Солоухиным и Д. Стариковым в «Литературной газете» (1 июля 1970 г.).

Как уже замечал в статье «Причастность» критик Вл. Воронов (см. журнал «Юность», № 12, 1970), и Вл. Солоухин и Д. Стариков в этом своем диалоге в равной мере свели «Белый пароход» Ч. Айтматова к «противоборству абстрактных сил». Оба они увидели в повести общечеловеческое вне социального, только Вл. Солоухин на этом основании оценил «Белый пароход» восторженно, а Д. Стариков полностью не принял его. Кто из них прав?..

Вопрос этот, как и спор вокруг «Белого парохода», не ограничившийся диалогом Вл. Солоухина и Д. Старикова и активно продолжающийся и сегодня, имеет сугубо современное звучание. По сути дела, этот вопрос и этот спор — о нашем отношении к духовным и нравственным ценностям, о принципиальном различии в их толковании.

В ЧЕМ СУТЬ РАЗНОГЛАСИЙ!..

Вчитаемся еще раз в статью Вл. Солоухина «Сказки пишут для храбрых». По его мнению, повесть «Белый пароход» о водоразделе, который пропастью отделяет старого Момуна и мальчика, его внука, живущих на далеком и глухом лесном кордоне, от объездчика Орозкула и других. «В чем же заключается то главное, что есть у старика и мальчика и чего нет у других людей, живущих рядом с ними, и что в конечном счете определяет характер и поведение, слова и поступки как тех, так и других?» — спрашивает Вл. Солоухин.

«Берем быка за рога и отвечаем: да, у Момуна и мальчика есть нечто, чего нет у других. Это нечто есть элемент духовности в жизни. Постепенно мы будем подыскивать название этому элементу и найдем несколько названий (хотя, может быть, и не все)»,— предупреждает Вл. Солоухин. «Названия» этого «элемента» духовности выстраиваются Вл. Солоухиным в такой ряд: «Мечта»; далее, поскольку «мечты» бывают разные, «Сказка»; «Красота». Именно так — с большой буквы»,— поясняет Вл. Солоухин; и, наконец, наиболее полный ряд: «Мечта, сказка, Красота, вера...», Вера в Рогатую Мать-олениху как прародительницу сущего. «Духовность» у старого Момуна и его внука, на взгляд Вл. Солоухина, «приняла несколько уродливую форму». Но «какова же власть и сила истинной красоты как элемента духовной жизни человека, если даже в такой форме она сразу же выделила обоих героев, облагородила их, приподняла и в конечном счете сделала людьми?» — спрашивает Вл. Солоухин.

Ход мысли, понятный, ясный и прозрачный, заставляет оппонента Вл. Солоухина, критика Д. Старикова, внутренне согласившегося с таким подходом к повести, заявить, что Ч. Айматов в своей повести не заметил «границы, переступив которую точно бы вы-бываешь из человечества. Я имею в виду такое рассмотрение «элемента духовности в жизни», которое делает этот «элемент», по сути, безжизненным, ибо оторвано от исторических и социальных корней, а поэтому лишено адресата».

Именно обвинение в абстрактности такого понимания добра и зла, в абстрактности гуманизма, оторванного от «исторических и социальных корней» и возведенного в степень «красоты, веры», адресованное вслед за статьей Вл. Солоухина Ч. Айтматову, и составляло суть статьи Д. Старикова. Обвинение несправедливое прежде всего потому, что на самом деле Д. Стариков спорил здесь не с «Белым пароходом» Ч. Айтматова, но с истолкованием его Вл. Солоухиным, с тем «Белым пароходом», который отразился в восторженном, но тем не менее субъективном восприятии Вл. Солоухина.

Постановка вопроса об угрозе бездуховности для человека и общества, содержащаяся в повести Ч. Айтматова, была, видимо, настолько близка и созвучна Вл. Солоухину, что он полностью принял ее. И на материале той же повести предложил, по сути дела, свое решение этого вопроса. Решение отличное от айтматовского. Вникнуть в это различие важно, хотя и не просто. Важно потому, что в этом внутреннем и не проявленном в ту пору разноречии как в капле воды отразились наши споры о понимании проблемы духовных ценностей в жизни и литературе.

Разница подходов к проблеме ценностей у Ч. Айтматова и Вл. Солоухина проявилась прежде всего в отношении к старому Момуну. В повести оно вовсе не столь безоблачное, как показалось Вл. Солоухину. Одним из первых это подметил Р. Бикмухаметов, который в своем выступлении в дискуссии «Закономерности развития советских литератур» в журнале «Вопросы литературы» (1971, № 9) выразил свое несогласие с Вл. Солоухиным, подменившим повесть Ч. Айтматова рассказом об «абстрактной борьбе добра со злом», и попытался дать социальное толкование конфликту повести. «Момун у Ч. Айтматова — воплощение патриархальных устоев,— утверждал он.— ...Образом Момуна Ч. Айтматов беспощадно наказывает прекраснодушную, национально ограниченную веру в силу патриархальных начал. Он зорко увидел их компромиссный характер».

Наметившийся социальный подход критики к повести «Белый пароход», ее попытки так истолковать эту философскую притчу писателя тут же вызвали резкое несогласие. В октябрьской книжке журнала «Волга» за 1972 год в статье «Национальная самобытность писателя и духовный облик героя» Таисия Наполова вновь вернулась к «Белому пароходу» Ч. Айтматова, чтобы высказать свою убежденность в том, что пафос «Белого парохода» сводится к утверждению киргизских национальных традиций, что не правы критики, которые видят в этой повести неприятие «метафизически неизменной национальной сущности, безразличной к ходу времени и истории». Более того, будто бы при переиздании повести «Белый пароход» автор внес некоторые изменения в журнальный вариант, усилив как раз ее национальный пафос и звучащую в ней и прежде «идею преемственности высших духовных и нравственных ценностей киргизского народа». Он сделал это будто бы за счет усиления звучания образа шофера Кулубека в повести, а также «подчеркнув тему злого «рока» в судьбе старика Момуна, то есть, по мнению Т. Наполовой, полностью защитив его, ибо прежде, пишет она, «критики уничижительно отзывались о Момуне, тем самым субъективистски истолковывая идею повести». В чем суть этого субъективизма — понятно: в утверждении, будто в повести «Белый пароход» Ч. Айтматов показал «бессилие патриархальности».

Но обратимся к повести. Для каждого внимательного читателя очевидно, что автор ее относится к старому Момуну вовсе не однолинейно и Ч. Айтматов всем сердцем любит и жалеет «Расторопного Момуна».

Нет сомнения, что, по глубочайшему убеждению писателя, ценности нравственного опыта и устремлений народа, которые брезжат, светятся в поэтической легенде о Рогатой Матери-оленихе, завещавшей людям «дружбу и в жизни и в памяти», общечеловеческие, а следовательно, и наши ценности. Эти естественные ценности реально живут в сердце старого Момуна, «добряка» Момуна, и в душе мальчика, и в любви друг к другу, в их отношении к природе и к людям, в их противостоянии Орозкулу, этому «быкоподобному мужику», с «красным, низко заросшим лбом».

Для Ч. Айтматова Орозкул — наследник тех, кто когда-то оскорбил, по легенде, Рогатую Мать-олениху, обрек на несчастья и раздоры род бугинцев. А оскорбили, обидели ее, говорится в легенде, сыновья богатого бая, решившие убить марала, чтобы водрузить оленьи рога на могиле своего усопшего отца. «Марал убит на нашей земле,— ответили они на возмущение стариков.— И все, что ходит, ползает, летает в наших владениях, от мухи до верблюда,— это наше. Мы сами знаем, как нам поступать с тем, что наше».

Не лишена социальных начал старинная легенда, на которой в назидание современникам построена повесть «Белый пароход»!

Уже в этом, в толковании зла жизни, воплощенного в повести в образе Орозкула, Ч. Айтматов расходится с Вл. Солоухиным, с тем пониманием его повести, которое содержится и в статье Т. Наполовой.

По Вл. Солоухину, отсутствие Красоты и веры в душе Орозкула делает его таким, каков он есть. По Ч. Айтматову, зависимость тут обратная: Орозкул таков вовсе не потому, что он утратил веру (в то время как Момун ее сохранил). Дух собственности и наживы, который он наследует, то есть социальная действительность,— вот что заставило бугинцев когда-то утратить человеческие начала в себе, забыть заповеди Верховного Существа — Рогатой Матери-оленихи, заповеди добра и красоты. Зло на земле — вовсе не оттого, что люди, как говорится, утратили «бога в душе». Истоки зла земные и социальные — таков смысл философской притчи Ч. Айтматова.

Если прочно стоять на почве социальной, то будут очевидны действительные, а не ирреальные истоки бездуховности Орозкула и ему подобных.

Бездуховности и бесчеловечности собственничества на далеком лесном кордоне — так сложились обстоятельства — противостоит старый Момун. В основе коллизии повести не абстрактное столкновение отвлеченных начал добра и зла, Веры и безверия, Красоты и душевного безобразия, но вполне реальная, описанная по законам жесточайшего реализма сшибка социальных психологий: Орозкула, в крайних формах воплощающего звериный, животный лик собственника, и старого Момуна, того самого «старого чудака» (именно так к нему и относились окружающие), который является живым воплощением патриархальных нравственных начал. Об этом социальном типе, как вы помните, с воодушевлением и восторгом, как о светильнике духа и нравственности, пишут иные наши критики.

Кто же он, этот старый Момун? Безответный, добрый, прекрасный человек, сохранивший в душе своей вечные ценности? При большом желании и при некотором насилии над текстом повести образ старого Момуна можно истолковывать и так. Так и толкует его Т. Наполова.

Однако даже Вл. Солоухин не прошел мимо очевидного. «Непротивленческая философия жизненного поведения (Момуна.— Ф. К.) терпит крах,— пишет он,— поскольку приводит к чудовищному результату. Мальчик со своим цветком в душе остается один». Но разве «непротивленческая философия» Момуна не органична всему его мировосприятию?..

После того, как старый Момун, уступив настоянию Орозкула, убил белую маралицу, предав мальчика и расстреляв тем самым самого себя, мальчик уплывает с этого лесного кордона по горной реке навстречу своей прекрасной мечте — Белому пароходу и гибнет.

Небо Чингиза Айтматова — да простится мне этот парадокс — на земле. И финал повести «Белый пароход», гибель мальчика, за которую его столь сурово осудил Д. Стариков,— это трагедия высочайшей силы, трагедия, исполненная веры в человека и зовущая нас к социальной активности.

Именно этот мотив социальной активности, связанный с современным миром, усилил Ч. Айтматов при переиздании повести. В финале ее — об этом как раз и пишет Т. Наполова — вновь появляется шофер Кулубек, «единственный человек из всех,— сказано в повести,— кого знал мальчик, кто мог бы одолеть Орозкула, сказать ему всю правду в глаза». В развязке повести мальчик тормошит сраженного горем и позором старика: «Ата, а Кулубек приедет?.. Скажи, Кулубек приедет?..» И далее от себя автор добавляет: «Ты уплыл. Не дождался ты Кулубека. Как жаль, что не дождался ты Кулубека. Почему ты не побежал на дорогу... ты непременно встретил бы его. Ты бы узнал его машину издали. И стоило бы тебе поднять руку, как он тотчас бы остановился».

Т. Наполова в этом видит усиление Ч. Айтматовым «национального пафоса» звучания повести, ссылаясь на то, что мальчик и Кулубек оба принадлежат к «роду бугинцев», что в основе отношений мальчика и Кулубека лежит будто бы «идея кровного родства». Но кровное родство связывает между собой и мальчика, и старого Момуна, и Орозкула! Что-то не очень прочно оно их связывает. Что же касается Кулубека, то он для мальчика с первой минуты знакомства, когда мимо кордона проезжала «целая колонна» машин и вели их «молодые джигиты» — «красивые, бравые, веселые» и среди них, он — «молодой парень в солдатской одежде, в бушлате, но только без погон и без военной фуражки»,— представлял большой современный мир. Тот же мир, воплощением которого был для мальчика Белый пароход на рейде — сказка его мечты. Та самая сказка, куда он и уплыл в минуту отчаяния, обернувшись рыбой... Мальчик ушел из жизни, потому что не мог примириться со злом.

Трагическая смерть мальчика — это еще и суд над Момуном, его пассивностью, сервилизмом, его неспособностью противостоять злу.

Образ Момуна — контрапункт философской системы повести и главное разногласие Ч. Айтматова с Вл. Солоухиным и Т. Наполовой. Если Вл. Солоухину он видится в нимбе, в мученическом венке, то авторская задача Ч. Айтматова в том и состоит, чтобы при всей жалости и любви к своему герою снять с него этот нимб, этот не по праву носимый им венок.

Момун терпит поражение, но в повести есть другой характер — образ повествователя, справедливо писал критик Н. Джусойты. Образ рассказчика «вобрал в себя всю доброту и любовь Момуна к людям и помножил их на тонкое знание психики, нравственности, культуры и идеалов современного мира. Повесть о поражении Момуна стала художнической победой автора».

Жанр философской притчи — как же не понял этого Д. Стариков, доверившись больше солоухинскому толкованию повести, чем самой повести! — не помешал Ч. Айтматову написать остросоциальное произведение, не только не оторванное «от исторических и социальных корней», но полемически утверждающее неразрывность их связи с духовными и нравственными ценностями.

Глубокая современность и столь же глубокая социальность философской притчи Ч. Айтматова не только в споре с ограниченностью патриархального сознания, но в постановке и решении целого круга духовно-нравственных, или, как говорили в старину, философических, проблем. При кажущейся отвлеченности и всеобщности вопросы эти имеют весьма практическое значение для человека в век научно-технической революции и резких социальных перемен.

В «Необходимых уточнениях», опубликованных в свое время в «Литературной газете», раскрывая свое отношение к древней легенде, которая легла в основу повести, Ч. Айтматов писал: «Совесть и долг человечности возведены в легенде в высший нравственный принцип, пренебрежение которым оборачивается служением злу. Уже тогда люди ощущали значение этой моральной проблемы настолько остро, что не побоялись выразить ее для себя и для потомков в форме столь грозного и «мрачного» предостережения... И в этом, если хотите, жизненная сию-

минутность долговременных нравственных ценностей».

Сиюминутность эта — в стремлении жить на земле и быть человеком, быть верным совести и долгу человечности, этому высшему нравственному принципу, и мучиться душой, когда нарушается нравственный закон совести, если ты человек.

Чем грозит человеку недостаток или отсутствие этих долговременных нравственных ценностей? Чем грозит человеку перерыв во взаимоотношениях с природой? В первом случае — духовной, а во втором — физической смертью.

Вот какие вопросы, если брать повесть в полном ее масштабе, вынес на общественное обсуждение в «Белом пароходе» Ч. Айтматов. Не масштабность ли, не сложность ли, предерзостность этих проблем уготовили для этой повести судьбу, как писал А. Бочаров, быть «выломившейся» в нашей критике (см. «Вопросы литературы», 1972, № 2). «Выломившейся», то есть выпадающей из привычного ряда, обыденного ранжира литературно-критических восприятий. Велико и привычно искушение — Д. Старииков оказался бессилен преодолеть его — отнести весь этот круг проблем к «абстрактному гуманизму».

НАЕДИНЕ С СОВЕСТЬЮ

Но нет! Значение повести «Белый пароход», так же как написанной следом в соавторстве с К. Мухамеджановым пьесы «Восхождение на Фудзияму», еще и в том, что они яростно спорят с привычным нигилизмом в отношении к подобным проблемам в литературе, и в первую очередь в отношении к долговременным нравственным ценностям. Ставя вопрос с головы на ноги, Ч. Айтматов доказывает, что все это наше и только наше, что в действительности-то, на самом-то деле в мире, в человечестве нет, помимо нас, реальных социальных сил, которые были бы столь заинтересованы в подлинном, а не иллюзорном решении общечеловеческих проблем. Такая уверенность зреет из убеждения, что именно коммунисты — наследники истинных гуманистических традиций и ценностей, выработанных трудовым человечеством за его долгую историю, что роль и значение их для советского человека по мере движения к коммунизму будут возрастать.

Не об этом ли и тот спор, который возник в спектакле «Восхождение на Фудзияму» после того, как учительница Айша-апа прочитала стихотворение «Вечный спор»?

Айша-апа, приведя эти стихи, рассказывает в пьесе про себя, что она, как говорится, от самой земли вместе с Советской властью выросла. Когда ей было всего пять лет, басмачи у нее на глазах убили отца и мать. Попав в детдом, училась. «Мы были рады, как солнцу, что грамоту постигли, что к свету двери открылись для нас. Так вот, думала я тогда, в те годы: станут все образованными, сознательными, и начнется спокойная, культурная жизнь, как чистая вода по зеркальному пруду. А жизнь-то — река бурлящая. Вот вы все столько знаете, и столько споров между вами... И мы тоже спорили, все о том же — что хорошо, а что плохо. Ведь хочет человек дознаться до истины, до справедливости. Ненасытен он в своей жажде. И если успокоиться, то... Лучше, чем сказал об этом Сабур, не скажешь. Когда эти стихи напечатали в журнале, я их не очень поняла. Но запомнила. А с годами мне все яснее становился их смысл».

Много вместил в себя этот непритязательный монолог старой учительницы, чья судьба неотрывна от судьбы страны. Многозначительно даже и это последнее признание — о том, что поначалу стихотворение «Вечный спор» она не очень поняла и лишь с годами яснее становился для нее — да и для нас, зрителей спектакля,— его затаенный смысл: «Как человеку человеком быть?..»

Да, мы материалисты, понимающие, что нравственность социальна, что если человек хочет быть человеком, он прежде всего должен сделать обстоятельства жизни человечными. Строительство социалистического общества, ликвидация голода, нищеты, эксплуатации человека человеком, частнособственнических отношений между людьми — все это приближало нас к тем человеческим обстоятельствам жизни, которые объективно должны формировать человеческую нравственность. Но она не возникает автоматически!..

Как говорил В. И. Ленин, детерминизм нравственности «нимало не уничтожает ни разума, ни совести человека, ни оценки его действий», не снимает вопроса о нравственной ответственности личности перед собой и обществом, ибо как раз «только при детерминистическом взгляде и возможна строгая и правильная оценка, а не сваливание чего угодно на свободную волю».

А это значит, что чем выше объективные обстоятельства, чем ближе они к истинно человеческим, тем большее значение для общества приобретают разум и совесть человека, нравственная оценка его действий, тем строже, точнее и тоньше общественные критерии этой нравственной оценки и самооценки личности в ее взаимоотношениях с другими людьми, с обществом.

Об этом — о росте критериев нравственной оценки современного человека — пьеса «Восхождение на Фудзияму». Этот рост критериев необходим искусству, литературе, потому что, как говорят герои пьесы, «мы должны быть уверены, что прожитые нами годы войдут в большую литературу как опыт поколения. Как мы жили? Так ли надо жить после нас?..» Без постановки этого вопроса, без точного и правдивого ответа на него нет «большой литературы».

В еще большей степени бескомпромиссная нравственная самооценка необходима людям, в данном случае героям пьесы «Восхождение на Фудзияму», современным интеллигентам, в годы войны закончившим школу и добровольно пошедшим на фронт: учителю истории Мамбету Абаеву, доктору исторических наук и директору института Осипбаю Татаеву, журналисту и писателю Исабеку Мергенову, агроному совхоза, принимающему друзей детства у себя в гостях, Досбергену Мустафаеву. Столь же необходима она их женам и, как оказывается, даже их старой, любимой учительнице Айше-апа, поднявшейся вместе с выросшими, давно взрослыми учениками на «гору Фудзияму», чтобы побыть вместе с ними в этот праздничный день встречи.

Гора Фудзияма — это шуточное прозвание возвышенности в окрестностях совхоза, где главным агрономом — Досберген. С этой шутки и начинается спектакль. Фудзияма, как известно, священная гора в Японии, и «каждый истинный буддист должен хоть раз подняться на священную Фудзияму,— рассказывает много поездивший по свету Исабек,— чтобы поразмыслить там с богом о житье-бытье человеческом. Выражаясь современным языком — представить свой отчет богу...».

Веселая игра, начавшаяся с требования в знак пребывания на «священной горе» говорить правду и только правду, с неизбежностью перерастает в нравственный диспут, спор, а точнее — мучительный

для каждого разговор иачистоту. Разговор о судьбе пятого нх друга, самого талантливого из них — Сабура, писавшего когда-то хорошие стихи и за одно из своих произведений осужденного в годы войны. О вине кого-то одного из них, сообщившего в штаб о том, что Сабур иаписал пацифистскую, как им тогда казалось, позму, и всех вместе, даже не попытавшихся защитить его. О предательстве по отношению к другу, бывшему вожаком их мальчишеской компании, отличным солдатом и обещающим позтом, пытавшимся уже в ту пору ставить в своих стихах проблемы сложного философского звучания. «Это были его раздумья. Ему, глубокому, честному художнику, потрясенному видеиным на войне, хотелось ответить иа мучившие его вопросы очень большого порядка»,— объясняет своим товарищам по школе и фронту теперь Мамбет Абаев.

Что развело бывших школьных друзей, встретившихся два десятилетия спустя, так далеко, что сразу же оказались по разные стороны нравственных баррикад? В школе они прекрасио учились, пользовались любовью своей наставницы Айши-апа, все вместе добровольно ушли на фронт и не замарали себя там. Почему Мамбет с тех военных лет ушел внутренне далеко вперед, поднялся до нравствеиной и духовной зрелости, выработал в себе тонкие и точные критерии поведения, сохранил чуткую совесть, а Осипбай и Исабек, добившись внешних жизиенных успехов, растратили и то, что когда-то в отрочестве имели?

Что зто так, что и Осипбай и Исабек несовремеины, невзирая иа известную количествеиную распространеиность зтого социального типа, что они вчерашний, а никак не завтрашний день, свидетельствует такой иеподкупный и неопровержимый свидетель, как смех.

Смех возникает не сразу. Когда Осипбай говорит о Сабуре: «Значит, что-то было, за что его все-таки осудили и выслали»,— нам не смешно.

«Сколько лет мы знаем Осипбая, а ведь ты страшный человек, друг»,— говорит ему Мамбет.

«Я человек своего времени. На дузль я не пойду, чужого не возьму. Достигаю жизиенных благ и положеиия своим трудом и прилежаиием, уважаю порядок в чем бы то ни было, и в мыслях, кстати, и в стихах тоже»,— объясняет Осипбай своим школьным друзьям. И в ответ слышит смех, ибо «порядок» в мыслях и стихах Осипбаю нужен вовсе не ради «мыслей» или «стихов», но ради собствеиного покоя.

Разноречия Мамбета и Осипбая фронтальные. По сути дела, зто — противостояние двух мироощущений, двух философий жизни. Оно начинается с отношения к женщине и отношения к работе, а кончается сложнейшими философскими вопросами. Шаткость нравственных основ Осипбая и Исабека, пожалуй, прежде всего сказывается на их отношении к делу, к своей работе. Оно обнаженно безнравственно. Поэтому один из них — плохой историк, а другой — плохой писатель. И тот и другой отлично знают зто, понимая, что в научном и художественном творчестве они бездарности, посредственности, прикрывающиеся фальшивой позой. И ненавистью к таланту, даже к обычной честности.

В науке для Осипбая «главное — не ошибиться». Его отношение к иауке одиозначно: он ею кормится. И защищает зто свое право высокими словами. Но Мамбету мало того, что «бесспорно, как дважды два — четыре». Он учит ребятишек и хочет, чтобы «история человечества была для иих уроком жизни». Ведь он талантливый учитель. Педагогика — его призвание. «В каждом деле есть своя высшая математика,— объясняет он,— и, смею заверить, я владею ею в достаточной степени. Между прочим, неплохо, если бы и другие владели высшей математикой, а не выдавали таблицу умножения за иауку. И за искусство тоже». Что Осипбаю и Исабеку возразить на зто?

Осипбаю и Исабеку, невзирая на дипломы и звания, полученные ими, при всей их внешней образованности незнакомы муки совести. Зато понятны муки страха — за себя, за свою карьеру, общественное положение. Их раздражает настойчивое стремление Мамбета разобраться в том, что же произошло когда-то. Они не приемлют самую мысль его о коллективной ответственности за судьбу Сабура, который, выйдя из тюрьмы, спился, загубил себя и свой талант. Мамбету видится в поведении своем и друзей в отношении Сабура целая цепь предательств. Он винит себя и товарищей в том, что у них не хватило сил в ту пору понять искания и блуждания Сабура: «...Мы не сумели понять Сабура в момент его глубочайших внутренних противоречий, а зто не преступление художника. Это его диалектика, поиски истины». Он обвиняет себя и друзей «в молчании», в том, что «так легко и так просто отказались мы от Сабура, когда он попал в беду». И слышит в ответ:

«— Категорически не приемлю такой формулировки. То, что предпринимается в интересах общего дела, не может называться предательством. Не подумайте, что я оправдываю себя. Я зтого не сделал, но если бы сделал, сказал бы то же самое.

— Так можно оправдать любую безнравственность?

— Я свое сказал, и меня иичем не переубедить. У каждого свои принципы».

Решающим в зтом споре о жизни, о принципах, о повседневном человеческом поведении является мнение Айши-апа, народной учительницы, воплотившей в своем облике не просто мудрость и опыт возраста, но нравственные принципы нашего общества. У нее от зтого спора, как она говорит, «голова кругом идет», сердце разрывается. «Слушаю я вас тут и в толк не возьму. Вместе росли, вместе воевали, а случилась беда с одним из вас — и точно не зиались вы никогда. Каждый сам по себе оказался. А ведь почему люди называются людьми?» — требовательно спрашивает своих бывших учеников старая учительница.

Почти не вмешиваясь в спор, вслушивается она в аргументы сторон, с болью и тревогой всматривается в лица своих учеников, столкнувшихся друг с другом на изначальном, на том самом, с чего человек и начинается как человек, что отделяет его от животного згоизма. И высоки критерии нравственности у зтой старой женщины — она судит в первую очередь себя. Мы ощущаем зто поначалу без слов, благодаря игре прекрасной актрисы Добржанской, отчетливо передающей ту человеческую боль за своих учеников, которая живет в ее сердце, боль за себя, за то, что чему-то важному не научила их до того, как они вышли в большую, сложную, полную противоречий жизнь. Жизнь, в которой каждому постоянно надо совершать нравствеиный выбор, принимать те или иные решения. Высота ее духа проявляется в тех конечных, прощальных словах, которые после трудной паузы произносит учительница. Эти слова о себе, но адресованы они им и нам:

«...Не кинулась я, как мать, не бросилась стучать во все двери и окна... Я лишь всплакнула было при случае... А меня-то всем в пример ставят, старая коммунистка, в президиумах сижу, речи говорю. Нет, я теперь спокойно жить не смогу. И вам не советую!..»

Так замыкается внутреннее кольцо, объединяющее общим пафосом утверждения духовных, нравственных начал два таких не похожих и разных по жанру, материалу, стилистике произведения, как «Белый пароход» и «Восхождение на Фудзияму». Непротивле-

ние злу, гражданская пассивность не могут входить в нашу систему ценностей, более того, они граничат с безнравственностью, а очень часто и оборачиваются ею. Неразвитость нравственного сознания, глухота нравственного чувства, недооценка роли нравственных начал в жизни человека и общества чреваты невосполнимыми потерями человечности, они становятся тормозом не только нравственного, но и социального прогресса.

Главный агроном совхоза Досберген Мустафаев в пьесе «Восхождение на Фудзияму» — честный труженик и честный человек, не чета Осипбаю или Исабеку. Однако в споре, который развертывается на подмостках сцены, он поначалу скорей на стороне предрассудка, чем истины. И ни по чему другому, как по невоспитанности, неразвитости нравственного сознания. Он даже бравирует своей отрешенностью от столь выспренних, как ему кажется, и далеких от повседневной, реальной действительности проблем. Он неоднократно — на правах хозяина — просит гостей «оставить на сегодня эти умные разговоры». Веселый, добрый человек, с открытой миру и людям душой, он создал для себя простой и удобный жизненный идеал и даже «марксистски» обосновал его. «На Фудзияме мне нечего скрывать. Ни от бога, ни от вас,— говорит он друзьям, когда подходит черед его шутливой исповеди.—Потолок философии моей— бытие определяет сознание...» Он с гордостью — и справедливо — называет себя «создателем материальных благ», всерьез полагая, что это избавляет его от необходимости вести «интеллектуальные» и «научно-социологические» споры. «Мой коммунизм начинается в моем доме,— говорит он своей старой учительнице.— Дети. Семья. Обуты, одеты, сыты, здоровы. Значит, все в порядке. Лишь бы войны не было. Никого не обманываю, на работе не жульничаю, воровством не занимаюсь. Живу своим трудом и этим горжусь...»

Чем плоха такая жизненная программа? Что может быть лучше, чем гордиться своим трудом? Одна беда в доме у Досбергена: жена почему-то считает его «слишком ярым материалистом», ей с ним скучно. И старая Айша-апа, внимательно и, казалось бы, одобрительно выслушав исповедь Досбергена, вдруг говорит задумчиво: «Да, и жизнь течет, и люди изменяются. И не узнаешь... Помню, в школе, среди друзей Сабура, самый неловкий, самый неуклюжий был Досберген».

«Чего удивляться, Айша-апа, жизнь всему научит. Самый неуклюжий среди зверей медведь, и то за кусочек сахару целый день танцует в цирке»,— залихватски отвечает Досберген, повергая старую учительницу в явное смущение и тревогу.

Этот прагматизм Досбергена служит ему дурную службу, то и дело ставит в позицию, не отвечающую его действительной нравственной сущности. Он готов защищать Осипбая от критики друзей даже за явно халатную диссертацию, то есть за то, что тот обманывает людей в своем труде. Конечно, Досбергену это неприятно, но «это его дело, а нам-то что...». Досберген честно признается, почему не стал в свое время на защиту Сабура,— испугался за себя, не хотел «объявляться слушателем этих стихов»; он не хочет идти до конца в разговоре о судьбе Сабура и сейчас: Сабуру «ничем не поможешь, так зачем бередить старое, забытое», зачем «заниматься самобичеванием»? «Какая и кому от этого польза?» Он не понимает, что польза от этого прежде всего им самим.

Таков Досберген — характер весьма распространенный. За ним своеобразная дурная традиция пренебрежительного отношения к «высоким материям» и «тонкостям» духовной, нравственной сферы жизни человека и общества. Традиция, далеко не безобидная как для личности, так и для общества, в чем Досберген и удостоверяется самолично, когда жизнь ставит его перед жестокой, так сказать, «лобовой» жизненной проверкой.

Авторы пьесы ведут своих героев через второй круг испытаний. Случай, помноженный на неосторожность героев, приводит к трагической гибели человека — местной жительницы, старушки, которая находилась под горой, когда расшалившиеся давнишние школьники состязались в бросании камней — кто дальше.

Произошла трагедия — надо держать ответ! И в этой элементарной, хотя и тяжкой, кризисной ситуации мгновенно раскрывается до конца вся мера нравственной низости таких людей, как Осипбай и Исабек, думающих об одном — как бы спасти свою шкуру. Осипбай первым спешно покидает место происшествия, проклиная день и час, когда он отозвался на приглашение друзей приехать на Фудзияму. Следом под благовидным предлогом сбегает и Исабек.

Третьим оставляет Фудзияму Досберген.

И мы бы поставили на нем точку, как и на предыдущих двух, если бы спустя некоторое время, видимо, что-то передумав и пережив, он не вернулся обратно — к Мамбету и своей жене, меньше всего виноватых в гибели человека, но тем не менее честно ожидающих начала следствия.

«Слава богу, значит, и он не тот человек! О боже, не дай мне ошибиться!..» — восклицает жена Досбергена Алмагуль, мучающаяся одним вопросом — кто же из четырех все-таки предал Сабура, и понимающая, что такого рода предательство не бывает случайным, оно или следствие духовного и нравственного вакуума, когда человек живет по принципу «все дозволено», или же результат полной нравственной слепоты и глухоты.

Спектакль «Восхождение на Фудзияму», как и повесть «Белый пароход», волнует читателей и зрителей прежде всего остротой и смелостью постановки нравственных проблем, имеющих сегодня большое значение для повседневной жизни каждого человека. Их значение именно в том, что в пьесе означается как «главная задача воспитания искусством»,— они воспитывают высокие нравственные начала, учат честности, верности, самоотверженности, твердости, ясности характера, наконец, героизму — всему, что «называется одним словом: человечность».

В этом их глубокая современность.

●

ВЛАДИМИР ОГНЕВ



ПАМЯТЬ ВОЙНЫ

Двадцать восемь лет назад, сырой весенней ночью, я проснулся от выстрелов и криков. Я не сразу понял, что произошло, так как находился в глубоком тылу, в резерве. Как сейчас помню раскрытое окно, линии трассирующих пуль в небе, майора с перекошенным от крика ртом — он стрелял в оконный проем... «Ура! Ура!» — неслось со всех сторон. И только потом дошло до моего сознания: п о б е д а...

Потом я был на Красной площади и видел, как у Мавзолея росла гора поверженных знамен третьего рейха.

Потом я сидел в гостях у мамы моего погибшего друга Лени Самборского и старался не смотреть в ее, как мне казалось, укоризненные глаза. А она все искала мой взгляд, как будто хотела, чтобы я опровергнул страшное...

Потом я был в родных местах и стоял над развалинами дома, где прошло мое детство. Южный ветер выл в черных проемах стен. Маяк добрасывал свои зеленые лучи до моих сапог, и уже красные уползали лучи назад... Зеленым, красным и снова зеленым мигал маяк.

И вот теперь я отрываю листок календаря и удивляюсь: неужели все это было со мной? Неужели прошло столько лет?

Наша литература продолжает писать о войне. Критика спорит о том, как надо изображать войну. И порой о войне пишут уже те, кто был тогда ребенком. Да, у них тоже есть опыт. В их детских зрачках прочно запечатлелись смерть близких, разрушения, разлуки. Память живет в нас.

Я вспоминаю книги первых послевоенных лет о войне. Поразившую меня сходством с реальным опытом, правдивую и точную до мелочей быта повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», романтические повести Эммануила Казакевича «Звезда» и «Сердце друга», где была поэзия пронзительной силы — чувство, подобное тому, какое испытываешь, глядя на дрожащий огонек свечи... Я вспоминаю роман Василия Гроссмана «За правое дело» — первую эпопею широкого, толстовского плана, книгу серьезных раздумий и глубоких выводов. В те годы Константина Симонова знали больше как поэта. Но и его повесть «Дни и ночи» вошла в наше сознание как живое свидетельство сталинградской хроники, дней и ночей великой битвы на Волге.

Прошло какое-то время, и война, казалось, отступила на второй план. Да иначе и быть не могло. Живым — живое, кругом были развалины, в жилах застоялась кровь — мышцы хотели работы... Среди крупных произведений прозы и поэзии все больше заявляла о себе текущая действительность. Мы еще так недалеко отошли от свежей памяти войны. Некоторые вообще считали, что память делает вредное дело, тянет нас к прошлому, а у нас такие важные задачи! Но другие думали иначе. Александр Твардовский сумел прочно связать тему памяти, тему благодарности павшим за их великий подвиг с нравственными основами нашего правого дела, с идеей революционного гуманизма. В одном из стихотворений он писал, что «суд павших» так же суров, как память живых. Что перед их судом еще долго будут поверяться наши дела и наши поступки.

Затем в военной теме прошлое встает уже несколько иначе. События нашей жизни, перемены в сознании, вызванные новым качеством памяти, стремление к анализу прошлого опыта — все это создавало для мысли серьезный общественно-литературный климат, в котором рождались такие произведения, как «Последние залпы» и «Батальоны просят огня» Юрия Бондарева, «Пядь земли» Григория Бакланова. Здесь война выступила в качестве объекта внимательного психологического исследования. Человек на фронте думал, чувствовал, не только действовал. И, естественно, в отдалении лет этот процесс, подспудное оснащение подвига, так сказать, его обеспечение нравственное, состоящее из активной духовной жизни на войне, выходит на первый план. Много внимания уделяется теперь трудной начальной поре войны, писатели пытаются разобраться в причинах отступления наших войск 1941—1942 годов. В повести Г. Бакланова показан маленький плацдарм на Южном фронте, «пядь земли», автор сознательно замыкает свои наблюдения на неширокой площади наблюдения, тем глубже, пристальнее рассматривает он условия проявления разных человеческих характеров

на войне, тем показательнее общие масштабы венчавшей войну победы нашего оружия. И нагляднее жертвы: сколько стоила нам победа, если «пядь земли» мы оплатили такой дорогой ценой.

Об этом тоже надо было помнить. Советский Союз потерял 20 миллионов жизней в Отечественной войне. США потеряли 405 тысяч, Англия — 375 тысяч человек... Такое сопоставление делается не для запоздалых расчетов с нашими союзниками. Какие счеты вернут нам утерянные жизни, каждая из которых — это целый мир!.. Нет, такое сопоставление напрашивается в противовес логике политических спекуляций, которые нет-нет да и возникают у людей, не заинтересованных в дружбе народов, в мирном сосуществовании разных систем. Сегодня выходит много книг: мемуаров крупных военачальников, сборников материалов, исторических исследований. Все это входит в историографию, закрепляет память войны.

Но иногда в работах западных историков приходится читать, что исход второй мировой войны решился якобы не на Восточном фронте. Иногда приходится слышать, что союз наш — антифашистский, естественный в глазах миллионов простых людей — был только временным тактическим ходом в большой игре по разделу сфер влияния...

Каким же кощунственным холодом веет от таких слов рядом с изображением жизни и смерти человека в окопе, в кармане которого хранится затертый конверт с детскими каракулями! Вот еще почему традиция «укрупнения» личности на войне была встречена с естественной симпатией читателя — война представала великим, но тяжелым и страшным делом. Величие ее определял тот факт, что мы вели войну с античеловеческой системой, с фашизмом, войну освободительную. Но страшное, животное начало войны, навязанной нам фашизмом, не становится от этого «красивее». Вынужденные воевать, мы не славим войну как средство решения конфликтов. В этом принципиальная разница произведений советских писателей и авторов «черных» романов, прославляющих убийство, насилие, окружающих ореолом романтичности подвиги наемников и профессиональных убийц. А такие книги полукоричневого производства нам приходилось читать...

В литературе гуманистической не исключается показ противоречий между жестокими законами войны (даже ведущейся со справедливыми целями) и суровыми законами морали и максималистской нравственности. В повести «Батальоны просят огня» Юрий Бондарев, сам офицер-артиллерист, рисует картину отнюдь не идиллическую: батальон, ведущий разведку боем, переправляется ночью на другой берег реки, проникает в тыл к немцам и ведет отвлекающий бой, который должен сбить противника с толку. Все так и происходит, как было задумано командованием, за исключением такой детали, как ...изменение плана форсирования реки там, где это намечалось прежде. В результате войска наступают совсем в другом месте, батальон, окруженный немцами, спасти нельзя. Батальон так и не дождался сигнальной ракеты. Люди погибли. Вернулся один человек, офицер. Он потрясен. Ему кажется, что произошло страшное предательство, он потерял веру. Ему говорят, что батальон принес пользу общему делу, что силы дивизии были сохранены, но сравнение масштабов жертв ничего не говорит сердцу фронтовика, который видел, как умирали его товарищи, который знает, как они верили и надеялись, что их спасут из мешка. Вот перед вами ситуация, крайне драматичная, где конфликт предельно ясен и недвусмыслен.

В современном произведении о войне не может не быть трезвого понимания места отдельного человека в системе гигантских исторических сил. Каков же выход? Сознательное служение истории на стороне прогресса. В войне с фашизмом интересы каждого могли учитываться лишь в **конечном счете**, во имя окончательного истребления коричневой чумы. Так что, трагедия офицера в повести «Батальоны просят огня» была трагедией непонимания им исторической правды? Назовите так. Трагедия остается трагедией.

Новое качество литературы о войне не исключало, а укрепляло патриотические традиции. Оно основывалось на вере в сознание человека, на вере в укрепившуюся прочность строя.

С циклом романов о прошлой войне выступает и Константин Симонов. Только недавно завершил он трилогию, состоящую из романов «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются», «Последнее лето». Эта эпопея писалась в годы, когда общество наше обратилось ко всей сумме сложных исторических факторов. Симонов — писатель очень современный, мыслящий широко и непредвзято,— показал панораму нашей жизни, начиная с предвоенных, первых военных лет и кончая изгнанием противника за пределы Родины. Один из главных героев, генерал Серпилин, погибает в конце третьей книги. Герои эпопеи проходят через сложные испытания войной, разлукой, смертями близких, изменой, сомнениями, но крепнет, закаляется их человеческая натура, умудряется опытом, растет их самосознание, понимание судьбы человеческой и судьбы народной. Простой ход мысли: от своего к общему — обрастает в романах Симонова всей гаммой полутонов; выстраданный опыт, вызревшее сознание своей личной причастности к судьбе народа, судьбе Революции делают эпопею крупным явлением русской советской прозы последних десятилетий.

В трилогии К. Симонова нашли отражение фронт и тыл. Кремль, штабы фронтов, армий, батальонов, жизнь разных слоев общества — мысли разных людей, грамотных, дальновидных, зрелых, колеблющихся и трусливых, благородных и шкурников. Романы разворачиваются в детальное и вместе с тем в масштабное полотно, на котором крупным почерком писала сама история, но и частный опыт личности. В том числе опыт военного корреспондента тех лет Константина Симонова.

Большой интерес советского читателя вызвали повести белорусского писателя Василя Быкова. В повести «Сотников», названной так по имени одного из главных героев, автор рассматривает психологию стойкости и предательства, переносит внимание на борьбу, так сказать, внутри человека. Ведь фашизм использовал и в немецком, и в итальянском, и в других народах именно слабые места человеческой природы, не изначально заданные генами, как предполагают некоторые мыслители в наши дни, а приобретенные неверным воспитанием, деформирующими обстоятельствами среды, наследием живучих пережитков старого мира собственности и индивидуализма.

Исследованию человека на войне посвящены и многие мемуарные книги писателей. Глаз писателя теперь видит часто то, что мы старались не замечать на войне, полагая — и справедливо в условиях сопротивления народа опасному нашествию врага! — что все прямо не помогающее разгрому фашистов мешает воспитанию ненависти к врагу. Другое дело — дистанция времени. Полагаю, что анализ разных типов отношения к долгу — от недумающего, полуавтоматического выполнения приказа до сознательного подвига во имя людей и нашего идеала — входит в обязанность художника, очевидца и свидетеля грозных событий. Правда, полная правда не только не мешает, а, напротив, помогает нам, укрепляет нас, вос-



Фашисты прошли.

Фото Ильи ЭРЕНБУРГА.
Публикуется впервые.

по широкой программой движения за мир. Ведь эта политика разделяется всем человечеством и подвергается сомнению лишь жалкой кучкой политиканов, «сильных мира», которым война не страшна, а прибыльна.

Когда же мы начинаем думать о том, что противостоит милитаризму, то приходим к выводу о богатстве средств, выступающих на стороне мира. Уже детская книжка, учащая добру и справедливости, осмеивающая себялюбие и эгоизм, учит миру. Уже юношеская повесть с приключениями и благородством героев, живущих для помощи другим и поступающихся славой, выгодой, спокойствием ради подвига справедливости, поиска истины,— уже такая литература достигает благородной цели. Уже романы, которые учат нас уважать правду и видеть мерзость лжи и лицемерия, борются за мир, против войны. Литература способна натравливать людей друг на друга, «милитаризировать» их; она может и добиться «разоружения» ненависти и подозрительности между народами. Последнее — великая функция современных литературы и искусства.

Вот почему тема войны и мира, вот почему уроки незабываемых лет Отечественной войны не могут стать для советского писателя чем-то отделенным от всей остальной жизни, от судьбы поколений нынешних и тех, кто придет им на смену. Помня о жертвах, о героях, об испытаниях, об исторических переменах в мире, мы помним и о том, что термоядерная война, которую попытаются развязать империалисты, может оказаться последним этапом в развитии человечества... В понятие выводов Отечественной войны входит для нас, как видим, целая сумма первоважнейших вопросов жизни.

Например, проблема интернационализма, одна из основных заповедей Октября. Какому испытанию подверглось это благородное чувство в годы войны!

Я вспоминаю сценарий Григория Бакланова, по которому наш известный кинорежиссер Марлен Хуциев поставил фильм для телевидения. Г. Бакланов рассказывает, как в Германии, в оккупационной зоне, в первый месяц после победы молодой советский офицер становится свидетелем страшной ночной сцены. В дом к богатому немцу, где стоит постояльцем офицер, приходит изможденный, оборванный человек, поляк по национальности. Он рассказывает, что жена его работала на немца, хозяина фольварка, ребенка ее загрызли свиньи... Жена сошла с ума. А свиней, между прочим, немец кормил пеплом из костей концлагерных трупов — их сжигали в печах тут, недалеко... И молодой офицер, потрясенный рассказом ночного гостя, вспоминает, что недавно немец потребовал денежной компенсации за убитую советским солдатом свинью. «За это платить надо!» — кричал он, осмелев после того, как убедился, что его никто не преследует после победы русских. Платить... Какую же плату и с кого взять за ребенка, за женщину, за эту разбитую жизнь поляка?.. С кого, если не все понимают, что попытки «за давностью лет» пересмотреть положения о наказании военных преступ-

питывает новые поколения в духе такого же сознательного, а значит, высоконравственного служения Родине.

Сегодня многие очевидцы достали из ящиков своих столов старые дневники, потертые временем записные книжки. Тяга к документальности, неретушированному факту, живому свидетельству имеет, конечно, и чисто эстетические следствия. Ставятся документальные пьесы, пишутся документальные романы и повести, в исторических исследованиях все больше места занимают документы. Один писатель включает архивные письма Гитлера к Паулюсу, другой вводит в художественную ткань хронику Совинформбюро, все это не только придает художественному произведению характер большей достоверности, но и как-то объясняет накал страстей, серьезность судеб, исторический смысл происходящего в пределах литературного сюжета.

Иной раз документы, цифры, сообщения прессы способны натолкнуть писателя на самые неожиданные размышления и выводы. Вот, например, выкладки, опубликованные одним иностранным журналом. Автор подсчитал, что в войнах 1820—1869 годов число убитых достигало 0,1 процента населения земного шара; в войнах второй половины прошлого века эта цифра поднялась до 0,4; в первой половине нынешнего века достигла 2,1; во второй половине (1950—1999) должна будет составлять 10,1 процента населения Земли, а войны 2000—2050 годов доведут число жертв до 40,5 процента человечества. Это жуткие цифры. Думая о них, я вспоминаю Бабий Яр и Майданек, Освенцим и Орадур... Неужели массовые крематории нацистов будут казаться дилетантскими упражнениями в убийстве? Неужели возможно такое самоубийство человечества?..

Наша литература не знает и не может знать других задач, кроме сохранения культуры, цивилизации, жизни людей. Итоги войны заставляют нас не только еще и еще раз обращаться к истокам войн, к попыткам разобраться в пружинах — тайных и явных — их возникновения, но и выступить с ясной и достаточ-

ников-нацистов развязывают руки и тем, кто хотел бы снова повторить то, что справедливо названо народами ужасным и страшным преступлением против человечности!

Мы любим справедливость, мы отвергаем расовые теории о неполноценности каких-либо наций, мы интернационалисты. Но требовать одинакового отношения, скажем, к хозяину фольварка (который «никого не убивал», а «только» откармливал свиней тем «кормом», от которого волосы встают дыбом) и, с другой стороны, к бывшему узнику концлагеря кажется нам кощунственным. Не потому, что одни из них немец, а второй — русский, поляк, украинец, или грузин, или югослав... А потому, что тогда стерлось бы различие в понимании зла и добра, зверства и справедливости.

Да, разумеется, ненависть и месть — плохие советчики. Да, конечно, время лечит раны и вносит поправки. Да, кто же спорит, дети не отвечают за отцов. Но как зыбка под пером некоторых западных историков та грань, порой трудноуловимая, за которой объективность переходит уже во... всепрощение и забвение! Фашизм забыть нельзя. И не надо делать вид, господа, пекущиеся о «справедливости» к немецкому фашизму, что речь идет о Германии в целом, о немцах вообще!..

В книге «Люди, годы, жизнь» Ильи Эренбурга, чья публицистика в годы войны была непревзойденной вершиной этого литературного жанра, мысль о непрощении (во веки веков!) печей крематориев и газовых камер, насилия и террора над мирным населением покоренных стран, непрощения расового унижения и геноцида, надругательства над человеком проведена резко, активно, недвусмысленно. И правильно. Никакие законы «христианства» и «человечности» здесь неприменимы. Закон человечности — «убить зверя».

И в то же время немецкий народ в целом не знает нашей ненависти. Он сам занимается сейчас переоценкой многих заветов своей исторически сложившейся концепции отношения к миру. Мы переводим Анну Зегерс и Томаса Манна, Фалладу, Бёлля и Ганса Магнуса Энценсбергера... И мы читаем в произведениях немецких писателей-антифашистов о том, что прошлое не должно повториться, что интернационализм победит, что раны затягиваются и на пепелище старой Германии возрождается новая жизнь...

...Я не забуду, как во время войны услышал стихотворение Ильи Сельвинского «Я это видел!». Речь шла о Багеровом рве, под Керчью. Там были обнаружены горы трупов евреев и русских. Поэт писал воистину кровью сердца. «Об этом нельзя словами. Тут надо рычать! Рыдать! Семь тысяч расстрелянных в мерзлой яме, заржавленной, как руда...» Потом мне самому досталось это страшное зрелище: я видел, и не один раз, подобные рвы, ямы, балки в степи, запорошенные снегом. И все-таки впечатление от стихотворения оставалось как некий сон, неотвязный и жуткий.

И вновь испытал я подобное чувство через много лет на просмотре фильма Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм». Это было чувство омерзения и недоумения: как могла коричневая чума заразить массы людей? Как могли эти массы вручить свои судьбы ублюдку, ординарному кретину-убийце? Фильм давал ответы и на этот вопрос и на многие другие. Вот почему он останется в советском искусстве как одно из наиболее сильных свидетельств художника-гуманиста против фашизма.

Кино, это самое массовое из искусств, не раз еще брало на себя благородную функцию массам же и возвратить понимание сути процессов современного мира, напомнить и предостеречь. «Судьба человека» Сергея Бондарчука, «Баллада о солдате» и «Память» Григория Чухрая выразили наше общее (мое лично!) отношение к памяти войны, к ее жестоким урокам.

Задача критики — и сегодня осмысливать в соответствии с историческим опытом наших народов вклад советских художников в дело мира, защиты Отечества, воспитания зоркого ума и сердца, срывания всяческих масок с человеконенавистников, врагов мира и дружбы между народами, тупых маньяков, за крикливыми фразами которых таится безответственность, таится страшный лик новой войны. Мы не можем не быть озабоченными также тем, какие нравственные уроки предлагает нам критика, оценивающая произведения прошлого и настоящего. Вот почему мы с уважением читаем, скажем, статьи о произведениях на военную тему, принадлежащие перу Л. Лазарева, А. Бочарова или И. Козлова, вдумываемся в умные и дальновидные главы из книги П. Топера «Ради жизни на земле». Но приходится еще сталкиваться со статьями иного рода — с антиисторическими, а порою кощунственно-клеветническими выпадами против лучших произведений военных и послевоенных лет, ставших классикой, или читая сомнительные рассуждения некоторых критиков, в которых Отечественная война трактуется не как столкновение гуманизма революции с фашизмом, этим крайним проявлением человеконенавистнической сущности империализма, а лишь как извечная борьба... русского и немецкого начал! Или когда благородная тема воспитания национальной гордости великороссов подменяется сомнительными величаниями белых генералов, душителей свободы других народов, в том числе и тех, кто ныне обрел права равенства с тем же русским народом! Путаные и просто невежественные сочинения такого рода получили уже справедливую оценку и печати. Вклад каждого народа Советского Союза — русских, украинцев, белорусов, казахов и многих иных — в победу над опасным врагом, германским фашизмом, его военной машиной, его награбленной, почти всеевропейской экономикой, его растлевающей души расовой доктриной был поистине самоотверженным подвигом, еще больше укрепившим наше кровное — не по крови, а по идее! — братство, выкованное в Революции, пронесенное через годы совместных испытаний, всенародного опыта. Нравственные, политические, исторические уроки этого опыта складывались не однажды, а на всем пути нашего общества. Общество делало какие-то выводы, училось на победах и на ошибках, преодолевало вредные наслоения, связанные с искажением ленинских норм жизни, а почитать некоторых критиков, так будто жизнь прошла мимо них, ничему не научила!.. Более того, явно или неявно, а именно новый опыт жизни, ее в полном смысле уроки — вот это-то и игнорируется в первую очередь!..

...Но жить без памяти нельзя. Она и нужна-то для опыта. Для будущего.













ГОРЕНИЕ ДУХА

Лирические стихотворения Мартынова («Гиперболы», «Современник», 1972) — монологи, которые часто превращаются в диалоги. Поэт не только задается вопросами о загадках мироздания — он напряженно вслушивается в «ответы» мира. В громе ему слышится голос «небесной тревоги». Тростник и ковыли, шелестя, взывают к человеку, молят не губить природу: «Ты, как без рук останешься, без рек...» Ветки стучатся в окна, зовут в сад. Природа старается пробудить внимание человека к красоте мира, завязать с ним добрые отношения.

Блок писал: «И с миром утвердилась связь». У Мартынова эта тема преломляется по-своему:

Но чувствовал я, что
уже намечалась
Меж мной и стихией
разумная связь.

Определение «разумная» очень характерно. Разговор с миром идет на языке поэзии и науки.

Вспоминаются слова Чехова: «Вот, например, простой человек смотрит на луну и умиляется, как перед чем-то страшно таинственным и непостижимым. Ну, а астроном смотрит на нее совсем иными глазами...»

У Мартынова «Луна белеет хрупким комом уже подтаявшего снега». И он же пишет о небе: «Где высшими школами все высчитано и вычислено и качественно и количественно».

Нефть, попав в водоем, распускает «павлиний хвост» и грустит «об органическом своем происхожденье». Тучка мчится по небу, как «аэростат вишневый», а паучки осенью «аэронавствуют на паутинах».

Так строятся образы — на столкновении диковинного, сказочного, «павлиньего» и сугубо точных, подчеркнуто современных определений.

Для Мартынова романтическое — вовсе не обязательно расплывчатое. Оно не боится естественнонаучной определенности.

Постигнуть для него — не холодно разъять, но скорее ощутить скрытый жар земли, души, жизни. От этого жара, а не от головных преувеличений рождаются гиперболы, давшие название книге.

Перья поэтов с чернилами красными и синими «раскалены до белого каления».

В 50-х годах Мартынов писал о «градусе тепла». Теперь его поэтический термометр больше похож на «жарометр». Жить — значит гореть. Тут мы снова чувствуем — о горении духа поэт говорит в своей манере:

И тепло, сверкая,
излучается
Из меня, как
из небесных тел...

Он так определяет человека: «Такое же скопление молекул, да только крепче, чем вокруг него!» В этом «да только...» все дело; здесь та грань, которая отделяет научно-поэтический образ — и точный и гиперболичный — от прозаически-трезвенного.

В книге «Гиперболы» мы узнаем Леонида Мартынова как старого знакомого, который в чем-то изменился. Поэт старается освободиться от излишних отвлеченностей, которыми порой грешил.

И потому так естественно рождается:

Старая свеча пылает,
Истекая воском новых
слез.

З. ПАПЕРНЫЙ

СЕРЬЕЗНО, НЕТОРОПЛИВО

Не на каждом дереве, не на всем подряд ставит свои зарубки-затеси путешественник, а лишь на действительно важном и необходимом ему, приметном. Что же интересует на жизненном пути, что примечается Виктором Астафьевым в новом его сборнике рассказов-миниатюр «Затеси» («Советский писатель», 1972)? Человек и природа, родной край, русская земля. Не беглые путевые заметки, не скороспелая фиксация увиденного, а художническое неторопливое любование миром. Нет в любовании этом приторной умиленности, когда родную природу, родные запахи — для «облагораживания», что ли,— подправляют литературной парфюмерией, когда все приглаженно и не задевает души. Астафьева подчас и больно читать, больно за его героев, искренне любимых писателем, людей всяких, удачливых и заплутавшихся, но всегда живых, естественных. Как матери дорог и сын-неудачник, писателю дороги его нехрестоматийные герои, дорого в них человеческое. Без такой горькой любви невозможен художник.

Искреннее стремление сохранить, уберечь от суеты беглого, поверхностного восприятия краски родной земли, ее звуки, ее живую народную речь настолько бывает сильно у Астафьева, что порою он теряет чувство меры, вкус изменяет ему — огорчают эти «провалы» стиля, когда современный нестарый человек вдруг воспринимает мир на манер древнего сказового деда,

когда Астафьев становится азартным коллекционером, у которого все идет в копилку — и приметиое слово, и луковка, и маковка,— авось, потом разберемся, рассортируем. Сейчас только бы собрать, сохранить.

Издержки художнической любви, пожалуй, даже закономерны — Виктор Астафьев ведет в «Затесях» творческую полемику с бесцветностью, с нивелировкой русского языка, с поспешностью писательских каблюдений, а какой же страстный, от сердца идущий спор может быть безошибочно выверенным, шаблонно точным? Астафьев призывает и нас всмотреться, приостановиться, попристальнее, любовно оглядеть кашу землю и получше узнать ее людей, своих героев — это главное в его книге, этим книга Виктора Астафьева и ценна и полезна молодому и немолодому читателю.

Вяч. ИВАЩЕНКО

НАЧАЛА И КОНЦЫ

В двадцатые годы в Курске гастролировал цирк, где программу вел популярный еще в дореволюционные годы дядя Ваня. Курские мальчишки стали, разумеется, завсегдатаями цирка, и один из них по собственной инициативе написал рифмованный конферанс к представлению. Канатоходка Эллен в платье с блестками и красным зонтиком для баланса вдохновила юного Сашу Кривицкого на первое в его жизни творчество:

Когда на проволоке
Эллен,
Все в мире прах тогда
и тлен.

Эти и другие столь же блистательные вирши поразили и видавшего виды дядю Ваню и лучшего дружка автора Петьку Найденова. «А я смогу что-нибудь такое сделать?» — грустно и трогательно спрашивал Петька.

...Прошли годы, и в бою под Курском тяжелым советским танком управлял ослепший танкист. Прямое попадание вражеского снаряда навеки погасило свет дня в глазах водителя танка. Он «бросал машину из стороны в сторону, давил пушки и минометы, вгоняя в землю фашистских артиллеристов. Он видел поле боя глазами своего командира». То был Петька Найденов. Жизнь ответила на давний его вопрос, сможет ли он сделать что-нибудь в силу своего друга-стихотворца Саши. «Он смог больше»,— такой простой, скромной и отличной фразой заканчивает Александр Кривицкий одну из лучших новелл сборника «Начала и концы» («Советская Россия». М. 1972 г.).

Подчеркиваю, одну из лучших, ибо тут много новелл и зарисовок, ничуть не уступающих истории Найденова. Но я остановился именно на этой вещи, ибо в ней соединились все лучшие качества Кривицкого-художника: человечность, доброта, умение живописать войну, изящество формы и отсутствие сентиментальности даже там, где слезы подступают к горлу. И, наконец, эта быль написана на главную тему А. Кривицкого — о мужестве. С разными аспектами этого ценнейшего качества человека встречаемся мы в книге: солдатское мужество Петьки Найденова, мудрое и спокойное мужество генерала Панфилова, героя обороны Москвы, расчетливое, зрелое мужество большого военачальника Ротмистрова, отчаянное мужество Лизюкова, обреченного на гибель ошибкой вышестоящего, писательское мужество Александра Бека, потерявшего в поезде от чудовищного переутомления рукопись своей книги (впоследствии знаменитое «Волоколамское шоссе») и начавшего всю кропотливейшую и труднейшую работу сначала, блестящее мужество профессионального революционера и романтичного человека, болгарина Пакайота Ярымова и других персонажей книги делают ее очень полезной — не боюсь такой утилитарности — для молодого читателя, чья душа еще строится, формируется.

А. Кривицкий имеет моральное право воспевать мужество. Он один из боевых военных корреспондентов. Ему случалось преодолевать многие трудности своей сложной и опасной профессии. И он рассказывает об этом с той умной самоиронией, какую хотелось бы пожелать всем авторам, выступающим под модной ныне рубрикой «Писатель о себе».

Юрий НАГИБИН

КРАСКИ ВРЕМЕНИ

Если вы хотите познакомиться с мастерством Тессая — японского живописца, прославившегося в жанре «горы и воды», или со своеобразием цветных гравюр Утамаро — создателя непревзойденной галереи женских образов...

если вас интересует, что думает о «поэзии глины» — от жертвенных фигур ханива из древнейших японских захоронений до современного декоративного фарфора — выдающийся керамист наших дней Аракава; или если хотите побеседовать о специфике художественных приемов театра Кабуки с его корифеями — отцом и сыном Итикава...

если вам хочется уловить и прочувствовать ту особую связь, которая объединяет в Японии живопись с каллиграфией и стихосложением, а мастерство строителя с мастерством садовника; или то удивительное сочетание различных религиозных и философских течений, из которых основывается мироощущение японцев...—

прочтите новую книгу Н. Т. Федоренко «Краски времени». Ее подзаголовок — «Черты японского искусства» — дает представление о рамках авторского замысла. Это рассказы о встречах с людьми, которые олицетворяют собой искусство Японии — или как его мастера, или как знатоки. Причем интересным собеседником читателя в каждой главе выступает сам автор, его взгляды, суждения, раздумья.

Оговоримся сразу, что книга «Краски времени» не предназначена для любителей легкого, развлекательного чтения. Она требует определенного кругозора, интереса к проблеме, но зато дает читателю пищу для самостоятельных размышлений.

Книгу приятно держать в руках. Она оформлена и иллюстрирована со вкусом, в добрых традициях издательства «Искусство».

Всеволод ОВЧИННИКОВ

ПЕРИКЛ И ЕГО ВЕК

Любопытнейшую книгу о Перикле издал в серии «Жизнь замечательных людей» Ф. Арский («Молодая гвардия». М.). В ней выразительно воссозданы дух и реалии времени: картины народных собраний, битва у Фермопил, судьба скульптора Фидия, ход Пелопонесской войны. Но прежде всего и больше всего книга привлекает теми нравственными историческими уроками, которые автор целеустремленно и без малейшего налета дидактики извлекает.

Наверное, пока будет живо человечество, вечно будут волновать его вопросы о роли личности в истории, о взаимоотношениях личности и народа, о степени свободы и несвободы общественного бытия человека. Многие подобные вопросы решались в Древней Греции с той прямотой и ясностью, какие бывают только в детстве, а потом усложняются и уже не просматриваются столь определенно во времена зрелости.

Перикл, живший в V веке до н. э., руководил политикой Афин фактически целых три десятилетия — случай довольно редкий.

Благодаря чему, каким качествам удалось Периклу так долго быть кормчим афинского корабля? Ф. Арский прослеживает многие качества, особо выделяя два из них. Первое: Перикл «посвятил себя служению единственному богу, и бог этот — Афинское государство». Второе: «У него есть единственное оружие — его речи. И дела, не расходящиеся со словами...»

Выясняя историческую роль Перикла, при котором Афины переживали свой «золотой век», Ф. Арский с высоты сегодняшнего знания выявляет и противоречия, неуклонно приведшие к закату этого человека и его время.

А. БОЧАРОВ



МАРК ГРИГОРЬЕВ

АРИФМЕТИКА СОРЕВНОВАНИЯ



В одну из февральских суббот нынешнего года я пришел в шестой сталеплавильный цех подмосковного завода «Электросталь» — поподробней узнать об инициативе комсомольцев одиннадцатой плавильной печи. Ребята составили свое обязательство-заявку. Об этом рассказала областная молодежная газета. Инициативу поддержали. Но настроение у меня было настороженное: еще один почин? Насколько он окажется полезным? Как долго просуществует?..

И вот я на одиннадцатой печи. Так говорят металлурги: «он работает на печи», «его поставили на новую печь», а не «у печи», не «около печи». На одиннадцатой работал мой знакомый Саша Агулин...

Я давно приглядывался к Саше. Знал, что после восьмилетки он учился в ПТУ. Потом работал машинистом крана. Отслужил в армии. Строил цех, где теперь работает, очень хотел стать сталеваром. Стал. Сейчас учится в техникуме. Саша всегда был интересным, думающим собеседником. И я обрадовался возможности обсудить с ним инициативу их бригады. Узнать, почему к привычным соцобязательствам добавилась еще и заявка. Действительно ли вызвано это необходимостью?

Поговорили. А потом я встречался еще не раз и с Сашей, и с его товарищами, и с цеховым начальством. Встречи происходили на рабочих площадках, в кабинетах, на собраниях. И запланированно и случайно.

Цех напоминает океанский корабль солидного водоизмещения; тельняшка Саши Агулина здесь вполне уместна: на площадку к пульту управления попадаешь по трапу. Держась за «леера», можно обойти все печи, соединенные общей верхней палубой. Горячий металл двумя голубоватыми серпиками мерцает в окулярах перископов. Здесь не варят сталь, а переплавляют. В камере, где создан вакуум, в качестве электрода используется слиток. Между этим слитком и кристаллизатором (точнее, затравкой) наводится электрическая дуга. Слиток-заготовка начинает расплавляться, и металл, как со сталактита, по капельке падает на поддон. А навстречу ему уже сталагмитом вырастает новый слиток. Смысл переплавки одного слитка в другой — в получении металла высокого качества.

Итак, мы сидим у пульта управления одиннадцатой печи. Саша Агулин переключает рычажок: теперь голубые серпики светятся на больших экранах. Разноцветные лампочки подмигивают, самописцы пописывают.

— Спокойная плавка,— говорит Саша,— можно перекурить.

В это время подходит сталевар с восьмой печи.

— Сань, поди посмотри, как у меня — порядок?

Когда Саша возвращается, он рассказывает, что наблюдал сейчас на соседней печи самый ответственный момент — конец плавки. Тут нужно иметь наметанный глаз и постепенно понижать ток, иначе не свести до минимума усадочную раковину. А чем меньше раковина, тем больше выход годного металла. Но другая опасность рядом: когда от электрода остается «огарок», может оплавиться удерживающая муфта. Требования к качеству жесткие: ни одна капелька инородного металла не должна попасть в новорожденный слиток. Соображай!.. Вот здесь-то обычно и спотыкаются малоопытные сталевары.

— С чего ж это ты помогать побежал? — подтруниваю над Агулиным.— Вы же с восьмой соревнуетесь, а в соревновании, говорят, должны быть и победители и побежденные.

— А может быть, только победители? — улыбается Саша.

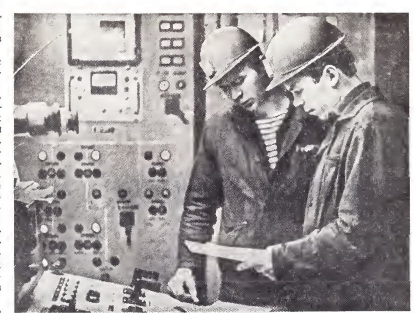
Его товарищ Алеша Спиридонов (он подручный сталевара, приехал сюда ненадолго из Запорожья, с завода «Днепроспецсталь») горячится:

— Соревнование — это борьба. Борьба!.. Только не должны люди выступать в разных весовых категориях, иначе исход борьбы будет предрешен. А на равных!..

Я напомнил недавний наш с Сашей разговор. Речь шла об истоках соревнования, о традициях. Саша рассказывал о том письме из Запорожья, которое положило начало не совсем обычному соревнованию двух заводов.

Страна поднимала тогда и развивала тяжелую промышленность — те самые отрасли, которые сегодня каждый школьник отнесет к группе «А». Многие авторы того памятного письма из Запорожья едва знали грамоту. Пером их водила неугомонность пионеров стахановского движения.

«...почему и предлагаем,— заканчивалось письмо из Запорожья,— заключить договор на социалистическое соревнование».



У пульта управления печью сталевары Александр Агулин (слева) и Александр Боюров.

Фото Л. БЕЛУШКИНА.

Запечатали, а на конверте вывели: «Московская область, поселок Затишье, завод «Электросталь». Мало кто знал тогда о существовании двух электрометаллургических заводов — в Запорожье и под Москвой. Воображение поражали домны Магнитки, новостройки Кузнецка и Комсомольска. Там десятки тысяч рабочих, на завалке домны — эшелоны руды и кокса. А в поселке Затишье выплавлялись какие-нибудь сотня-две тонн стали. Правда, какой стали!.. Особо чистой, прочной, со специальными свойствами. Конструкциям из такого металла не страшны ни жара, ни холод...

Вообще говоря, сам характер производства — уникального, рассчитанного не на вал — обязывал оба предприятия бороться прежде всего за качество. И это нашло отражение в самом духе соревнования. В основе — обмен опытом, применение у себя «дома» всех технических новинок, почерпнутых у друзей.

Электростальцы, например, разработали свой способ применения кислорода при плавке быстрорежущей стали, потом помогли внедрить это новшество в Запорожье. В свою очередь, работники завода «Днепроспецсталь» разработали метод скоростного холодного ремонта электропечей с помощью разъемных каркасов. Сроки ремонта сократились втрое... Из Запорожья пришел и метод вакуумной обработки жидкой стали в ковше перед разливкой... Эффект от внедрения новинки или передового приема труда, коэффициент их полезного действия в содружестве как бы удваивался.

Рассказывая мне это, Саша употреблял вместо слов «соревнование», «соперничество» слово «содружество». И не случайно на заводах, о которых идет речь, соперничество отошло на второй план, уступив место дружескому диалогу, взаимопомощи и в большом и в малом. В Министерстве черной металлургии так и стали шутить: в Запорожье зазвонят — электростальцы идут к обедне.

Обо всем этом я и напомнил Саше и Алеше.

— Это в масштабах глобальных,— возразил Алеша Спиридонов.— Вы на наших заводах бригадное соревнование посмотрите — борьба точно не на равных. Одни в передовиках ходят. Другим суждено до пенсии быть середнячками. И мы это видим, а поделать ничего не можем — зависим и от заготовительного и от ремонтников. Им что, они в своем соку варятся...

— Но ведь пять минут назад Саша Агулин бегал к «соперникам» на восьмую, помогал закончить плавку,— сказал я.— Значит, дух содружества жив!..

— Так-то оно так,— ответил Агулин.— Но ведь в чем-то Алеша прав. Возьми ремонт печи — он у нас ежемесячный. Трое суток печь стоит. И вот дают слесарям недоброкачественное масло для вакуумных насосов. Они на дыбы: «Не кондиция!» А им: «Да не мелочитесь». Потом перебои с уплотняющей резиной. И неочищенная вода для системы охлаждения. Все «мелочи»! В совокупности-то эти мелочи отражаются на качестве нашей работы. А мы в своих обязательствах нахвастали, наобещали годовое задание по выплавке стали закончить к 24 декабря, не иметь брака, освоить пять новых марок стали. Пообещать пообещали, а выходит, что выполнение зависит не только от нас... Послушай людей, поймешь, почему мы к своим обязательствам добавили еще и заявку...

Начальник цеха Андрей Алексеевич Тюлькин — мой очередной собеседник. Он потомственный металлург, работал в разных коллективах. До перехода в шестую литейку был начальником четвертой. Оба цеха начинал, по традиции бросая серебряную монетку под первую сваю.

— Соперничество должно быть, как же,— окает Андрей Алексеевич,— но на равной основе (Алешины слова!). А то ведь что иногда получается. Месяц-другой выработка у передовика, допустим, вдвое превышает норму. Что ж, молодец... Но мы похвалой или премией не ограничиваемся. С передовиком этим начинаем носиться — фотографируем, славим. С чем ни обратится — не откажешь: передовик. Так и создаются «особые условия». Знаю, сам грешен, и

оправдание для себя нахожу: надо же поддержать парня! В другой раз с бригадой такое же. Так разбалуем... Чуть что — пожалуйста. Ремонт — вне плана, материалы — высшего качества, спецовочки — с иголочки, в отпуск — когда потеплей. И забываешь, что план цеха определяет не один передовик, не одна бригада... Маяк маяком, но нельзя добиться успехов на одном участке, если остальные в прорыве. Соревнование нам надо так организовать, чтоб у всех были равные возможности...

...Вот так я уяснил, что соревнование не на равных ставит под удар дело. И подумал: но только ли дело? А может, и исполнителя этого дела — человека, людей?

Я вспомнил свою первую рабочую бригаду. Это было на машиностроительном заводе. Командовал десятью слесарями-сборщиками Павел Семенович Фролин — первый в бригаде человек. Работал быстрее всех, еще успевал с мастерами поругаться, мне, как самому молодому, невесту посватать. Миша Будник иначе среди нас не назывался, как «профессором»; Коля Каширский был великим специалистом по запутанным гидравлическим разводкам. Одним словом, квалификация и желание работать у ребят моей бригады были, а вот работа не всегда бывала. Наш завод захлебывался от неритмичности. Первую декаду сидели сложа руки, зато потом, к концу месяца, «прихватывали» по паре часов, а то и по половине следующей смены.

В 1959 году появилась у нас в цехе первая бригада коммунистического труда. Руководил ею Анатолий Головенкин, молодой, плакатного типа парень. Бригада, хоть и называлась слесарной, занята была на консервации оборудования перед отправкой заказчикам. Разберут машину, промоют соединения уайт-спиритом, покроют густым слоем солидола и упаковывают, готовят к отгрузке. Простоев в его бригаде не бывало, потому что все сборочные бригады, в том числе и слесари Фролина, в ночь на первое число кровь из носа, а заканчивали сборку машин. Головенкина работой обеспечивали, и показатели у него соответственно были высокими. Когда бригаду Головенкина выдвигали на присвоение звания коммунистической, я попытался поспорить: «липу» делаем. Люди же в райских условиях находятся. Поддержки мое выступление не встретило. «Ты что, малыш, против маяков? — злился даже наш бригадир Фролин.— Не понимаешь, что надо в цехе, на заводе иметь лучшую бригаду?»

Моральные последствия такого подхода к организации соревнования, к маякам, к победителям были самыми плачевными. Ребята нашей бригады теперь уже относились к соревнованию, к принятию обязательств с полуулыбкой. Знали: как ни старайся, как ни выкладывайся, головенкинцы все равно будут победителями. А раз так, чего из кожи вон лезть? Что там успех цеха, работай на себя!

И вот теперь, слушая Андрея Алексеевича, я подумал: а не приведет ли система «подкармливания» передовиков к подобной же ситуации? И как этому воспрепятствовать? Может быть, этот моральный аспект учтен комсомольским обязательством-заявкой?.. Я — к Саше Агулину.

— Конечно же, об этом думали. Ведь не человек для завода, а завод для человека. На эту простую мысль нас натолкнули такие наблюдения. Когда цех еще строился, мы с моим сменщиком Сашей Боюровым там плотничали. Стройка была ударной, каждую неделю подводились итоги соревнования, вымпелы, грамоты вручали. Часто в победителях была бригада отделочников, которой сейчас командует Нина Веденко. Что говорить, работали девчата на совесть: старались и краску получше развести, белила как следует приготовить. Выработка у них была высокая, зарабатывали по полторы сотни. Казалось бы, все есть: достаток, почет, уважение. Радуйся жизни! Но девчата все чаще хмурились, а бригадир, бывало, и всплакнет. Почему, скоро выяснилось. Скажем, заканчивают они побелку, окраску. Все сверкает, блестит. И тут приходят электрики-«пистолетчики». Пальба, как на войне,— пробки под арматуру пристреливают. Плотники идут вслед за ними: щели решили в полу ликвидировать. Подобьют доски, в середину еще одну некрашеную вколотят, натопчут, стружек горы. Сантехники начинают радиаторы переставлять, монтажники — долбить стены для вентиляционных установок. Короче говоря, девчат снова направляют замазывать, перекрашивать. На переделки, конечно, наряды оформляются... Лишние деньги, а удовлетворения никакого... И вот почему: соревнование организовали так, что не было заинтересованности в успехе общего дела; каждый болел за свой участок, за выполнение «на отлично» только своей работы...

Теперь,— продолжает Саша,— о самом главном: нашем обязательстве-заявке. Смысл его в чем? Если раньше мы составим обязательство и будь как будет, то теперь вначале рассчитываем силы и возможности: берем в руки карандаш. Прикидываем, подсчитываем, что необходимо для выполнения самого обязательства. Допустим, мы хотим освоить выплавку пяти новых марок стали. От кого это зависит, что нам может помочь, а что — помешать? Прежде всего заготовители; им заявка: электроды только высокого качества. Техническая документация — чтоб комар носа не подточил. Ремонтники должны точно укладываться в график, печь передавать без сучка и задоринки. Так вот, они нам твердые гарантии, и мы спокойно принимаем обязательства. И заметь, никаких привилегий, абсолютно равные возможности с соседями (они, кстати, тоже приняли обязательство-заявку). Никаких обязательств ради обязательств. Но при этом непременное условие: до тонкости изучить технологический процесс, осваивать и беречь новую технику...

Форма соревнования, принятая молодыми сталеварами одиннадцатой печи, поддержана молодежью других цехов и заводов города Электростали. Правда, ребята считают: ничего нового они не придумали. Вроде бы так, но и не так. Обязательства-заявки — продолжение и развитие уже распространенных у нас в стране форм социалистического соревнования — вспомним, например, так называемые договоры тысяч. Но особенность инициативы молодых сталеваров — в перенесении договорных начал в бригады, непосредственно на рабочие места. Сталевары одиннадцатой печи подкрепили свои обязательства годовой заявкой. «Для того, чтобы обещания стали реальными, мы должны быть вовремя обеспечены и технической документацией и ремонтом. И заготовками, и приборами, и механизмами — без проволочек, высокого качества». В сущности, комсомольцы как бы продиктовали продуманную, вымеренную организацию дела всей производственно-технологической цепочке. Они поставили свой успех в зависимость от слаженной работы цехов и заводских служб. И сделали это публично, обеспечив всем соревнующимся равные возможности, не желая «дутых» обязательств...

В социалистическом соревновании, считают ребята, каждый минус должен быть исключен...

КОРРЕСПОНДЕНТ. Спартак Тимофеевич, в 1971 году на XIII международном конгрессе по истории науки, проходившем в Москве, академик П. Л. Капица в своей речи о Резерфорде говорил, что самое важное и трудное в организации науки — отбор одаренной молодежи и создание условий, в которых талант мог бы развернуться в полную меру. Ведь как часто развитую память, начитанность принимают за творческие способности!

С. Т. БЕЛЯЕВ. Я полностью согласен с формулой Петра Леонидовича. Мне приходилось об этом думать, и я убежден, что прогресс науки в громадной степени зависит от того, сумеем ли мы собрать в вузовских аудиториях талантливых людей и приучить их к самостоятельному мышлению.

Для каждого серьезного ученого предмет гордости и заботы — его ученики. Но самое трудное — найти этих учеников: ведь нет никаких критериев поиска, никаких шаблонов. Талантливый человек тем и выделяется, что он не похож на других, не подходит ни под какие шаблоны.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Но ведь талант как-то проявляется.

С. Т. БЕЛЯЕВ. В том-то и дело, что у одного он проявляется раньше, у другого позже, у одного — в одних обстоятельствах, у другого — совсем в иных. И бывает, что прошло время, упущены возможности, талант так и не раскрылся, пропал втуне... Кстати, вы, наверное, знаете, что Эрнест Резерфорд окончил университет в Новой Зеландии. Самому одаренному (первому!) выпускнику предлагали стипендию в одном из университетов Англии. Резерфорд не был первым, он был «запасным» кандидатом. И поехал он в Кембридж случайно. Не откажись «самый одаренный», и, может быть, не было бы того великого Резерфорда, которого все мы знаем.

Я сколько раз с удивлением замечал: в студенте, который вначале абсолютно ничем не выделяется, кроме, пожалуй, своей внешней заурядности, вдруг прорезается что-то, человек становится совсем другим, генерирующим идеи, умницей. А бывает и наоборот: вроде бы много знает, эрудирован, бóек, быстро соображает, а ничего путного из него не получается. Одно дело — усваивать имеющиеся знания, другое — самостоятельно работать в науке.

КОРРЕСПОНДЕНТ. В социологической литературе было сообщение о том, что проводилось изучение нескольких сот работников крупного американского научного центра. Если верить результатам, получается, что связь между успеваемостью в вузе и успешной деятельностью в науке очень неустойчива. Какой ответ на этот вопрос подсказывает ваш опыт?





НАЙТИ ИСКАТЕЛЯ

Беседа с ректором Новосибирского университета академиком С. Т. БЕЛЯЕВЫМ

Все произошло при жизни одного поколения. Наука стала реальной производительной силой, «владычицей судеб» современного мира и... столкнулась с множеством проблем. Одной из самых трудных, решающих, может быть, судьбы завтрашнего дня стала проблема научных кадров.

По данным ЮНЕСКО, каждые десять лет удваиваются число людей, занятых в науке, и средства, вложенные в нее. Но наука — дело тонкое, здесь по-прежнему царствует личность. А творческая личность уникальна.

О проблеме поиска и воспитания талантливой научной смены, о задачах, стоящих перед высшей школой, шла речь в нашей беседе с академиком, известным советским физиком, ректором Новосибирского университета Спартаком Тимофеевичем Беляевым. Может быть, не все высказанное в этой беседе покажется бесспорным. Но в широкой дискуссии о высшей школе мнения, самые противоположные, должны быть внимательно выслушаны и предложения, самые спорные, проанализированы.

С. Т. БЕЛЯЕВ. По-моему, связь все же существует. Думаю, что среди ученых, которые в своей области явно чего-то добились, подавляющее большинство имело в вузах хорошие оценки. Хотя я допускаю, что связь со школьными оценками не столь жестка. Ведь школу в отличие от вуза не выбирают самостоятельно. Но, с другой стороны, если мы проанализируем «научные карьеры» всех хороших выпускников вузов, то, вероятно, получим полный спектр — от блестящих успехов до скромного прозябания. В Америке часто проверяют людей по «ай кью» — коэффициентам интеллектуальности — и пытаются прогнозировать их будущее. Но среди людей с высоким умственным коэффициентом талантливые распределены совершенно хаотически. Этот самый высокий «ай кью» — условие необходимое, но недостаточное. Существует еще и проблема измерения — «валидности», действительно ли измеряется интеллект, а не начитанность, натасканность, быстрота реакции. Нет, хорошие оценки в вузе или тем более «ай кью» — еще не индикаторы творческого потенциала.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Как здесь, в Новосибирском университете, оцениваются способности студентов?

С. Т. БЕЛЯЕВ. Никак не оцениваются. С большим или меньшим успехом р а с п о з н а ю т с я.

КОРРЕСПОНДЕНТ. И при этом является ли успеваемость решающим критерием при распределении выпускников на работу, при подборе кандидатов в аспирантуру?

С. Т. БЕЛЯЕВ. Видите ли, в нашем университете и распределение и престиж не только по оценкам. У нас совсем иные принципы. Наши студенты два — два с половиной года проводят в лабораториях институтов. К ним присматриваются, знают, проявился ли у человека вкус к исследованию, возникают ли свои идеи, достаточна ли его научная эрудиция... Учитываются и отзывы руководителей кафедр, научных институтов, в которых наши студенты работают, и уровень дипломной работы, наконец, участие в научных конференциях, конкурсах, наличие опубликованных работ. В сумме это и дает что-то. Но гарантии — нет, не дает! Мы можем

предсказывать крайние случаи: вот из этого студента выйдет крепкий научный работник, а из того совсем не выйдет. Однако всех студентов так рассортировывать нельзя.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Но отбор внутри вузов поневоле ограничен. Видимо, особое значение приобретает поиск способных школьников, ребят из глубинки, пусть хуже подготовленных, но самобытных, ярких, не так ли? Ваш университет первым в стране начал «охоту» на таланты; уже десятилетие проводятся сибирские олимпиады, привлекающие школьников всей страны; тысячи ребят мечтают о вашей физматшколе — уникальной школе, где лекции читают академики и аспиранты, поэты и музыканты... Забота о будущих студентах, поиск одаренных по всей Сибири стали уже системой — не так ли?

С. Т. БЕЛЯЕВ. Увы, это стало системой.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Увы?!

С. Т. БЕЛЯЕВ. Всякая система — и наша здесь не исключение — имеет тенденцию сворачивать на легкий путь. Проще всего подбирать ребят натасканных, а не способных. Просто самых подготовленных найти легче, здесь есть формальные критерии, пожалуйста, целый набор: и проходной балл, и средний балл, и наличие грамот. Беда такой системы приема в вузы — ее негибкость, она недифференцирована по типам вузов, по их задачам в системе высшей школы. Наконец, главное: она не позволяет оценить перспективность поступающего именно для данной профессии.

Вот в газетах шла дискуссия «В вуз — без экзамена!». Разве в этом дело — с экзаменом или без? Пишут, что-де на экзамене у абитуриента стрессовое состояние, нервы напряжены. А разве воля, умение собраться в нужный момент, не растеряться в непривычной обстановке, быстрота реакции не характеризуют человека? Разве эти качества нужны только спортсменам? Бывает, отвечает абитуриент как по писаному. Видно, что и читал много и запомнил прочитанное хорошо. Но вот нужно оторваться от привычных перил чужой мысли и сделать небольшой, но самостоятельный шаг вперед. Вот тут-то нередко и наступает стрессовая реакция.

Мы стараемся противостоять наплыву «подготовленных» ребят. Но это трудно! Какой-то массовый психоз: репетиторы, зубрежка! Печально. Вдумайтесь, это факт, что в стране публикуется огромное количество литературы для поступающих в вузы,— подчеркиваю, это книги не для людей, желающих постичь физику, но для поступающих, то есть эти учебники играют чисто утилитарную, подсобную роль. Мало того, у нас огромными тиражами издают сборники конкурсных задач и — что не делается, по-моему, нигде в мире — издают их с решениями. Я считаю, что это совершеннейшая глупость! Ребята не решают задачи, они типы решений заучивают. Дошло до абсурда: несколько лет назад был издан прекрасный курс лекций по физике лауреата Нобелевской премии Ричарда Фейнмана, одного из создателей современной квантовой электродинамики. Дополнительным томом курса лекций издали задачник к нему — так даже здесь ухитрились при переводе поместить решения. Дальше уж некуда!

Все это делает трудным отбор на вступительных экзаменах. Мы стараемся предлагать нестандартные экзаменационные задачи — такие, способ решения которых не выучишь по учебнику; они требуют сообразительности, понимания сути физических законов, независимости и широты ума, умения делать смелые и неочевидные выводы. Но разработка таких задач — дело трудное и долгое...

К сожалению, в нашей стране научное творчество школьников развито слабо. У нас практически нет таких организаций, станций, клубов, где бы развивались исследовательские способности ребят. Разве что станции юннатов, но там воспитывают больше прикладные навыки, чем мышление ученого, то есть умение самостоятельно вести наблюдение, эксперименты, разрабатывать схемы опытов, делать выводы из полученных результатов. Олимпиады же и конкурсы, которые проводятся в нашей стране, слабо стимулируют научное творчество, самостоятельные поиски.

КОРРЕСПОНДЕНТ. А в других странах?

С. Т. БЕЛЯЕВ. В какой-то степени это делается в Венгрии, в ГДР. В США широко известен конкурс фирмы «Вестингауз», который проходит по всей стране. На конкурс там представляют исследования, разработки, проекты, наблюдения — физические, биологические, химические, самые разнообразные, без ограничений. Сорок победителей получают стипендии в лучших вузах страны, большие премии. Не следует думать, будто капиталисты занимаются филантропией, просветительством. Просто фирма хорошо рассчитала и рекламный эффект от такой акции и, главное, ту пользу, которую принесут ей через несколько лет найденные ею талантливые ученые.

Мы пытались на вступительных экзаменах по физике не только предлагать обычные задачи, а демонстрировать эксперименты и просили объяснить, что́ происходит, давали задачи с качественным разбором процессов, ставили их в самом общем виде.

Проблему раннего выявления способностей мы пытаемся решать, экспериментируя с нашей физматшколой. Ученики регулярно бывают в лабораториях институтов — ядерной физики, геологии, гидродинамики, в химических институтах. Они ведут там и исследовательскую работу. Случалось, что наши ребята выбирали себе направление, специализацию и даже конкретную задачу еще до университета. В вузе они продолжали работу, начатую на школьной скамье.

(Новосибирский физик, один из молодых докторов наук, старожил городка Анатолий Бурштейн, так объяснял мне значение правильного выбора пути в науке:

— Передний край науки очень удалился от «большой земли», очерченной обыденным опытом, школьным образованием. Чтобы хоть что-то сделать в науке, нужно очень долго идти по освоенной другими территории, и не просто идти — осваивать ее для себя, иначе на рубеже ты будешь безоружным. Есть области знания, настолько разработанные, что продвинуться в них на миллиметр означает потратить жизнь. Мне повезло — еще учась в Одесском университете, я попал на тему перспективную и неизученную. Защитил диплом, потом кандидатскую — и ушел в другую сторону. Но к тому времени я уже научился работать один, в области, где никто не может предложить вам готовый ответ... Студента никто не предупреждает, что на рубеже его ждет опасность психологического срыва из-за изменения темпа. Изучать легче, чем открывать. И учится студент: семестр — квантовая механика, год — теория поля, семестр — электродинамика. Темп, напряжение, скорость! Но вот выходит он на рубеж, и здесь уже нет автострады, надо пересаживаться из автомобиля на бульдозер и расчищать дорогу самому... Но многие уже слишком привыкли к высоким скоростям.)

КОРРЕСПОНДЕНТ. Хотелось бы услышать ваше мнение, Спартак Тимофеевич, по одному очень сложному вопросу. Социологи, исследующие проблемы образования, утверждают, что сейчас, когда профессии повсеместно усложняются, для успешного жизненного продвижения становится все более необходимым высокий уровень образования. А значит, сроки так называемой «социализации» все удлиняются, и, как ни парадоксально, нынешняя «независимая молодежь» дольше находится в зависимости от родителей, чем молодежь предыдущих десятилетий. Да и само понятие «молодежь» все больше расширяется. В романах

начала века двадцатипятилетних называли зрелыми, теперь тридцатилетних называют молодыми. Но если сохраняется зависимость от родителей — в чем проявляется здесь разница между семьями?

С. Т. БЕЛЯЕВ. Природа сама по себе, слава богу, очень демократична — талантливые дети рождаются в самых разных социальных условиях с одинаковой частотой. Однако, спору нет, от культурного микроклимата семьи зависит очень многое. Добавьте сюда и разный уровень школьной подготовки, который зависит и от географического расположения школы, и от квалификации учителей, и от структуры ребячьего коллектива, и еще от множества причин. В результате — явное неравенство шансов при поступлении в вуз даже для равноспособных ребят. Да, «бурный поток» репетиторства и натаскивания работает очень односторонне и избирательно. В последние годы эта проблема привлекла внимание. Были сделаны определенные изменения в правилах приема в вузы, созданы подготовительные отделения. Однако мне представляется, что простой корректировкой шансов проблему решить нельзя. Корень ее гораздо глубже — в школе.

Мы стараемся находить способных ребят, примечать их на олимпиадах. Но в университет, в нашу физматшколу — ее называют ФМШ — мы приглашаем и тех, кто не попал в число призеров. Это ребята с хорошими задатками, но по разным причинам не получившие пока еще возможности раскрыть свои способности в отдаленных сельских школах и рабочих поселках. Некоторые из этих ребят росли в неблагополучных семьях. В нашей ФМШ за два-три года они получают требуемые для университета знания.

Большие надежды мы возлагаем на нашу заочную школу, в которой занимаются сейчас свыше двух тысяч ребят. Хочу подчеркнуть, что важно работать не только со школьниками. Мы слишком много ругаем учителя и слишком мало ему помогаем. Кстати, вот вам доказательство решающего значения учителя: в Верхневилюйске, почти в семистах километрах от Якутска, есть школа-интернат для детей оленеводов. Так вот, из этой скромной школы к нам в университет и в физматшколу ежегодно поступает человек по десять! Мы послали туда наших товарищей узнать, в чем же секрет. И что же? Оказалось, что там волею судеб работают два прекрасных учителя, преподают физику и математику. Это люди, преданные науке, своему призванию. Они-то всю погоду и делают.



Академик С. Т. Беляев.

Фото В. ЯРОШЕНКО.

(В интернатской комнате ФМШ разговаривал я с тоненькой, темноглазой якутской девочкой Лизой Тобоховой, принятой прошлым летом в девятый класс ФМШ. Она из той самой верхневилюйской средней школы имени Исидора Барахова, основанной почти сто лет назад, о которой говорил С. Т. Беляев.

— Родилась я в Верхневилюйском районе,— рассказывала девочка,— в селе Оросу... Мать умерла — было мне пять лет. Жила у бабушки, помогала по дому. Жил с бабушкой дед, добрый был, спокойный, трубку курил, не обижал. Умер дед, когда я была во втором классе. В третий класс перешла — нашелся человек, казался моим отцом. Поехали, говорит, со мной будешь жить, хорошую жизнь увидишь. Я поверила, поехала с ним. Только зря поверила, не понравилось мне там — нехороший человек он был, злой и нечестный. Вернулась я к бабушке. В пятом классе была, отправили меня на юг, в «Орленок». На всю жизнь запомню я то лето. Училась я в восьмилетке. Пошла в среднюю школу. Были у нас там любимые учителя, два их было. Афанасий Алексеевич Маччасынов, сам якут, якутских детей учил уже много лет математике. А по физике Михаил Андреевич Алексеев у нас был, знаменитый в Верхневилюйске человек, орден Ленина на груди носит, заслуженный учитель РСФСР. Это он организовал для нас физматклассы. Он в гражданской войне воевал. Ну, все у нас там старались по физике и математике не отставать, стыдно было. В восьмом классе я первое место по физике на олимпиаде заняла, четвертое по математике, третье по химии, первое по русскому языку. На районной олимпиаде — наоборот все: по математике первое, по физике четвертое. Поехали на республиканскую олимпиаду, там люди были из Университета новосибирского, беседовали, задачи давали. Пригласили они меня в летнюю школу в Академгородок, я поехала, очень мне понравилось! Потом экзамены были, опять беседовали со мной, а я мечтала здесь учиться... Приняли меня. Математику люблю, физику люблю, петь люблю, а больше всего рисовать люблю.)

КОРРЕСПОНДЕНТ. Как бы вы, Спартак Тимофеевич, охарактеризовали основные черты ваших выпускников последних лет?

С. Т. БЕЛЯЕВ. В большинстве своем это целеустремленные, серьезные ребята. Превыше всех благ ценят интересную работу, любят науку, очень активны, легко поднимаются на трудные дела. Встала проблема поиска способных ребят — и студенты наши зажглись, включились в дело. Многие работают в ФМШ, другие ездят по городам и селам, проводят олимпиады, третьи читают лекции подшефным сельским ребятам, четвертые проводят у нас здесь воск-

ресные лекции для школьников. Серьезное, уважительное отношение к школе, мне кажется, стало элементом атмосферы нашего университета, его особенностью. Нашим студентам свойствен дух критичности — и это правильно; в науке нельзя полагаться только на авторитеты. Мы дорожим этой атмосферой поиска, спора, становления мировоззрения.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Вот какой вопрос: когда наука стала непосредственной производительной силой, с особенной остротой возникла проблема внедрения, использования научных достижений в инженерной практике и технологии. Создаются принципиально новые организации: научно-производственные комплексы, при многих академических институтах, как и у вас здесь, в Академгородке, организованы опытные заводы. Внедрение кибернетики, создание автоматизированных систем управления — все это требует новых кадров. Но раньше все было ясно: университеты готовили ученых, втузы — инженеров; теперь, однако, появилась потребность в специалистах нового типа, способных и воспринимать новейшие идеи науки и реализовывать их. В этой связи встает проблема высшей технической школы.

С. Т. БЕЛЯЕВ. Аналогичная ситуация уже возникала после войны, когда нужно было срочно создавать атомную промышленность. Понадобились и физики, и химики, и металлурги, и технологи. Они должны были понимать друг друга... Тогда-то по инициативе Игоря Васильевича Курчатова и был создан Физтех—Физико-технический институт (кстати, я окончил его с первым выпуском), а затем МИФИ. Сейчас вновь взрывоподобное развитие науки, возникновение принципиально новых технологий, методов управления, «электронная революция». Опять нужны инженеры высшей категории, люди, способные работать на стыках наук. А как и где их готовить? Я не могу говорить обо всей высшей технической школе, но в тех втузах, которые я знаю, в которых бывал, проверял, качество подготовки инженеров все еще низкое и никак не находится на уровне современных требований. А ведь этим инженерам еще работать лет тридцать — сорок!

Мне кажется, в наше время стало абсолютно ясно: чем у́же специальность, тем неотвратимее она устаревает. И распределять таких специалистов все труднее и труднее — они уже никому не нужны, а их еще лет десять продолжают выпускать! И чем мельче специализация втуза, тем труднее работать преподавателям общенаучных кафедр, тем слабее теоретическая подготовка студентов. Понимаете, вуз, как всякая организация, стремится к расширенному самовоспроизводству. Растут службы, появляются новые кафедры, факультеты, пухнут штаты, утверждается нездоровый местнический дух («У нас все свои питомцы!»). И в результате и математику, и физику, и химию, и философию со временем преподают собственные выпускники, свои «пирожники». Основательность их знаний заведомо ниже, чем у выпускников университетов, хотя бы потому, что физика — это просто не их специальность, их не учили. Но университетских преподавателей во втузах все меньше и меньше! И все труднее им туда проникать. И вот результат: в одном громадном политехническом втузе (не будем называть!) на кафедре математики всего два (!) кандидата технических наук и ни одного доктора.

Теперь, когда нужно готовить специалистов по прикладной математике, автоматизированным системам управления, ЭВМ, технические вузы не в состоянии самостоятельно решить эту государственной важности задачу. В некоторых втузах это уже понимают, начинают идти на контакты с университетами. Вот и мы послали в Хабаровский политехнический институт целую «труппу» математиков, во Владивостоке организовали кафедру прикладной математики, послали туда в 1972 году двух кандидатов физико-математических наук и двенадцать выпускников.

КОРРЕСПОНДЕНТ. В ходе широкой дискуссии о путях развития высшей школы было высказано немало интересного. В свое время на страницах газет предлагалось ввести двухступенчатое университетское образование. Студенты, проявившие склонность к какой-то области науки, могли бы продолжать образование в том вузе, где это направление наиболее развито. Созданную недавно в Московском инженерно-физическом институте Высшую школу физиков, в которой учатся одаренные студенты из периферийных вузов, можно, видимо, рассматривать как ступень к реализации этой идеи.

Но если поиск наиболее эффективной организации научного образования — дело сложное, то с инженерным обстоит едва ли не сложнее. Здесь, пожалуй, не так ярко и быстро выявляются таланты, выбор специальности и профессии часто определяется случаем. Школьник не всегда приходит в вуз с интересом к своей будущей профессии. Он хочет быть инженером, это он знает твердо, а специальность до поры его мало волнует. Социологические исследования показывают, что ведущим мотивом поступления в технический вуз является стремление получить в ы с ш е е о б р а з о в а н и е, то есть стремление к социальному продвижению, поскольку в обществе большим престижем пользуются профессии, требующие специального образования. Единственное, что абитуриент знает твердо, это то, что он хочет быть инженером. Он хочет получить и н ж е н е р н о е о б р а з о в а н и е. Но для планирующих организаций важна именно с п е ц и а л ь н о с т ь будущего инженера. Во втузе он ее и получает, а образование — лишь постольку-поскольку. Предлагали ввести двухступенчатую систему, чтобы после первой ступени студент сдавал госэкзамены, получал диплом об общеинженерном образовании, а потом поступал бы опять по конкурсу в любой вуз на любую специальность. Двухступенчатую систему обосновывали тем, что она дала бы возможность и отбор студентов производить более тонкий и люди выбирали бы свой путь более осмысленно. Наконец, просто сберегались бы государственные средства: совсем не каждому нужно полное специальное образование — многие уважаемые профессии требуют именно общенаучных и общетехнических знаний.

С. Т. БЕЛЯЕВ. Это хорошая идея, она мне нравится. Раньше она с порога отвергалась, теперь уже обсуждается. Нужно еще основательно подумать, но в принципе это правильная идея. К сожалению, существуют вторичные факторы, которые сильно затрудняют реализацию идеи двухступенчатого образования. Дело в том, что вузы находятся в ведении самых разных министерств. Вот посмотрите, у нас в Новосибирске тринадцать вузов. Только пять из них принадлежат Министерству высшего и среднего специального образования РСФСР. У железнодорожного вуза свои хозяева, у водного свои, у торгового свои. Все вузы стремятся сохранять свои кадры, свои специальности и уж никак не устраивать из их общесоюзный рынок. Вот это и затрудняет возможность серьезных изменений. Простое укрупнение специальностей, которое иногда предлагают,— это паллиатив. В нашей стране в одно время пошли по пути узкой специализации. В результате мы имеем в пять раз больше инженеров, чем в США, но у них значительно больше физиков, математиков, биологов, социологов...

КОРРЕСПОНДЕНТ. Хотя проблема высшей школы сложна и, как вы показали, не решается росчерком пера, не могли бы вы, однако, сделать прогноз основных тенденций развития высшего образования в нашей стране?

С. Т. БЕЛЯЕВ. На недавнем Всесоюзном совещании по проблемам высшей школы, состоявшемся в Кремле, задачи, казавшиеся прежде трудноразрешимыми, обсуждались квалифицированно и с большой пользой; идеи, прежде почитавшиеся утопическими, воспринимались вполне серьезно и заинтересованно. Это совещание приняло ряд важных положений, которые на ближайший период должны будут определить развитие нашей высшей школы. Усилится значение университетского образования. Программы будут пересмотрены в сторону усиления общетеоретической подготовки, особенно математической. Уже ясно, что узкие специальности будут отмирать, а общенаучные усиливаться за счет выпускников университетов. Ведь сегодня в вузах РСФСР даже среди заведующих кафедрами математики и физики университетское образование имеют двадцать процентов! Что же касается моих субъективных представлений, я думаю, что образование станет «работающим» — студент еще в вузе научится применять полученные знания и, самое главное, самостоятельно добывать знания, не достающие ему. Будут усиливаться и усложняться связи между вузами — за счет обмена преподавателями, стажерами, студентами. Высшая школа должна стать действующей системой с многосторонними связями между вузами — элементами этой системы. Появятся технические университеты с сильными общенаучными кафедрами, широкими научными интересами. Для студентов будет предлагаться большее число факультативов — на выбор; самостоятельность студентов усилится. Центр учебы переместится в библиотеку и лабораторию. Система программированного обучения и электронного контроля текущей успеваемости, возможно, сделает ненужными изнурительные сессии. Использование ЭВМ позволит программировать индивидуальный учебный процесс с учетом способностей и работоспособности студента. Большой объем информации о каждом студенте в памяти машины можно будет использовать (как — это еще надо продумать!) для прогнозирования его будущей деятельности в науке.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Для тех, кто сейчас выбирает свой путь в науке, важно знать, как начинали его те, кто прокладывает эти пути. Расскажите, как вы пришли в науку?

С. Т. БЕЛЯЕВ. Что же здесь рассказывать? Окончил среднюю школу, собрался поступать в университет. Дорога к нему оказалась длинная. Через неделю после выпускного бала началась война. Пошел воевать. Был радистом по фронтовой разведке. Из моего класса вернулись домой немногие. Я вернулся в сорок шестом в звании младшего лейтенанта. Вот и весь сказ. Пошел учиться. Мы сидели в университетских аудиториях в гимнастерках и при орденах, прошедшие пекло. Мы уже кое-что знали про жизнь и про смерть и учились как черти. Не знаю, как это выразить... мы учились за всех наших товарищей, не дошедших до университетских стен. Мы поздно начинали, но я не верю, что нужно начинать как можно раньше, торопиться, дрожать: год-два проморгал, значит, «не успел». Я не верю в ученые утверждения о том, что пик творческой активности человека приходится обязательно на определенный возраст. Это все ерунда! Творческий расцвет зависит от вас самих — и только от вас! Раньше начали — раньше пик, отдача. Позже начали — соответственно дольше сохранится эта активность. Не по возрасту, а по началу настоящей работы надо смотреть. Если это так, если это верно, то просто вредно слишком рано начинать, вредно торопиться: к сорока годам человек уже выдыхается, он внутренне уже пенсионер.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Вы не пытались подкрепить вашу гипотезу статистикой?

С. Т. БЕЛЯЕВ. Нет, это трудно! Индивидуальность сильнее, чем систематика, поэтому настоящая социология всегда будет сложнее физики. Личность трудно вычислить. Вам уже трудно понять наше поколение... Мы резко отличались от нынешних студентов. И обстановка в вузе была другая. Первый год я учился на физмате МГУ, а потом Физтех открыли, пошел туда. У всех было огромное желание наверстать пять потерянных лет. Нагнать! С тех пор, по-моему, и пошли традиции Физтеха: учись, стисни зубы и учись! Я своим студентам часто говорю: многое я могу простить, но бессмысленную трату времени простить не могу.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Увы, до определенного возраста это воспринимается как резонерство, а когда истинную цену времени начинаешь понимать...

С. Т. БЕЛЯЕВ. ...Становится поздно!

КОРРЕСПОНДЕНТ. Читая воспоминания великих ученых, видишь, как много в их научном и человеческом становлении значил Учитель, человек, давший образцы настоящей принципиальности, разъяснивший тебе тебя. К сожалению, современная школа все больше деперсонифицируется. Но таланты не вырастают, как в инкубаторе. Кого вы считаете своим учителем?

С. Т. БЕЛЯЕВ. Это не простой вопрос. Их было много, я не хотел бы, называя одних, забыть о других. Физик-теоретик никогда не вырастает в одиночку. В Физтехе было много замечательных ученых, каждый из них многое передал мне. С первого дня учебы мы работали в институте Курчатова, и Игорь Васильевич внимательно следил за нашими успехами. Для меня он навсегда останется образцом коммуниста и человека. Нас воспитывала сама атмосфера института, а она во многом определялась личностью Курчатова. Огромное влияние оказал на меня Лев Давидович Ландау. Он был человек ироничный, внешне резкий, чуть что не так — мог прогнать и высмеять. Очень хотелось мне сдать ему знаменитый теорминимум. Позвонил ему домой, приходите, говорит. Пришел я, дал он мне задание, ушел в другую комнату. Не заладилось что-то у меня — чуть не прогнал. Пять экзаменов теорминимума я ему сдал....

Значительно позднее, уже сложившимся физиком, я стажировался в Институте теоретической физики Копенгагенского университета, у Нильса Бора. Работа там, встречи, беседы, сама атмосфера этого международного центра физиков для меня очень дороги. Нильс Бор был уже пожилым человеком, но он активно интересовался всем, что происходило в институте, был в курсе всех событий в теоретической физике. Коллектив был интернациональный, собрались крупные ученые из разных стран. Встречи, семинары, симпозиумы — вот центр нашего общения. Этот институт практически не имел штатных сотрудников. Бор главенствовал во всех дискуссиях; своим личным обаянием он привлекал и сплачивал людей. Там я на всю жизнь понял, как, в сущности, невелика наша планета, как интернациональна, доброжелательна настоящая наука.

КОРРЕСПОНДЕНТ. У каждого ученого есть своя «педагогика». А у ректора — и подавно. Не могли бы вы сформулировать ваши педагогические принципы?

С. Т. БЕЛЯЕВ. Мой главный принцип — максимальная самостоятельность всех. А формула... «Развитие самостоятельного мышления через самостоятельную деятельность» — вот так, пожалуй. Создать условия для того, чтобы человек мог раскрыть свои способности. Как, насколько это нам здесь удается,— уже другой вопрос...

КОРРЕСПОНДЕНТ. Спартак Тимофеевич, вы едины в трех лицах: и физик, и педагог, и — не побоимся казенного слова — администратор крупнейшего вуза Сибири. Каковы ваши принципы руководства людьми, научным коллективом?

С. Т. БЕЛЯЕВ. Я думаю, все определяется особенностями нашего университета. Главное наше отличие от всех других вузов, наше богатство и индивидуальность заключаются в том, что не существует университета без Академгородка, без Сибирского отделения Академии наук, без научных институтов. Для них университет создан и благодаря им существует. В этом смысле мы не самостоятельны. Но современный ученый и не вырастает, как в колбе, в старинных университетских стенах. Есть и особенности работы ректора в этих условиях. Я считаю, что моя задача — сделать контакты с институтами оптимальными. Из-за этого, кстати, у нас бывают большие неприятности. К сожалению, стереотип «собственного», «отдельного» очень силен, и его нелегко разрушить. Нас спрашивают: сколько у вас «своих» научных работ? А нам трудно отделить работу университета от академических институтов. Все крупные ученые, р а б о т а ю щ и е в науке на самых передних рубежах, преподают в нашем университете. Все ведущие профессора, включая меня, работают в институтах, имеют отделы, лаборатории, сектора. Наши студенты после третьего курса пропадают в институтах ядерной физики, гидродинамики, геологии, в химических институтах, в Институте экономики. Там студентов учат тому, что нужно сегодня, завтра в охоте за новой истиной. Новые кадры, свежая кровь позарез нужны науке — без них прекратится приток новых идей.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Кстати, о «свежей крови»: обмен студентами, аспирантами с другими вузами страны был бы для вас интересен?

С. Т. БЕЛЯЕВ. Да, конечно, и мы все время пытаемся этот обмен наладить. К сожалению, уровень знаний приезжающих к нам «чужих» студентов часто невысок. Мы уже пять лет формируем на математическом факультете группу по прикладной математике из студентов других университетов.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Не знаю, согласитесь ли вы со мной. Современные естественные науки настолько усложнились, развились, что овладеть ими, внести свой вклад можно, лишь полностью посвятив себя науке. Но человек не просто физик или биолог — он еще просто ч е л о в е к среди других людей в мире, который имеет свою историю. Студенты, молодые ученые естественных наук часто жалуются, что им не хватает времени на то, чтобы серьезно познать литературу, живопись, историю, музыку... А тяга к искусству у них огромная. Да и общение с другими людьми не может вестись только на основе профессиональных интересов — это было бы скучно и бесполезно. Как вы решаете эту проблему «раздвоения»?

С. Т. БЕЛЯЕВ. Когда наши студенты жалуются, что им не хватает времени на искусство, на то, чтобы в концерт сходить, я всегда радуюсь: если человек чувствует себя в чем-то обделенным,— уже хорошо, главное достигнуто, он понял, что физика или математика — это еще не все. Если он знает, чего ему недостает, если тянется к искусству,— найдутся и время, и книги, и билеты в театр. Я не могу сказать, что обладаю бездной свободного времени, но за литературой успеваю следить. Понимаете, хороших книг не так уж много, как нам иногда кажется. А шедевров и того меньше. Важно ни часа не терять напрасно. Я вот лечу в Москву,— беру книгу английскую. И в языке практикуюсь и книгу хорошую узнаю.

Музыку старую люблю. Она помогает сосредоточиться и отстраниться от суеты, сбить ритм. Поставлю стереопластинку и слушаю вечерами — Вивальди, Бах, Моцарт... Журналов много выписываю и просматриваю. Атмосфера университета, мне кажется, должна воспитывать широту интересов.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Университет — это не просто здания, портреты великих на стенах, студенты и преподаватели. Университет — это атмосфера, славные традиции... Есть ли свои традиции в вашем молодом университете?

С. Т. БЕЛЯЕВ. Я уже говорил вам, что атмосфера Науки — это атмосфера университета. Когда в XII веке появились первые «юниверситас»,— это были объединения преподавателей и студентов. Я считаю, о б ъ е д и н е н и е — это главное отличие любого университета. Это — главное в вузе. А еще — хорошие преподаватели. В новом вузе создать творческий, активный коллектив очень трудно. Для нас такой проблемы не было. Коллектив ученых создавали в Академгородке, а значит, и у нас. Одна из главных наших традиций — демократичность. Ученый любого ранга здесь доступен для студентов. Это особенность университета — все живут и работают рядом. Чванство здесь не проходит. Здесь очень легки контакты. Если студенты кого-то пригласят в свой клуб,— никто не откажется. Не знаю я такого академика. Не было у нас таких случаев.

Есть у студентов свои праздники: это такой народ — всегда что-нибудь выдумают. Есть у них перед весенней сессией буйный, озорной праздник — карнавал. Каждый наряжается кто во что горазд, всякий факультет придумывает свое. Процессия эта проносится через весь городок на площадь перед университетом. Здесь выбирают на год вперед королеву.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Красоты?

С. Т. БЕЛЯЕВ. Не только красоты. Она должна предвыборную речь произнести, порадовать остроумием и обещаниями. А кого выбирать — определит специальный прибор «шумометр». Кого громче приветствуют, та и королева. Королева целый год имеет привилегии, которые свято соблюдаются: без очереди обед в столовой, книги в библиотеке, билеты в клубе. Целый год ей королевские почести.

КОРРЕСПОНДЕНТ. А со стороны администрации она привилегий не имеет?

С. Т. БЕЛЯЕВ. Официальных (*смеется*) нет! Боимся, что иначе переманим из ВГИКа всех красивых девушек. Есть у нас праздники посвящения в студенты, есть свои праздники у физиков, математиков, химиков. Мы ничего не навязываем искусственно. Традиции — они складываются сами. Плохое уходит, оно не может стать традицией.

Беседу вел Виктор ЯРОШЕНКО.

Новосибирск,
Академгородок.





ИГОРЬ САНТУРЯН

человек из ресторана

Фото Сергея СЕМОВА.

Лет пять назад в случайном разговоре с товарищами я вдруг узнал, что один наш общий знакомый пошел работать официантом. Меня это сильно удивило. Удивило главным образом потому, что он был очень спесив, честолюбив и, главное, часто говорил о высоких материях. Кроме того, он отличался чрезмерной вспыльчивостью и по малейшему поводу или вовсе без повода мог затеять драку.

Я в то время работал шофером на «Первомайской» автобазе, был женат, но в ресторанах не бывал. Однако свое отношение к работе официанта и к официанту вообще у меня уже было. Из каких источников появились мои познания, не знаю. Но хорошо помню, что официант представлялся мне лицом униженным. Впрочем, не мне одному. В тот же вечер я рассказал жене об этом парне. Я помню, она сказала: «Представляешь, у него будет ребенок, и, когда он пойдет в школу, его, как и всех остальных, спросят, кем работает его папа. И что он ответит?» Я целиком был согласен с женой и про себя решил: к тому времени, когда мой будущий потомок станет школьником, обязательно окончу институт...

Я работал шофером только потому, что водить машину было для меня наслаждением. Но мне хотелось водить легковую машину, хотелось больших скоростей, а я ездил на стареньком «газике» и вместо визга резины на поворотах слышал грохот деревянных бортов на ровном месте и вопли грузчиков на ухабах. Однажды я поведал о своей страсти одному человеку, и он посоветовал мне идти работать в такси. Перспектива, конечно, заманчивая. Во-первых, машина не какой-нибудь «газик», а «Волга», и, во-вторых, полная свобода: никаких экспедиторов, никаких накладных, гони куда хочешь. К тому же работать через день, учиться можно. Одним словом, я убедил себя, что таксист не извозчик, и однажды утром, когда я уходил на работу, ко мне подошла мама и сказала:

— Ну вот, сегодня ты будешь работать самостоятельно, один в большой Москве. Ни пуха тебе.

Но пух был, были и перья, и чего только не было за эти несколько лет, проведенных в таксомоторе. Меня называли извозчиком, и холуем, и жуликом проклятым, и просто бандитом... И мне же, «проклятому жулику», говорили: «Молодой человек, вы так меня выручили, огромное вам спасибо». Сотрудник ГАИ сделал прокол в моем талоне за превышение скорости, а я тем не менее вовремя доставил в Домодедово безнадежно опаздывающего солдата. Меня любили и ненавидели, слезно благодарили и обещали зарезать.

У меня появились так называемые «левые» деньги. Я не делал ничего нечестного, не обсчитывал, не вымогал, не устанавливал собственных тарифов — просто мне давали чаевые, или я подсаживал иногда попутного пассажира, и он отдельно платил за себя. Когда-то меня коробило слово «чаевые», но стоило мне поработать в такси, и я перестал видеть в чаевых что-то зазорное.

Однако случилось так, что мне пришлось оставить руль, и я пошел работать... официантом. Во время моего первого выезда на линию я волновался, но только и всего, а вот когда я впервые в жизни вы-

шел в зал ресторана, чувства мои были совершенно пными. Мне трудно было найти в себе силы подойти к столу. Казалось, все гости зала следили за мной одним, за каждым моим неверным движением, а они были все неверными, и я это понимал.

Мне было очень стыдно. Почему? Я не знаю, но точно помню, что было именно стыдно. Ручник (салфетка несколько больше обычной), который так необходим официанту, был для меня помехой, и я не знал, куда его деть. Если в обращенном на меня взгляде я видел улыбку, я краснел и уходил, или, вернее, убегал из зала. Мне не хотелось отличаться от других, а я отличался, и любой, даже мимолетный взгляд элементарно фиксировал это отличие. Все ребята и даже девчонки, носили поднос на одной руке, а я нес двумя, да еще так неуклюже, что постоянно пиджак у меня был обильно смочен каким-нибудь супом или бульоном. Я попробовал нести на одной, как все, и... в общем, меня простили. Но все-таки ужаснее всего было то, что я очень стыдился своей профессии. Если мне приходилось встречаться со знакомыми и меня спрашивали, где сейчас я работаю, отвечал, что на старом месте, в такси, а ребятам из таксопарка говорил, что пошел на «персоналку», там меньше езды и больше платят. В общем, говорил все что угодно, кроме правды.

С мамой я чуть не рассорился. Она говорила, что отдала нам с братом половину своей жизни, работала не покладая рук ради того, чтобы мы учились, а я вот на̀ тебе — официант. Говорила, что, встречаясь со своими подругами, она не знает, куда глаза от стыда деть. Их дети закончили институты, а ее сын кто? Старший, тот хоть наконец образумился, в Тимирязевской академии учится, а младший так, наверно, ума никогда и не наберется. Я нагрубил ей, сказал, что мне наплевать на то, что думают ее подруги, что я живу так, как надо мне, а не каким-то там Клавдиям Петровнам... А вот жена меня удивила. Она сказала: работай там, где тебе нравится, а по мне лучше официантом, чем шофером, ты хоть в выходные дни не ходишь машину ремонтировать, а то вечно тебя дома нет.

Однажды около десяти вечера я стоял у серванта и с тоской поглядывал на своих гостей. Оба мои стола были заняты, но гости в этот вечер пожаловали скромные, и, отнеся за один стол шампанское и фрукты, а за другой четыре бифштекса и водку, я был совершенно свободен. Как раз в это время в зал вошли трое мужчин. Были они как на подбор высокие и худые. Наверное, потому, что я стоял к ним ближе всех да еще в отдыхающей позе, они сразу подошли ко мне.

— Послушай, начальник,— сказал самый длинный.— Мы приехали из далеких краев, приехали ненадолго. Мы хотим погулять, понял?

— Понял.

— Так чего же ты стоишь, раз понял?

— Видите ли, у меня нет свободного стола, и потому я не могу вас обслужить.

— Как это нет стола? Мы что, с собой должны стол приносить? Ты брось эти халдейские штучки. А это что, по-твоему? — сказал он, указывая на свободный стол у окна. Он взял меня под руку и повел к этому столу. Потом, усевшись в кресло, он измерил меня взглядом и гаркнул: — Ну ты, чего стоишь, как истукан? Мы гулять пришли, понимаешь?

— Понимаю.

— Ну так давай, давай вертись! — и совсем неожиданно рассмеялся и добавил: — Давай, родимый, давай.

— Но ведь это же мой стол, и я не могу за ним обслуживать. Сейчас я позову официанта, за которым закреплен этот стол, и он все сделает.— Я пошел за кулисы, позвал товарища и, подведя его к столу, сказал: — Вот Саша, он вами займется.

Гость внимательно посмотрел на меня, потом вытянул и без того длинную шею и сказал:

— Слушай, мальчик, я с тобой начал говорить, ты меня и обслужишь, а все эти Саши, Маши меня не интересуют,— и, жестом прервав мою попытку возразить, добавил: — Дай Саше червонец, напои его коньяком, и пусть он идет спать. А ты давай крутись, парень, на работе деньги делать надо, а не ушами хлопать.

Через минуту я стоял в ожидании заказа, положив перед ним меню.

— Мальчик,— сказал он, отдавая меню обратно,— ты эту книжечку Саше своему почитай, понял? Если ты выкинешь еще одну дурацкую выходку, мы встанем и уйдем, и ты никогда не узнаешь, кто такой дядя Прохор. Дядя Прохор — это я. Дядя Прохор гулять пришел. Дядя Прохор ждет, а ждать он не любит. Так вот, ты разворачивайся, беги в свои закрома и тащи все, что у вас есть.

— А пить что будете?

— Сержик,— сказал дядя Прохор своему товарищу.— Я же тебе говорил, что в такой глуши, как Москва, ничего не знают. Не знают даже, что̀ пьют порядочные люди. Мальчик, неси ящик шампанского, неси коньяк, ну шевелись, шевелись же, черт бы тебя побрал!

Через полчаса на столе было все, что есть в нашем ресторане. Было ассорти рыбное и мясное, было сациви и ростбиф, была осетрина заливная и горячего копчения, помидоры и миноги, кета и маслины, салат «Дружба» и закуска «Русская». В общем, стол был забит, как сочинский пляж в июле. Затем я принес воду, коньяк и, рискуя своим здоровьем, притащил ящик шампанского.

Дядя Прохор ни на что не реагировал, а впрочем, я его уже не видел. Не видел потому, что за столом сидело и стояло уже человек пятнадцать. Все, кто находился в этот вечер в зале, могли подходить к столику у окна и пить. Так оно и было. Одни лица сменялись другими, другие третьими, точно так же, как пустые бутылки на столе сменялись полными. Я только успевал приносить и уносить. Потом я напоил дядю Прохора двойным кофе. Двойной кофе в большинстве ресторанов отличается от обыкновенного тем, что он стоит в два раза дороже. Но гости желали двойной, а для хороших гостей чего не сделаешь! Наконец, я подал на пирожковой тарелке счет. Дядя Прохор не обратил на него никакого внимания. Он поднял голову и спросил:

— Сколько?

Я назвал сумму из трех цифр. Он достал из кармана пачку сторублевок, покрутил ее в руках и сказал:

— Нет, такие деньги тебе нельзя давать, молодой еще.

Все засмеялись. Затем он достал из другого кармана пачку пятидесятирублевых.

— Эти тоже нельзя давать,— сказал он.

— И для этих я молодо выгляжу? — спросил я.

— Нет,— ответил он, пряча деньги обратно.— Понимаешь, бумага у нас есть, а краски нет. Как завезут зеленую краску, буду расплачиваться такими.

Все заржали. Наконец он достал из брючного кармана десятирублевые. Но уже не пачку, а целую кипу. Он отсчитал названную мной сумму, убрал остальные обратно и под общее ликование принялся разливать шампанское.

Допустим, что этот дядя Прохор приехал в Москву с каких-нибудь золотых приисков. Допустим, что он заработал свои деньги трудом, который достоин уважения. Но достойно ли уважения мое «трудолюбие» в тот вечер? Я позволил себе снизиться до купеческого уровня дяди Прохора и стал «человеком» из ресторана — человеком в кавычках.

Я работаю в сфере обслуживания, где человеческие взаимоотношения достаточно обнажены. Ведь как ни говори, а далеко не на всякой работе можно столкнуться с дядей Прохором. И вот о чем я да и мои товарищи по работе часто говорим. В некоторых ресторанах ввели официальные чаевые. То есть пять процентов от общей суммы приписывается к счету дополнительно. Один процент из этих пяти отчисляется в фонд ресторана, а четыре идут в зарплату официанта. Так, например, в ресторане «Будапешт» официант получает двести рублей в месяц и даже больше, в зависимости от его выручки (я, например, получаю меньше ста рублей в месяц, из которых с меня непременно высчитывают и за посуду, которая постоянно бьется или вовсе исчезает, и за салфетки, которые тоже постоянно покидают стены ресторана...). Если бы каждый официант имел возможность заработать двести рублей в месяц, он бы избавился от разных соблазнов. Так думаю я, так думают многие другие, но проценты за обслуживание введены пока лишь в нескольких ресторанах — в Москве, во всяком случае.

Официант, помимо высокой сознательности, должен иметь и материальный стимул. Таким стимулом могут стать официальные чаевые. Иначе что получается? Зачастую «невыгодные гости» обслуживаются кое-как даже в ресторане такого высокого класса, как наш. В данном случае все мысли официанта сводятся к тому, как бы отделаться от гостя. Для чего? Для того, чтобы посадить компанию, с которой можно что-то получить.

И вот приходит такая компания, приходит дядя Прохор, и официант в погоне за «материальным стимулом» готов иногда превратиться в лакея. Был у меня такой случай. Как-то вошел в ресторан один мужчина прямо в пальто. Я сказал ему, чтобы он сдал пальто в гардероб. Он говорит:

— Я сам знаю, не в этом дело. Понимаешь, там меня такси ждет, я не могу расплатиться. У меня крупные деньги; может, разменяешь сто рублей?

— Нет, нечем.

— Тогда дай мне трешник, а потом мы с тобой разберемся.

Я дал ему три рубля, он рассчитался с таксистом и пришел обратно. Однако сел он не за мой стол, а за другой, к своим приятелям. Я занялся своим делом и забыл про него. А в конце работы я случайно оказался около этого стола, вспомнил о трех рублях и сказал:

— Послушайте, вы мне три рубля должны, помните?

— Да, помню, помню,— сказал он раздраженно.— Что ты суешься со своими копейками! Что вы за люди такие? Давить вас всех надо.

С этими словами он встал из-за стола и, продолжая осыпать меня подобными «комплиментами», достал из кармана довольно приличную сумму. Но когда он разворачивал деньги, у него упала сторублевка (сейчас, я не уверен в том, что он уронил ее случайно). Я тут же нагнулся, взял деньги в руку... и вдруг меня обожгла мысль: а зачем я это делаю? Почему я поднимаю его деньги? Ведь в данный момент я дико унижаюсь перед этим чванливым хозяином сторублевых купюр. Может, я надеюсь, что он даст мне не трешник, а пятерку или даже червонец? Но как ни быстра мысль, а пока я думал об этом, я успел уже разогнуться и стоял перед ним, протянув деньги. Он взял у меня свои деньги и, продолжая свой монолог, протянул мне десять рублей. Я уже не слушал его, внутри у меня все кипело, и я судорожно сжимал кулаки. Потом я взял этот червонец, скомкал и, с трудом удержавшись, чтобы не бросить его в лицо этому человеку, швырнул на пол, резко повернулся и ушел.

«Боже мой, как меня угораздило унизиться до такой степени,— думал я, докуривая третью подряд сигарету,— как я мог? Какого черта я поднял эти деньги?» Так было тогда, а сейчас я хорошо понимаю, почему я поднял их. Автоматически. Я, например, вижу, что один из моих гостей, разливая вино, сейчас уронит фужер, и тут же, иногда прямо на лету, подхватываю его. Я вижу, что человек чего-то хочет, и, поймав его взгляд, уже знаю, что ему нужны сигареты, и иду за ними без слов. Это профессиональная предупредительность, и появилась она у меня еще в такси. Но какой соблазн — стать излишне предупредительным! Стоит только однажды забыть о своем достоинстве и...

Мы часто говорим о капризных гостях. А гость и должен быть в хорошем смысле этого слова капризным. Он оставляет в ресторане за один вечер довольно весомую часть своего заработка, а за что? За шашлык, что ли? По-моему, нет. Он приходит в ресторан, как в гости, и за ним должны ухаживать. А кто должен ухаживать? Официант. Именно в этом заключается его работа.

Мои гости хотят хорошо поесть — я им приношу поесть, они хотят выпить — я им приношу выпить; но вдруг они перепили и затеяли драку — кто за это ответствен? Я, как хозяин дома. Чтобы было понятнее, насколько высока эта ответственность, приведу пример.

Не знаю, с чего началось, я на кухне был, а как шум услышал, сразу выбежал в зал. Там уже молотились вовсю человек десять. В зале визг, шум, звон кругом. Девчонка одна парня своего за руки сзади схватила и орет: «Не надо, Витя!» А Вите бедному нос уже шире скул сделали...

Но ведь эти разъяренные юноши два часа назад были приветливы, улыбались. Как же они умудрились так быстро перевоплотиться? Очень просто: они напились. А в лексиконе нашей администрации нет такого выражения — гости напились, есть другое: официант напоил своих гостей. И на следующий день после этой драки два наших официанта были уволены с работы. Но что значит — напоил гостей? Ведь существуют установленные нормы на продажу спиртных напитков? Да, существуют: сто граммов водки на человека. Водка одна и та же, а вот люди разные. Одному ста граммов достаточно для того, чтобы жевать занавески, а другой выпил и — незаметно.

У меня однажды сидели муж с женой. Они заказали бутылку водки, а я принес двести граммов, ссылаясь на постановление. Он говорит: «Мы в Ангарске живем, там спирт питьевой пьют вместо водки, так что сто граммов для меня капля в море». Я говорю: «Нельзя. Если хотите, возьмите бутылку коньяка, он не ограничен». А он мне: «Я заплачу тебе за коньяк, а ты принеси водку. Ну сам подумай, как мы будем коньяк селедкой закусывать — ты уже принес нам селедку».

Я говорю: «Нет, нельзя». Долго он меня уговаривал, а я все на своем стоял. Потом он приподнялся и сказал мне на ухо: «А вы знаете, молодой человек, вы сейчас очень на идиота похожи». Я говорю: «Честное слово, я не идиот, у меня инструкция...»

Он говорит: «Ну тогда получите с нас, сколько мы должны, и сами ешьте свою селедку вместе с вашей инструкцией»...

А тем временем двери нашего ресторана распахнуты настежь, мы ждем гостей, и они к нам идут. Приходят люди отдохнуть, потанцевать, поговорить или просто поесть.

Но есть люди, которые не по какой-то случайности зашли в ближайший ресторан пообедать, а ходят регулярно и всегда в одиночестве. Официанты их называют одиночками. Никто не утверждает, что одиночка должен быть обязательно психом, но обслуживать эту категорию гостей все в один голос отказываются. Тем не менее одиночки не умирают с голода, а значит, их все-таки обслуживают. Одиночка — чаще всего мужчина лет сорока пяти — пятидесяти. Он занудлив, педантичен и скуп. Обычно он носит очки, бывает грузен и обязательно обладает блестящей, больше, чем его портфель, лысиной.

Итак, в зал вошел одиночка. Он никогда не сядет за первый стол, напротив, если даже в зале никого, кроме него, не будет, он пойдет в глубь зала. Идет он очень медленно и без конца озирается по сторонам. Да ему есть отчего озираться — за каждым его шагом внимательнейшим образом наблюдают все официанты без исключения. Причем одни только наблюдают, стараясь сохранить при этом деланную непринужденность, другие выходят из-за своих укрытий и, рискуя быть наказанными, идут защищать свои столы. Рискуют они потому, что есть в зале человек, который отлично знает повадки одиночек и еще лучше — контратакующие действия официантов. Это метрдотель. Он сидит за своим столом и спокойно наблюдает за всем происходящим. Иногда на его серьезном лице появляется улыбка. Я знаю, почему он улыбается. Ведь раньше он тоже был официантом, и ему, конечно, приходилось иметь дело с одиночками. Вот один официант быстро идет навстречу одиночке, который подошел к его столу. Я стою рядом и, увидев, как Толик приближается к одиночке, уже не сомневаюсь в его успехе. Толик идет быстрым шагом, размахивает ручником и без конца шмыгает носом. Вот одиночка взялся за спинку кресла, и в этот момент Толик, поравнявшись с ним и не поворачивая головы, не замедляя шага, быстро говорит: «Проходите вперед». И идет дальше, не оборачиваясь. Это коронный прием Толика. Одиночка тут же отходит от стола, немного топчется на месте и потом идет вперед, как ему было сказано. Не успевает он подойти к следующему столу, как перед ним, словно из-под земли, появляется официант и говорит: «Этот столик заказан». Таким образом, поблуждав по залу, одиночка в конце концов садится за первый столик, именно за тот, которым он пренебрег вначале. Теперь он становится хозяином положения. Он берет меню и сразу, предупредив официанта, что очень торопится, на полчаса погружается в изучение этой незамысловатой книжицы. Наконец меню изучено, и у него принимают заказ.

— Мне, пожалуйста, селедочку с гарниром, потом... да, принесите, пожалуйста, к сельди отварной картошечки.

— Если вы хотите сельдь с картошечкой,— говорит официант,— то возьмите натуральную, она подается с отварным картофелем.

— Да, да, гм... нет, мне, пожалуйста, с гарниром. Так вы принесете мне картошечки? Всего пару штучек, я вас прошу.

— Но, товарищ, поймите, мне никто не даст картофель к сельди с гарниром. Возьмите натуральную, она стоит всего на шесть копеек дороже, но это ведь совсем другое дело. Хорошая селедочка с горячим отварным картофелем, уверяю вас, вы останетесь довольны.

— Сельдь правда хорошая?

— Отличная.

— Картошечка горячая?

— Ну конечно!

— Да, это хорошо, очень хорошо, гм... тогда... а салат «Дружба» у вас с курятиной?

— Да, с курятиной, как и «Столичный», только еще и с фруктами.

— Хорошо, гм... тогда мне, пожалуйста, селедочку с гарниром. Потом вот тут у вас написано борщ «Московский», хороший борщ?

— Очень хороший.

— Принесите мне половиночку.

— Половинок у нас нет, потому что выход маленький, всего триста граммов.

— А-а, понимаю-понимаю, а вы ведь можете от этих трехсот граммов отлить половиночку?

— Могу отлить половиночку, могу даже весь вылить, но платить-то вам придется за полную порцию.

— Как — за полную, почему?

— Потому что у нас нет половинок.

— Да, да, гм, понимаю, нехорошо, нехорошо, гм... Ну ладно, ладно, давайте целую. А вот у вас есть куры отварные?

— Есть у нас куры отварные, гарнир рис, половинок нет, картошки тоже. Что еще?

— Вы не грубите, не грубите, я ведь к вам не домой пришел, да, гм... Вот судак, соус польский у вас хорошо готовят?

— Уважаемый товарищ, у нас все очень хорошо готовят.

— Серьезно? А впрочем, да-да, я у вас часто обедаю, кухня хорошая, гм... А судачок свежий, говорите?

— Свежий, только что поймали, я его лично ловил, вот этими руками, за зебры.

— Ха-ха-ха-ха, молодец, ха-ха, веселый молодой человек, молодец, да. Ну принесите, принесите, пожалуйста, да, гм... курочку отварную с рисом и хлебушка.

— Все?

— Да, да, все, гм... и пожалуйста, бутылочку минеральной воды, боржоми.

— У нас нет боржоми, есть нарзан, устроит вас?

— Нарзан, да, да, пожалуй, гм... а может, вы достанете бутылочку боржоми, ну там, ну вы знаете, ведь у вас, наверное, есть, а?

— Нет у нас боржоми, нет, понимаете?

— Да ну ладно уж, ладно, несите нарзан, да, безобразие, гм... Только, пожалуйста, как можно быстрее, я очень тороплюсь.

— Хорошо, я постараюсь.

— Вы очень любезный молодой человек, спасибо, да, гм... А вы, может быть, к селедочке принесете парочку картошечек, а? Только горяченьких, ладно? Я вас очень прошу.

— Принесу,— тихо говорит официант.

Я встречаю его на кухне. Он клянчит у поваров пару картошин.

— Картошечку к селедочке с гарниром? — спрашиваю я у своего товарища.— Да ты не обижайся... Знаю я твоего гостя. Он у меня позавчера сидел. Да, кстати, когда пойдешь рассчитываться, захвати с собой счеты.

— Какие счеты? — спрашивает он в недоумении.

— Обыкновенные. Сбегай в бухгалтерию и попроси. Иначе ты до вечера не рассчитаешься.

— А дадут там счеты?

— Дадут, они знают...

Но вот наконец уходят одиночки, обеденники, за окнами сгущаются сумерки, наступает вечер. В зале светятся разноцветные огни люстр, играет оркестр.

Я сидел на нашей внутренней лестнице и смотрел в окошко. Ко мне подошел товарищ и сказал: «У тебя за большим столом сидят». Я вышел в зал. В этот день у меня были самые дальние от входа столы. Большой и маленький. За большим столом у окна сидели парень с девушкой. Я подошел к ним и спросил:

— Вас двое?

— Да,— ответил парень.

— Вы не могли бы пересесть за маленький столик?

Они встали, покрутились около маленького стола и подошли к другому официанту. Мне неловко стало, и я ушел за кулисы. Минут через пять я опять вышел в зал и увидел, что эта парочка стоит около моего большого стола. Черт возьми, какой же я сухарь, подумал я вдруг, ведь они хотят уединиться и потому сели в уголок у окошка. Может быть, сегодня за моим столом в углу зала он скажет ей первый раз: «Люблю». А в это время я забочусь только о своем дурацком плане. Я вновь подошел к к ним и, отодвинув кресло, пригласил девушку сесть. Она с такой благодарностью посмотрела на меня, что я и сейчас помню этот взгляд. Взгляд, который не заменят никакие чаевые... Народа в этот вечер было много, но я никого не сажал за этот стол, а самым любопытным говорил, что к этим двоим сейчас придут друзья.

По заказу и по тому, как парень стеснялся, я определил, что денег у него мало, а когда он стал рассчитываться и протянул мне лишние три рубля, я понял, что он их сэкономил на своем заказе для того, чтобы отблагодарить меня. Я прижал его руку к столу и сказал так, чтобы слышала девушка:

— Все хорошо, спасибо.

Как-то мы с ребятами стояли в фойе ресторана и курили в «рукав» — нам нельзя курить на виду. На входной двери висела табличка «Мест нет», а за дверями толпились гости. Я случайно посмотрел сквозь стеклянную дверь и встретился взглядом с симпатичным парнем лет двадцати. Он умоляюще смотрел на меня и махал мне рукой. Я подошел к двери и сказал швейцару, что мне надо выйти. Не успел я очутиться за дверью, как этот парень подлетел ко мне и сказал:

— Посади, кореш, тут дружок из армии пришел.

Их было четверо. Свободный столик у меня был, и через пятнадцать минут они уже чокались. А затем два моих новых гостя решили, очевидно, удивить окружающих оригинальностью своего танца. Они встали друг против друга и, выждав паузу, начали трясти головами, испуская при этом такие вопли, что оркестра со всеми его усилителями и динамиками не стало слышно. Затем в движение пришли руки, ноги и, по-моему, уши. А когда они вытолкали с площадки всех танцующих, у меня вдруг появилось желание взять их «за шкирку» и деликатно попросить удалиться. У них же после такого дикого галопа возникло желание выпить еще. Один из них лаконично щелкнул пальцами и довольно громко выкрикнул: «Гарсон, бутылку водки!» Я подошел к столу и сказал: «За следующий подобный танец метрдотель вас выведет из зала, а если я еще раз услышу «Гарсон», то тебе это не пройдет даром». «Ну ты не выступай,— сказал один из «балерунов»,— бабки получишь, чего тебе еще надо?» «Да ладно, корешок, не обижайся, все путем будет, принеси пузырек и выпей с нами»,— сказал демобилизованный.

Я принес водку, а пить, конечно, не стал. Ребята выпили, успокоились, у них завязался какой-то разговор. Следующий раз я подошел к ним уже перед закрытием. Они рассчитались и ушли. Когда я кончил все свои дела и вышел из ресторана, было темно и ни души вокруг. Вдруг от угла отделились четыре тени. Это были они, мои гости.

— Долго ты что-то,— сказал танцор,— мы уже заждались.

Я ничего не ответил и хотел идти дальше, но не успел я сделать и шага, как он замахнулся. Выхода не было, и я врезал ему и отскочил в сторону. Он плюхнулся на колени. Ребята этого явно не ожидали и растерялись. Я воспользовался ситуацией и, засунув руки в карманы, подошел к ним.

— Что же вы такие дешевые, вчетвером против одного?

— Правда, ребята, подло ведь,— сказал демобилизованный.— Что мы делим-то?

Которого я ударил, Валеркой звали. Разговорились.

— Ладно,— сказал он,— что было, то прошло, а все-таки чего тебя так разобрало от слова «гарсон»?

— А того, что я не гарсон.

— Ну, в Союзе официант, а загранкой гарсон, какая разница?

— А такая. Ты, кстати, кем работаешь?

— Токарем.

— Ну и чем же ты от меня отличаешься?

— Во всяком случае, я ни перед кем спину не гнул и деньги честным путем зарабатываю, пусть меньше, чем ты, но честно.

— Ты не бросайся словами, я не продажный. Вот сегодня у меня было два стола, я на них и работал, а другой парень туристов обслуживал, он «откормил» их в девять и домой ушел, а столы остались. Вот за одним из этих столов я тебя и обслуживал, а в мои обязанности это не входит. Кроме того, ты на обед полтинник тратишь, а у нас за полтинник чайку только попить можно, а я на работе с утра до ночи нахожусь и на одном чае до вечера вряд ли дотяну. И на метро после работы я обычно не успеваю, а на такси надо минимум трешник. Вот ты подсчитай, сколько у меня в месяц на все уходит...

— Ну, хорошо, оставим деньги в покое. Я вот сижу себе за столом, водочку попиваю, а ты бегаешь вокруг меня, не так разве?

— Ребенок ты, Валерка. Я-то ведь на работе нахожусь, а ты отдыхаешь. Ты представь себе, что в твой цех стол поставят, я приду с друзьями и буду водочку попивать, а ты в это время будешь бегать вокруг своего станка, а?

— Я не бегаю, а стою.

— Если мы в вашем цехе гулять будем, ты не выдержишь и начнешь бегать вокруг станка, а потом у тебя голова закружится, ты упадешь, и мастер тебя с работы выгонит.

Посмеялись. Валерка не обиделся, тоже смеялся.

— Валер,— спросил я опять,— а где ты научился так отплясывать?

— Чего ты понимаешь, загранкой все так танцуют.

— Это кто тебя так просветил?

— А чего тут просвещать? Ребята показали, да я и сам знаю, это только у нас не понимают, возьмутся за руки и топчутся, как лоси.

— Идиоты твои ребята, и ты скоро таким станешь, если не поумнеешь. В нашем ресторане и французы были, и американцы, и итальянцы, но никто из них не изображал павианов. Вот летом у нас их много будет, приходи — посмотришь.

— Ты сейчас сагитируешь, брошу станок и приду к вам гарсоном.

— Приходи и станок с собой приноси. А ты, Сережка, куда работать пойдешь? — спросил я демобилизованного.

— Да я вчера только из армии пришел, отдохнуть надо немного, а там видно будет. Скорее всего на Север уеду, я служил там. Вот с ребятами спишусь, и все вместе поедем. Мы, когда прощались на вокзале, решили погостить дома чуток — и в дорогу.

— Уезжать будешь, загляни,— сказал я.

В следующую смену брат ко мне на работу приехал. Первый раз за все время. Неорганику сдал на отлично, а за нее он больше всего переживал. Посадил я его за стол и спрашиваю:

— Ну как я со стороны выгляжу в новом амплуа?

— Если отбросить родственные чувства, то так же, как остальные; если как брат брату, то я не хотел бы тебя официантом видеть. Ты только правильно пойми меня. Мы с тобой современные люди, в столице живем, и разговор о том, стыдно ли официантом работать, не для нас. Я о другом. По-моему, человек должен работать там, где он больше всего пользы принесет. А я отлично знаю твои возможности и потому считаю, что ты можешь больше, чем подное носить. Ведь в твоей работе очень много тонкостей, и чтобы стать классным официантом, нужно проработать десяток лет, не меньше. А ты уверен, что тебе стоит тратить десять лучших лет своей жизни для того, чтобы достичь высот в этой сфере? Нужны ли тебе эти высоты?

— А что ты можешь предложить?

— В данный момент — бутылочку пива, а вообще ничего. Сам думай.

Потом, когда брат ушел, я долго размышлял над его словами. Действительно, профессии все без исключения нужны и по-своему интересны, а вот в их выборе лучше не ошибаться.

Что привело меня в ресторан? Было это зимой, я приезжал за официантами в «Дружбу» и развозил их по домам. Помню, холодно очень было, а я еще баллон менял на линии, замерз страшно, а как вошел в ресторан, там тепло так, уютно, музыка играет. Я ребятам сказал, что здорово им живется, а они действительно довольны своей работой были. И начали они меня потихоньку агитировать. Долго агитировали, а я все ломался.

А потом я пьяного одного сбил, нервы шалить начали. Правда, я не виноват был, и все обошлось, но руки дрожать стали. Две недели я по ночам не спал, мучился. Сам не свой был. Ведь легко сказать «сбил», а если вдуматься, то мурашки по коже бегут: тормозни я чуть позже... Вот тут я и решил руль бросить. Конечно, смалодушничал. Если бы потерпел еще месяц, то не ушел бы, но так уж получилось. А теперь, откровенно говоря, не жалею. Правда, иногда за руль тянет, очень тянет, но это иногда.

А недавно я сидел дома, на кухне, и писал о дяде Прохоре, а жена уборкой занималась и, добравшись до кухни, прогнала меня. Я взял тетрадь, сунул ее в карман и решил пойти подышать воздухом. Я долго бродил по улицам и наконец очутился на Третьей Парковой. На углу Третьей Парковой и Первомайской улиц есть маленький ресторанчик под названием «Восток». Я решил зайти туда перекусить. Я устроился за свободным столом у окна. Напротив меня сидела шумная компания. Помимо прочих напитков, за столом у них было пиво. Я очень люблю пиво. Однако ко мне никто не подходил, и я решил не терять времени даром. Достав тетрадь, я положил ее на стол и принялся писать. Через некоторое время подошла официантка. Я заказал три бутылки пива, заливную рыбу и лангет. Она сказала, что пива нет. Я был абсолютно уверен, что пива нет только для меня — ведь я пришел один, и пришел днем, а значит, просто пообедать. В данный момент я был одиночкой. Правда, не таким, какого я уже описал, но тем не менее одиночкой. Я сказал тихонько:

— Девушка, я заплачу вам, только принесите, пожалуйста, пиво.

— Нет у нас пива! — заорала она на весь ресторан.— И не предлагайте мне лишние деньги.

— Ну, нет так нет,— ответил я и принялся «за дядю Прохора». Потом она принесла заливное, отшвырнула мою тетрадь, отставила в сторону мою закусочную тарелку и поставила передо мной лоток. Подала вилку и нож. Причем приборы она держала не за ручки. Я взял эти приборы и отложил в сторону, а себе положил другие, те, что лежали напротив. Потом я подвинул к себе тарелку, переложил в нее заливное и стал есть. Она очень выразительно посмотрела на меня и сказала: «А здесь, между прочим, не библиотека, здесь люди пьют, а не уроки делают». Я поблагодарил ее за информацию и продолжил трапезу. Когда она принесла лангет, то, ставя его на стол, предложила мне закругляться «пошустрее», так как подошло время ее обеденного перерыва. Я сказал: «Хорошо, я сейчас проглочу один кусок лангета без процесса жевания, а второй положу в карман и съем дома». Я расплатился, не спеша проглотил оба куска, потом подошел к другой официантке, заплатил ей за пиво, которое она тут же принесла, и пошел домой. Конечно, я мог купить пиво в магазине, без всяких наценок и доплат, но мне хотелось убедиться в том, что пиво есть, а выпить его я предпочел дома, потому что официантке нужна была компания, а не я со своей писаниной. А мне, в свою очередь, нужна была официантка, которая быстро обслужила бы меня, не мешая при этом писать, плакать или, на худой конец, жевать свой лангет.

ОТ РЕДАКЦИИ

Игорь Сантурян, который принес нам эти записки, работает официантом в московском ресторане «Дружба». Сантуряну — двадцать четыре года, в печати он выступает впервые.

Его записки привлекли нас своей непосредственностью. Не боясь откровенных признаний, не приукрашивая самого себя, Игорь Сантурян касается весьма острых вопросов, с которыми иногда сталкивается человек, работающий в сфере обслуживания. Не все суждения автора можно принять. В иных случаях — просто недостает необходимых нравственных оценок. Редакция, публикуя этот материал, оставляет за собой право возвратиться к нему и продолжить разговор на эту тему.

Сегодня, когда партия призывает юношей и девушек работать в сфере обслуживания, привнести в эту работу молодой задор, высокую комсомольскую принципиальность, честность, инициативу, «Юность» начинает этой публикацией разговор о проблемах и нравственном облике молодого официанта, продавца, таксиста... Мы приглашаем к участию в этом разговоре обе стороны — и тех, кто обслуживает, и тех, кого обслуживают.





Я + Я = СЕМЬЯ

В январском номере «Юности» под этим названием был напечатан первый диалог. Состоялся он в результате встреч наших корреспондентов Николая Булгакова и Аллы Боссарт с пятью парами молодоженов. Высказывания очень молодых молодых о проблемах, с которыми они столкнулись, став семьей, были вынесены на страницы журнала. Принять участие в разговоре приглашались все, кого он заинтересует. Сразу стали приходить письма. Сегодня мы публикуем отклики четырех наших читательниц (пока только читательниц...) и писателя Михаила Рощина. Естественно, мы ими не даем ответа на поставленные участниками диалога вопросы. Вряд ли они тут вообще возможны, точные ответы... Каждый должен все это решать самостоятельно, наедине с собой. Но как раз для такого размышления мы и предлагаем вам эту публикацию. А разговор продолжается! Еще не раз и не два мы вернемся в журнале к различным сторонам этой обширной темы — «Я + Я = СЕМЬЯ», к письмам, в которых она затрагивается. Надеемся, к тому времени подоспеют ваши отклики и на материалы этого номера. Так что пишите, ждем!

Я+Я... что еще надо?

Прочитала с подругой статью «Я + Я = семья»! Мы очень рады, что редакция решила вести разговор на такую личную и сложную тему.

Особенно меня заинтересовало такое суждение: «Мне не нужно никаких оформлений, я считаю, что могу сойтись с человеком и жить с ним нормальной семейной жизнью, вовсе не расписываясь... А необходимость эта только одна — ребенок, в общем-то это и делается из-за него»...

По-моему, очень верное суждение!

Ну к чему все эти расписки, бумажки???

Знакомые девочки сразу ахают: «Вот он соблазнит тебя и бросит, кому ты тогда нужна будешь?!» (Заметьте, такое мнение не только у стариков.)

Глупости какие!!! — начинаю я доказывать.— Неужели, если я ошибаюсь в человеке, какая-то бумажка удержит его? И если даже он останется со мной «благодаря» этой расписке, тем хуже для меня и моих будущих детей. Какая мука — жить с нелюбимым! И страшно ошибаются те женщины, которые говорят: «Живу с мужем только из-за детей». Дети все видят, все понимают; они глубоко переживают неблагополучные отношения между отцом и матерью. От такого самоотречения матерей им только хуже. Поверьте, родители!!! Это уже проверено и испытано нами!

А не будет этой бумажки (то есть расписки), ему ничто не помешает уйти! Вот и хорошо!!! Лучше быть одной, чем с ним, которого удерживает только расписка. Это унизительно!

«В конце концов это аморально!» — восклицают мои сверстницы. «Гораздо аморальней продолжать совместную жизнь без любви! — говорю я.— Главное, это противопоказано детям».

Я уверена, что многие девчонки думают так же. Стоит попробовать пожить с Ним семейной

жизнью. Я верю в физическую несовместимость (может, медики выскажут свое мнение?).

Да и надо узнать Его поближе, дома, в быту. Статистики утверждают, что многие семьи распадаются из-за этих самых повседневных мелочных бытовых проблем.

Мне, кстати, 20 лет. Я бы и сейчас рада выйти замуж. И родить мальчишку или девчонку. Но мне еще учиться пять лет (и то, если поступлю на этот раз). А учеба и ребенок, по-моему, несовместимы.

До свидания!

С комсомольским приветом
Наташа.

Московская обл.



Здравствуй, дорогая редакция! Меня зовут Наташа, мне 22 года. Я давно выписываю журнал «Юность», но пишу в редакцию впервые.

Ты приглашаешь всех принять участие в разговоре о молодой семье. Вот и я решила написать о себе и о своей семье. Я вышла замуж, когда мне было 19 лет, ему 21 год. И я и он уже работали. Я работала в связи, а он приехал в Архангельск и устроился в Аэрофлот авиатехником. Три года — немалый срок, чтобы присмотреться получше друг к другу. И вот мы решили пожениться.

Делать свадьбу не хотели, просто думали: распишемся, посидим в кафе, и все, потом поедем в отпуск куда-нибудь. Но родителям нужна была свадьба, что они и сделали.

Жить мы решили отдельно от родителей, поэтому сразу же ушли на частную квартиру. Все у нас было хорошо, все ладилось, все дела делали вместе. Вскоре появился у нас сын, радостям не было конца, хотя прибавилось и забот. Потом я пошла работать. Работали мы в разные смены, так как не с кем было оставлять сына, а в яслях не было мест. Трудно приходилось, но мы вроде и не замечали этого. Когда у меня была первая смена, муж оставался дома с сыном и успевал сготовить обед, постирать пеленки, затереть пол, вымыть посуду, вообще прибрать дома, а если что и не успевал, то доканчивала я после работы, и наоборот. Мы никогда не подразделяли обязанности на мужские и женские. Однажды к нам в гости приехала его мать, и когда она узнала, что ее сын варит, стирает, моет, очень удивилась. Когда вечером муж собрался выстирать себе носки (я занималась с сыном, а мать читала), мать поразилась его действиям и сказала, что это должна делать жена, и прочитала целую лекцию, что должна делать жена и что муж. После этого пошли ссоры.

Оказалось, что мыть, стирать, варить, шить, одевать и обувать и т. д. и т. п. должна жена. Даже сына отводить в ясли и забирать его домой должна жена.

Сыну скоро будет 2 годика, его взяли в ясли. Даже если дома нет воды и дров, то почему бы не сходить самой, в то время как муж культурно отдыхает (читает газету, смотрит телевизор). Говорить с ним было бесполезно. Когда я сказала, что жить так больше не хочу и подам на развод, он не поверил, думал, я шучу.

Но я все же решилась. Когда нас вызвали и поговорили, многое объяснилось, он решил измениться, и дело пока отложили.

Его послали в командировку, и опять у нас беда. Случайно я узнала, что он там познакомился и ходит к одной женщине. Долго думала, как поступить, что делать, и решила посоветоваться с его родителями.

Они ответили: «Решайте все без посторонней помощи»,— обвинили меня во всем, чего я никак не ожидала, вместо того чтобы помочь. Ведь это же их сын, и они его воспитывали, к кому же, как не к ним, мне обращаться. От своих родителей я скрыла, что муж загулял, потому что мне стыдно, не знаю почему, но очень стыдно за мужа. Вот сейчас живу и думаю каждый день, что делать. А как хочется сохранить семью, не калечить ребенку душу, что у него нет отца.

Не хочется быть рабыней, крутиться, как белка в колесе. Хочется отвлечься от всех домашних забот, сходить куда-нибудь или позаниматься с сыном. Но никак у меня это не выходит.

Вот и все...

До свидания.

Наташа Ж.

г. Архангельск.



Прочитала в 1-м номере статью «Я + Я = семья» и вот уже второй день хожу под впечатлением. Считайте мое письмо исповедью (ведь перед незнакомыми легче выговориться), я не прошу ни совета, ни участия, но, может быть, мой опыт кому-то и поможет.

Немного о себе: в 1972 году закончила горьковский иняз. Сейчас работаю в деревне. Семейный стаж — год. Муж учится на третьем курсе этого же института. Мне 23 года, ему — 20.

Познакомились мы с Витей в стройотряде. Несмотря на свой довольно-таки уже солидный возраст (21 год), я плохо разбиралась в людях, плохо знала жизнь. Мои сутки были поделены между учебой, книгами и собаками. Одним словом, нелюдимка, даже друзей не было. Их мне заменяли книги и собаки. И вот, попав в такой большой коллектив, я не то чтобы растерялась, а просто меня ошеломила эта кипучая жизнь. Многие приехали чуть ли не целыми группами, то есть уже имели знакомых. Я же никого не знала. Мне Витя понравился тем, чего мне недоставало: своей общительностью, умением рассмешить окружающих, способностью подметить смешную сторону в обыденном. Мы стали работать в одной бригаде. Пожалуй, он тоже завоевал меня сказками (как в вашем диалоге). Целый день на прополке под палящим астраханским солнцем с непривычки было трудно работать. А за сказками и рядки пропалывались быстрее и время летело незаметно. Начав учиться, мы продолжали встречаться. Мне нравилось опекать Витю, помогать ему в учебе, делать небольшие подарки. (Раньше меня опекали:

я дружила со своими школьными товарищами. И вот захотела попробовать себя в роли опекуна.)

Когда родители узнали, что мы хотим пожениться, был страшный скандал. Его родители подумали, что обстоятельства вынуждают их сына жениться. Мои родители были против из-за того, что Витя им просто не понравился. Мама убеждала меня не торопиться и все обдумать. Папа действовал с мужской прямотой: «Запрещаю, и точка!» Но нашла коса на камень. Я настояла на своем. Сразу же после свадьбы мы ушли на квартиру. Дома я показывалась раз в месяц, чтобы просто сказать, что жива-здорова. Отношения с родителями продолжали оставаться натянутыми. Бюджет наш был довольно скромен: 110—120 рублей на двоих (две стипендии плюс помощь родителей), из которых 30 руб. за комнатушку 4 м^2 да около 5 рублей на дорогу. Я сейчас сама удивляюсь, как я могла крутиться на эти деньги. Тут еще ко всему стал намечаться ребенок. Мой Витя сложил с себя все заботы, предоставив мне одной решать эту проблему. И я ее решила не в пользу ребенка.

Летом мы вместе опять поехали в стройотряд. Проработав здесь месяц, я вернулась на место работы. До первой получки надо было месяц жить. Хорошо, что мама дала 100 рублей, Витиных же денег я не видела. И вот уже полгода мы живем врозь, то есть видимся только по праздникам. То он ко мне приедет, то я к нему.

Сейчас, задумываясь над прошлым, я не могу понять, отчего же я с такой поспешностью вышла замуж. Я знала, что меня пошлют в деревню, знала, что будем жить отдельно. Пожалуй, это была боязнь остаться одной. В 25 лет сужается возможность знакомств. На танцы не пойдешь — там одни 15—17-летние. В школе, где будешь работать, тоже преимущественно женский коллектив. А к знакомствам на улице, в трамвае я как-то недоверчиво отношусь, да и мой нелюдимый вид отбивает к этому охоту.

Что же мне дала семейная жизнь? Zero (ноль), как говорят французы. Пока жили на квартире, все хлопоты были на мне: стирка, уборка, заботы о том, что поесть и на что поесть, поиски сносной квартиры, так как Витя всегда был «занят» (хозяйка была сумасшедшая плюс запои. Весь день пьет, а ночью до утра дебоширит).

На месте работы, в деревне, опять все на мне: пилка и колка дров, подготовка квартиры к зиме. Мой Витя тоже не остался в стороне. Приехал, когда дрова были перепилены и почти все переколоты. Конечно, последовали возмущенные возгласы: «Я бы тебе сам все сделал!» Этим и закончилось.

Одним словом, я вот теперь и раздумываю: «А зачем мне муж? Для лишней заботы и работы?» Он меня уверяет, что любит. И я верю ему. Но весь вопрос в том, что это за любовь. Так любят корову, пока она доится, а иначе ее просто прирезают на мясо. По мне пусть лучше меня человек даже ненавидит, лишь бы он помогал мне, хоть чуточку заботился обо мне. «Люблю» — это пустой звук, если он не подкрепляется делом.

И все-таки я не раскаиваюсь, что вышла замуж. Теперь по крайней мере я ясно знаю, какого бы человека я хотела повстречать. Я чувствую, что мне предстоит выдержать дебаты с Витей. У меня нет к нему ни злости, ни обиды, только жалость. Я-то сильная, я выдержу, а вот он как? Мое чувство к нему можно назвать как угодно: жалостью, снисходительностью. Но все-таки это уже не любовь. Лучше рубить узел сразу и не тянуть. Виктор мне не дает развода, надеясь, что я побунтую-побунтую да и стану прежней. А я уже просто не смогу быть прежней. Деревенская жизнь и борьба с «трудностями» (я взяла это слово в кавычки, так как настоящими трудностями это назвать нельзя, но для городской девочки это трудности: дрова, печка, продукты. Здесь ничего нет. Все приходится везти из Горького. А это от станции 6 км до деревни, и все надо нести на себе) закалили меня и морально и физически. Я поняла, что с таким же успехом смогу прожить и одна. И все-таки иногда и мне хочется, чтобы меня приласкали, как маленькую.

Пожалуй, в моем письме почти совсем нет ответов на поставленные вами вопросы.

Поэтому постараюсь коротко, но мотивировать свою точку зрения.

а) Быть самим собой, не стараться произвести наивыгоднейшее впечатление (а так бывает сплошь и рядом), чтобы потом не упрекать друг друга: «Вот до свадьбы ты была... а вот ты был...»

б) Прислушиваться к маминым советам. Все-таки мама прожила в два раза больше нашего, и у нее опыт. Но при всем при этом имей свою голову на плечах, не живи чужим разумом.

в) Можно сойтись с человеком и нормально жить, но масса условностей превратит эту жизнь в пародию семейной. Без регистрации нет чувства долга перед семьей. Все время крутится мысль: «В случае конфликта возьму да и уйду. Мы же не расписаны». Мне кажется, что эти слова можно приписать как мужчине, так и женщине.

г) Если любишь, то и нет вопроса о физической несовместимости. Он возникает, как только появляется холодок в семейных отношениях. Все дело тут в психике.

д) Рай и в шалаше, если любишь, но при условии, что подобный рай продлится не более 1,5—2 лет.

е) Мужчина должен быть старше, пусть даже на 10 лет. И не столько из-за специальности или работы, сколько из-за того, что с возрастом появляется чувство ответственности и долга по отношению к семье. (Конечно, есть и исключения. От человека зависит, но если в 20 лет такое чувство у немногих, то к 25 оно присуще большинству.)

ж) «Рабство» должно быть обоюдным. К чему приводит одностороннее рабство, я уже знаю из собственного опыта.

Вот и все.

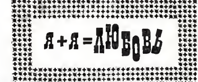
Спасибо за интересную статью.

С уважением

Радмила К.

Горьковская обл.

P. S. Извините за помарки, но еще одна переписка, и я совсем не отправлю это письмо.



Здравствуй, дорогая редакция!

Мне сейчас 22 года, мужу — 25, нашей дочурке Оленьке — 2,5 годика. Муж — моряк, его нет сейчас с нами, вот уже несколько месяцев мы разлучены. Мне бывает очень-очень тяжело без него. Живу я в городе Жданове, знакомых очень мало, работать не имею возможности, пока еще не подошла очередь на садик. Но как ни бывает порой труд-

но и материально и морально, на другую жизнь свою никогда не променяю. Это не только слова, так я думаю на самом деле. И только благодаря своему мужу и нашей любви я могу сейчас так говорить.

Вышла я замуж в 18 лет. Когда встречались с Володей, я действительно ценила в нем больше всего его умение всегда оставаться самим собой. А как же иначе? Ведь девчонка, встречаясь с парнем, если она, конечно, не безнадежно глупа, чувствует малейшую наигранность, неискренность в его поведении. А если влюблена, то и подавно.

Через год мы поженились. Родители не были против, хотя я ожидала бури со стороны отца (он очень строг у меня), а мама все сразу поняла, и что зто серьезно, и что протестовать — зто сделать меня несчастной. Если бы вдруг мои родители воспротивились нашему браку, мы бы все равно поженились, просто расписались, только не было бы ни пышной свадьбы, ни белого платья, ни черного костюма. Да и не зто главное, я считаю.

После женитьбы год мы жили у моих родителей, я работала, муж заканчивал мореходное училище. После распределения началась наша кочевая жизнь, мы не представляли, как мы можем расстаться. Но вот родилась дочь Олечка, теперь муж плавает, а я живу в г. Жданове, на частной квартире (своей пока не обзавелись). Но от зтого наша любовь не стала меньше, с каким нетерпением мы ждем встречи!

Пока я живу одна с дочкой, мне очень тоскливо, тяжело, но приезжает муж, и что зто тогда за время! И вот тут пришла пора ответить, смогла бы я жить с ним нормальной семейной жизнью, вовсе не расписываясь? Сейчас, после четырех лет замужества, я смело могу сказать: «Да, смогла бы». Но честно признаться, когда выходила замуж, я об зтом просто не думала, не было повода думать. Он не позволял себе ничего такого, что могло бы заставить меня думать об зтом, никаких намеков на более близкие отношения до свадьбы не было. И я благодарна ему за зто, уже после свадьбы Володя признался, что боялся обидеть меня неосторожным словом, боялся потерять. Меня зто только обрадовало — значит, я ему дорога, значит, не ошиблась в нем.

А ведь бывает и иначе, и если я вижу, что чувство настоящее, то считаю, что не играет роли, когда расписаться: сразу или когда должен родиться ребенок. Но зто не относится к тем людям, которые в оправдание своего поведения выдвигают теорию так называемой свободной любви. Они просто прикрывают зтим свою низость, распущенность.

Теперь, что же меняется от того, что девушка стала женой? Сужу по себе. Например, я никогда не могу пойти без мужа куда-либо, тем более зная, что он занят чем-то важным, ни когда мы встречались, ни теперь. И он мне платит тем же. Как поступают другие — зто их дело, конечно, но для меня самый интересный фильм неинтересен, если его нет рядом, если не могу поделиться своим впечатлением, мыслями с любимым человеком. А уж увеселительные мероприятия без него мне просто в тягость. Тут уж ничего не поделаешь. С друзьями, конечно, не встречаемся так часто, как прежде, да зто, по-моему, и понятно. У каждого свои планы, дела, заботы. Но зто не значит, что совсем не имеем знакомых и друзей.

Физической несовместимости я, признаться, не уделяю никакого внимания, может, я не представляю, что это такое. Не знаю. Для меня главное дело — он есть и он мой и ничей больше. Рядом ли, далеко ли. Я верю ему, а он мне. А остальное как-то само собой прикладывается.

Об измене у меня мнение одно-единственное и никогда не станет другим. Изменит—никогда не прощу, ни за что. Ради чего же тогда ждать, отказывать себе во многом? Нет. Хочу, чтобы на мою любовь ответ был один — любовь. Для меня измена — зто предательство. Через год после женитьбы родилась у нас дочка. Муж души в ней не чает. А ей всего 2,5 года, и видит его редко, а помнит, и все спрашивает у меня о своем папе. Я думаю, что любой мужчина может стать хорошим отцом, так же, как и женщина матерью...

Хочется, чтобы были все счастливы, как можно больше счастливых семей и меньше разводов. Первые годы всегда самые трудные, пока узнаешь, пока привыкаешь. Никогда не надо спешить с выводами. Разойтись легче всего. Ведь любил же за что-то? Как же вдруг сразу все исчезло? Так не должно быть.

Всем читателям хочется пожелать любви, уважения и взаимопонимания, чуткости друг к другу. Пусть больше будет у нас счастливых людей!

С уважением Таня С.

г. Жданов.



Как помочь молодой семье? Отчего так много официальных разводов, а еще больше разводов внутренних — разочарований, охлаждений, запоздалых прозрений, иронии, слез, тайной тоски и долготерпеливой, изнуряющей надежды: авось, образуется, стерпится — слюбится? Отчего так много ошибок?.. Ведь женятся теперь по любви, без оглядки, не обращая особенно внимания ни на советы, ни на запреты, на возраст, на родителей: «Мы уж как-нибудь сами...». Трудности материальные тоже вроде бы не так страшны: никто не живет на улице и с голоду не умирает. Отчего же все-таки существует такая проблема: молодая семья? И все чаще слышится, прямо-таки висит в воздухе расхожая фраза «не сошлись характерами», которой заменяют теперь всерьез и в шутку все прочие объяснения? Отчего?..

«Любовная лодка разбилась о быт»,— говорил Маяковский. «Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему»,— говорил Толстой. «Один женился — свет увидел, другой женился — с головой пропал»,— говорит пословица. «Если нравственным является только брак, основанный на любви,— говорил Энгельс,— то он и остается таковым только пока любовь продолжает существовать».

Любовь... Ах, зта любовь!.. Например, когда я писал свою пьесу «Валентин и Валентина», я никак не предполагал, что она вызовет ураган дискуссий, споров, разноглвсий, что нв мою голову обрушится водопад упреков со стороны педагогов и родителей, и юная любовь двух литературных героев обретет так много противников и защитников. Кстати, множество зрителей, разбирая пьесу, говорили и говорят о том, что во всем виноваты обстоятельства, родители, материальная неустроенность героев и т. п. То есть налицо как рвз тот случай, когда любовь подвергнута в н е ш н и м испытаниям.

Что ж, внешних испытаний достаточно, более чем достаточно. Но давайте возьмем любой идеvльный в зтом смысле случай: когда нет никвких затруднений и трудностей. Давайте возьмем молодого коро-

ля и молодую королеву. Или сироту-пастуха и сиротку-пастушку. Или юного принца Петю Н., которому мама подарила на свадьбу «Фиат», а папа ключи от квартиры, где лежат деньги. Разве не трудно вообразить себе, как скучает через месяц пастух, как не ночует дома Петя, а король устраивает скандал из-за того, что ему забыли пришить пуговицу?.. Отчего?..

В этой самой вышеупомянутой пьесе герой говорит своей героине при первой же размолвке: «Мы сами все портим...»

Вот именно об этом мне и хочется сказать несколько слов. (Помимо того, что я почти вынужден продолжить историю Валентина и Валентины и думаю над новой пьесой под названием «Муж и жена снимут комнату».)

Действительно, не сами ли мы все портим? Мне уже приходилось по поводу той же «Валентины» и писать и говорить о том, что если молодые люди хотят быть самостоятельны и независимы, решая свой самый главный личный вопрос, то пусть уж будут самостоятельны. Пусть учатся быть мужественными, когда трудно, пусть думают, действуют, пробуют и т. п. А не куксятся, не слабеют, не вянут под первыми ударами судьбы.

Казалось бы, любовь, семья — это уж такие интимные вещи! «Я + Я» — и все, никого больше не касается. Но любовь (а семья и подавно) — явление социальное. Любовь — проявитель. Она раскрывает, проявляет человека полностью. Как война, как работа, как служба. Каков человек, какова его культура, воспитание, нравственность, идейность, то есть каков характер человека и его мораль, такова и его любовь. Все просто. Человек деликатный, добрый, чуткий, человек, у которого в крови уважение к другому и желание понять другого,— это одно «Я». Эгоист, самодур, враль, ловчила, хитрец — это другое «Я». И вполне понятна в конце концов неизбежность разлада двух таких «Я». И уж лучше пусть разойдутся скорее, зачем же?..

Просто? Вроде бы. Но, во-первых, в каждом человеке, бывает, соединяются черты противоречивые, а часто даже и несоединимые. Непоследовательность — одно из главных человеческих свойств вообще. Мы часто сами поражаемся тому, что делаем. Как будто не хотим, а делаем... Во-вторых, любовь— такая вещь, таково уж ее свойство, что мы не видим недостатков любимого существа. А если и видим, то прощаем, а если и не прощаем, все равно любим. Да, такова уж любовь, ее вечный и, если угодно, жестокий закон. Достаточно вспомнить историю, мировую литературу, чтобы изумиться тому, как это хорошие женщины любили самых больших негодяев на свете и как умные мужчины слепо гибли из-за ничтожных женщин.

Что с этим делать?.. Не покориться ли? А как в 17—20 лет распознать человека?.. А как познать себя?.. Вспомните жадность и волнение, с которыми мы обычно спрашиваем в юности: «А какой я? Какой у меня характер? Какие у меня черты?»

Недаром спрашиваем, потому что, как сказано еще древними, «характер — это судьба».

Но где в 17—20 лет набраться опыта, мудрости, проницательности? Конечно, взрослые видят и понимают больше, но кто из нас когда-либо последовал совету матери или отца, послушал их, когда они говорят: «Он (она) тебе не подходит»? Мы сами обретаем свой опыт. И это неизбежно. И это справедливо. И так и должно быть.

Но зададимся еще одним вопросом: что значит «сами»? Кто «мы»? Откуда взялось мое «Я»? Чем и как оно сформировано?.. Не правда ли, как много сразу напрашивается ответов? Какая длинная вытягивается цепочка?.. Казалось бы, я так индивидуален, исключителен, ни на кого не похож, я есть я. Но стоит копнуть поглубже, как обнаружится миллион связей моего «Я» со всем окружающим миром и прежде всего с «моим» обществом.

К чему это все говорится? К тому, чтобы ответить, как беречь семью, или как не ошибиться в жизни, или как избежать развода?.. Нет, конечно. На это ответить нельзя, или, во всяком случае, можно вести разговор лишь о конкретной семье, поскольку «каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Речь о другом — о нас самих. Каковы мы, каков «Я», влюбленный, вступающий в брак человек? Насколько я способен жить для другого, помогать другому?.. «Да, да, да! — отвечает обычно опьяненный любовью и желанием человек.— Да, я все смогу, сумею, я обещаю! Тебе, себе, им — всем! Я буду всех лучше, я не подведу, на меня можно положиться! Я все сделаю, все устрою!..»

И человек верит, что так и будет, что он способен на это,— недаром любовь окрыляет и поднимает нас, дает нам неведомые дотоле силы. И недаром во все века влюбленные клянутся друг другу в верности до гроба.

Но как же все-таки это осуществить? Как быть с любовью, когда постепенно проходит ее первый пыл, когда начинаются будни, когда вдруг выясняется, что у него нос совсем не такой, а она даже картошку не умеет поджарить, как мама жарила?..

Как быть?..

А как ведет себя человек, когда у него стопорится любимое дело? Как складываются на протяжении всей жизни наши взаимоотношения с нашими родными? Как исполняем мы свой долг перед Родиной? Как обращаемся мы с друзьями, со знакомыми и незнакомыми, с природой, с вещами, со зверями, с произведениями искусства, как обращаемся мы с ценностями, которые вдруг попадают нам в руки?.. Может быть, будем судить и изучать сначала эти руки, а ценности потом? Может быть, будем больше следить за чистотой своих рук?..

«Не сошлись характерами»,— говорим мы с усмешкой, и всегда подразумевается, что это у него (у нее) дрянь характер и вообще, а я-то есть только пострадавшая сторона. А если подумать? Все вспомнить?..

— Итак, каков же вывод? — спросите вы.— Каков рецепт, и что вы вообще предлагаете?..

Не знаю. И рецептов, разумеется, нет. Но опыт счастливых семей показывает: семья тем крепче и лучше, чем больше у ее членов взаимоуважения, взаимопонимания, общности, единства цели, умения помочь, понять, простить, научить; чем больше добра и желания добра друг другу; чем больше культуры и желания культуры. И чем больше любви. То есть, попросту говоря, чем люди лучше, нравственнее и умнее, тем им легче жить друг с другом. Как в семье, так и в любой другой коллективной ячейке (или, если угодно, организации). Вот и весь вывод. Так что давайте будем хорошими!..

(Здесь бы надо поставить точку, но я уже слышу вопрос: «Но ведь бывает в жизни, что расходятся и очень хорошие люди?» Бывает, конечно. И это особенно грустно. Но не так уж страшно, потому что хорошие люди и расходятся хорошо.)

Михаил РОЩИН

Уважаемая «Юность»!

Посылаю Вам, как искреннему другу, письмо, послание, что ли... В общем, наши матросские думы о вере, ожидании... Вы понимаете?.. И так хочется, чтобы ответили девчата. Это не только для меня, но и для обманутых ожиданием моих друзей. Хочется, чтобы вы убедили их, что есть у нас замечательные, верящие, ждущие...

Вы скажете, это банальная тема?.. Может быть, если любовь — банальность. Если понятия верности, чистоты, искренности ни во что не ставить.

Что остается моряку?

Два года на корабле. Многое забылось, ушло самое ценное вглубь, но мир стал виден яснее. Это точно. И прежде всего—человеческие отношения.

Что такое для нас письма?

Вы бы видели лица моих корешей, когда после долгого похода корабль подходит к стенке. Сумасшедшие глаза, ждущие, верящие, тревожные... Шум на баке: письма несут!!! Суета, неразбериха, и вдруг все смолкает, когда мешок наконец развязан и толстые пачки писем расходятся по рукам.

Такой тишины на корабле больше никогда не бывает. Только в этот час письма.

И самое затаенное, золотое, засекреченное, в сердце запечатанное — письмо от Нее.

...Васька, старый матрос, как птенчик, нахохлился, приуныл. Курить пошел.

Если бы вы знали, как ждал он этих конвертов с обратным адресом сибирского городка! С ума сойти! Почти год приходили письма. Было светло Василию, другу. И мне тоже от них. Честное морское!

Тогда я верил не меньше его в эти письма. Мы только улыбались, когда многоопытный матрос Гена сквозь зубы цедил на баке:

— Я их раскусил, ребята! Для них как? Кто ближе, тот и лучше!

И вот письмо: «Прости, милый, я не могу быть неискренней... Ты навсегда останешься самым светлым воспоминанием в моем сердце...»

Светлое воспоминание...

Нет. Иронизировать, конечно, легче, но если сердце проверить разумом? Глупо утверждать, что времена декабристских жен прошли, но все-таки что-то очень ценное, наверное, затерялось...

Ребята смеются:

— Ты что, в наш век Трубецкую и Волконскую хочешь искать? Чудак!

Может быть.

А они говорят:

— Смотри на это проще. Встретила другого. Полюбила. Вот и все. Зачем сантименты?

Но существуют же слова «верность», «преданность». Они выражают отношения, чувства, мысли, понятия...

Многие считают, что ожидание — слишком большая жертва, это как жизнь, отложенная на потом... То и дело слышишь:

— Не забывай, мальчик, XX век...

Зачем все сваливать на век?

Хочется крикнуть, что это неправда! Так необходимо верить самому и убедить друга, что есть Волконские и Трубецкие. Есть!! Иначе нельзя, иначе не может быть.

Опять в дальний поход. Отданы швартовы. Опять долгое ожидание. А ждут ли нас так же, как и мы,—глубоко и верно?

С искренним уважением А. НЕВСКИЙ,
моряк Краснознаменного Тихоокеанского флота



будем справедливы друг к другу

«Многоопытный матрос Гена», прочитав письмо своего товарища, верно, только усмехнется, дескать, философию разводите, салажата... А может быть, он уже демобилизовался, работает или учится, сам влюбился и от его многоопытности не осталось и следа? Многим свойственно на разных этапах своей жизни менять отношение и к жизни и к любви, словно в детстве: надо мной дождик, значит, во всем мире дождь, а солнце, так всюду солнце.

Любовь — банальность, пока «травят» про нее на баке, пока она на языке, а когда в сердце... Тут уже не тема для иронического разговора — само существо жизни. Разделенная, неразделенная, любовь с первого взгляда или пришедшая через годы, она незримо поселяется в нас, как мощный генератор энергии, мыслей, поступков, чаще созидательных и добрых.

Природа человека такова, что только чувства, сколько бы ни говорили о рациональности мышления, о потоках информации и прочее и прочее, только чувства, движения души, рождают новые, необыкновенные идеи в любых областях. Желая двигаться дальше, человеческое общество должно сберегать не только Природу— окружающую среду, но и другую Природу — человеческие чувства.

Поэт писал: «В той мере стали мы людьми, в какой любить имели случай...» Может показаться странным, но часто армия, два-три года пребывания в ней дарят молодым парням этот случай. Даже недолгое знакомство перед призывом в буднях службы, в разлуке разрастается в любовь.

Письма! Письма от Нее воистину затаенные, золотые, засекреченные. И как больно, когда все неожиданно обрывается. Случись такое «на гражданке», разнообразие впечатлений окружающей жизни, возможно, притупило бы боль, но на корабле, да вдали от берега... Как велика здесь опасность из влюбленного превратиться в потерпевшего и одновременно почувствовать себя судьей...

Но если девушка действительно полюбила другого? Надо быть справедливыми.

Разве не случается так, что идут-идут из армии письма девушке в маленькую деревню и в конце концов последнее: «...Демобилизуюсь... Женился... Прости...»

По-всякому бывает...

И, может быть, суть в том, что каждому человеку независимо от того, военный он или гражданский, необходимо иметь, воспитывать в себе такие качества души, которые не позволили бы оскорбить и унизить другого. Не дали бы разменять способность к любви ни на легкомысленное к ней отношение, ни на обывательский суд над ней.

Алексей ЧУПРОВ



ВАЛЕНТИН ИВАНОВ

ОН БЫЛ СИЛЬНЕЕ ВСЕХ НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ И СЛАБЕЕ ВСЕХ ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ

Мой первый сезон в большом футболе принес мне и первую медаль — бронзовую медаль чемпионата страны. Да, мы заняли третье место. «Торпедо» крайне неудачно начало сезон, и вместо Виктора Александровича Маслова старшим тренером назначили Николая Петровича Морозова. Сразу же после этого назначения мы проиграли один какой-то матч, а за ним пошла длинная серия побед, которые и вывели нас на призовое место.

Потом я привык к таким чудесам, они случались в моей футбольной жизни еще не раз: приходил новый тренер и словно вливал в артерии команды свежую кровь. И на трибунах шли разговоры: вот, дескать, давно бы пригласить А. вместо Б., и все было бы в порядке намного раньше. Как ни странно, но такое можно услышать и от людей, близких к футболу.

Нет, за день, за неделю, за месяц новый человек, будь он семи пядей во лбу, не в состоянии совершить революцию в футбольной команде. Любая серия побед — плод долгого и кропотливого труда, она вынашивается в тренировочных лабораториях, и силы для рывка накапливаются заранее.

А нередко бывает так: все готово к штурму — войска расставлены, подведены резервы, стратегический план разработан до мельчайших подробностей, армии ждут сигнала к атаке. И в этот момент где-то в «ставке» находится человек, которому не терпится. Он не очень в курсе дел команды, но считает, что командующий медлителен, нерешителен, неразворотлив. И происходит смена руководства. Сигнал к наступлению трубит новый тренер. Штурм, как и должно было быть, заканчивается триумфом. Но плоды победы пожинает не тот, кто выносил ее в своем сердце и одухотворил ее своими идеями, а случайный счастливчик, пришедший на готовенькое.

Я не хотел бы, чтобы Н. П. Морозов принял это отступление на свой счет. Человек он в футболе известный, заслуженный, работал со сборной страны, и не его вина, что тогда, в 1953 году, именно его поставила судьба на место другого тренера, подготовившего успех команды.

Да тот успех «Торпедо и не стоит особенно переоценивать. Игра наша была очень далека от идеала. Мы выплыли наверх, вынесенные волной безвременья, которое захлестнуло наш футбол. Как и все прочие, мы были на перепутье, нам еще только предстояло начать поиски своего лица.

Закончили свою карьеру Пономарев, братья Жарковы, Севидов, Морозов, Мошкаркин. Доигрывали последние дни их партнеры Гомес, Соломатин, Чайко, Сочнев. Опустевшие места заняли игроки из других команд — неплохие, опытные, но игроки, для которых «Торпедо» не было родным клубом. Робким шепотком звучал в этом нестройном хоре голос нового поколения торпедовцев.

Накануне одного из первых матчей нового сезона заболел наш левый край А. Гулевский, и на его место поставили новичка — высокого, плечистого парня с закрывающей лоб челкой, которая была тогда в моде главным образом у ребят, старавшихся выглядеть «своими в доску». Знали мы о нем немного: что ему нет еще и семнадцати, что живет он в Перове и работает на заводе «Фрезер».

На поле он повел себя так, будто всю жизнь только и делал, что играл в основном составе «Торпедо». В первый раз, как к нему попал мяч, он пошел с ним прямо на защитника, обвел его, потом другого, третьего и прострелил вдоль ворот. Во время следующей нашей атаки он уже сместился поближе к центру, и в удобный момент, не раздумывая и не сомневаясь, пробил по воротам. Пробил, не останавливая мяч, сильно и точно. Не помню уж, забил ли он гол в первой же игре. Если и нет, то во второй — забил.

На разборе его похвалили, но он не выказал по этому поводу никаких эмоций. После третьего матча его вернули в дубль: выздоровел Гулевский, игрок, которого неудобно было отправить на скамью запасных. И снова наш новичок не выказал ни огорчения, ни удивления, оставшись, как всегда, безучастным.

Но его необходимость на поле стала уже очевидной, его отсутствие ощущалось. Надо было его куда-то пристроить. И пристроили — в центр.

Так стал моим партнером Эдуард Стрельцов, человек, с которым мы прошли все огни, воды и медные трубы футбола, человек, с которым нас связывала не только игра, но и близкая дружба, человек, которому суждено было пережить такие взлеты и падения, каких в футболе не знал никто ни до, ни после него.

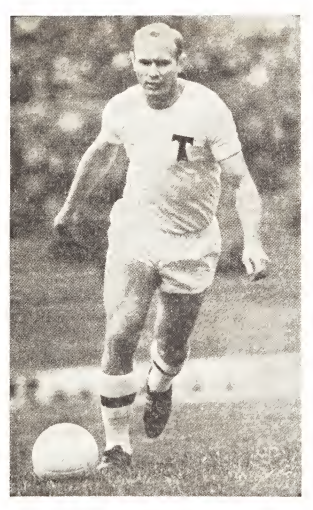

Мяч у Эдуарда Стрельцова.

Фото А. ЯКОВЛЕВА.

Как писать о Стрельцове? Я знаю его вот уже без малого двадцать лет, но он остается для меня неразгаданной загадкой. Но писать о нем я обязан. Уже хотя бы потому, что знаю его эти без малого двадцать лет. Знаю, наверное, лучше и ближе, чем другие люди. И уж если не я, то кто же?

А как писать? Сказать, что он сильный человек? Это сказать надо, потому что это правда. Но он ведь и слабый человек, и такой слабый, что впору только руками развести. Назвать его добрым? Да, конечно, он добр, беспредельно добр. Но как часто эта доброта оборачивалась непоправимым, ужасным злом и для него самого и для окружающих! В нем уживаются мощь и удаль с непонятной, необъяснимой инертностью, с неумением и нежеланием идти против течения. Он грозен и неудержим на поле, но флегматичен и податлив в быту. Он весь словно соткан из противоречий. В нем мирно соседствуют качества, каждое из которых должно бы начисто исключать другое. Видимо, этим объясняется его странная футбольная судьба.

Я бы сказал так: Стрельцов, как Антей у матери Земли, черпал неиссякаемую силу у поля и мяча. Но как только он расставался с мячом и покидал поле, он становился слаб и незащищен перед превратностями и соблазнами, которые ставит жизнь на пути каждого известного спортсмена, особенно футболиста.

Мы с первого же раза стали играть рядом: он — центр, я — инсайд, словно так было всегда. Мы не сыгрывались, не сговаривались, не распределяли зоны действий. Я на поле всегда интуитивно искал Стрельцова. Даже не искал. Я чувствовал, что вот сейчас, когда у меня мяч, он должен оказаться там-то. Потому что та позиция — самая удобная и самая естественная. И я, не глядя, пасовал туда. Если же не пасовал, а решал вести мяч дальше, то опять знал: Стрельцов теперь переместился в такую-то точку. И опять никогда не ошибался.

Когда с мячом оказывался Стрельцов, я опять-таки почти безошибочно определял, что он с этим мячом сделает через мгновение. Я, скажем, говорил себе: «Быстро обегай его слева, сейчас он пяткой вбросит мяч в штрафную». Я делал рывок и получал мяч в той точке, где его ждал.

Как родилось это взаимопонимание?

Партнера по игре постигаешь довольно быстро, особенно того, который играет с тобой бок о бок. Когда ты с мячом, всегда ищешь глазами того, кто открыт, у кого лучшая позиция. Тому и стараешься отдать мяч. Отдал — и сам стремишься открыться. И смотришь одновременно, что делает с мячом его новый владелец: пожадничал ли и решил все остальное взять на себя или распорядился как следует? Чувствуешь удовлетворение, если и он сумел тебя найти, угадать твой ход. И досадуешь, если он мяч потерял.

В игре все это повторяется многократно. И постепенно складываются определенные связи, которые от игры к игре крепнут. Или, наоборот, все слабеют и слабеют, пока не порвутся окончательно. И не потому, что партнер у тебя слабый игрок или в тактике не разбирается. Бывает и так, а бывает и иначе. Бывает, что он и я по-разному понимаем смысл игры, по-разному представляем себе развитие комбинации. Как бы на разных языках говорим. И ты уже невольно ищешь на площадке своего единомышленника, невольно выбираешь его среди всех прочих. Ты знаешь: ему отдашь — от него и получишь.

Это, разумеется, схема. Игра богаче и сложнее. Но по такой вот схеме и развивались наши отношения со Стрельцовым на поле. Связи нащупались вроде бы сами собой и окрепли очень быстро.

Близость в игре способствовала нашему сближению и за пределами поля. Нас вечно и упоминали в газетах заодно, присовокупляя к нашим именам такие термины, как «тандем», «сдвоенный центр», «неразлучная пара», «дуэт», «связка». К тому же мы оба были тогда молоды, оба холосты, к обоим, прожившим нелегкое детство, начавшим зарабатывать хлеб насущный сразу после семилетки, рано пришла спортивная известность. И, словно бы не желая нас отделять друг от друга, нам дали одинаковые квартиры в одном и том же доме.

В общем, так уж все сложилось, что мы не могли не сойтись.

Помню такой случай. Сборная СССР возвратилась после победы на Олимпиаде в Мельбурне. Банкет по этому случаю решили устроить в моей квартире, поскольку в ней была и хозяйка дома — моя мать. Собралось много народа — все заводские. Как положено, произносили тосты за наши дальнейшие успехи. Наконец взял слово кто-то из завкома, не помню уж кто.

— Наши питомцы,— говорит,— нас покидают. Да так и должно быть: оба вы теперь олимпийские чемпионы, оба вы переросли «Торпедо». Мы не знаем, в какую команду оба вы переходите, но жела-

ем вам счастливого пути и просим, чтоб не забывали коллектив, который вас вырастил...

Оба мы были ужасно удивлены этой речью и сказали, что никуда не собираемся уходить с завода и из «Торпедо». Но еще больше удивило меня не то, что нашу судьбу, даже не спросив нас, считали уже решенной, а то, что для всех само собой разумелось: если уходим, то вместе, и не просто вместе, а обязательно в одну команду.

Нас и в сборную взяли вместе, и на установках задание нам всегда давали вместе.

Все это, однако, не значит, что мы были похожи друг на друга как игроки или что были равны друг другу по силе.

Нет, таких футболистов, как Эдуард Стрельцов, я больше не видел. И, думаю, никогда не увижу. Хотя играл с хорошими, сильными и очень сильными футболистами. Стрельцов — это нечто совсем другое. Ему все с избытком вручила природа, будто задалась целью вылепить идеального футболиста. И не просто футболиста, а центрфорварда.

В футболе для Стрельцова не было ничего сложного, ничего загадочного. О знаменитом угловом ударе Лобановского написано много. Лобановский его изобрел и выполнял лучше всех. Он разбегался, а потом ударял по мячу так, что тот сперва летел по прямой, но когда казалось, что вот-вот мяч минует ворота и полетит дальше, он делал крутую дугу и заворачивал прямо к штанге. Это сложный удар, требовавший от исполнителя филигранной техники. И Лобановский, прежде чем овладеть этим ударом, каждый день десятки и сотни раз репетировал его на тренировках.

Увидав этот прием в исполнении Лобановского один-единственный раз, Стрельцов на следующей тренировке установил мяч у углового флага, разбежался и пробил точно так же, как это делал Лобановский. Мяч, сделав на излете какую-то немыслимую закорючку, аккуратно приземлился в сетке ворот.

Меня никогда не покидало какое-то мистическое чувство, что Стрельцов может сделать на поле все, что захочет. Захочет — только очень захочет — забить гол, и забьет. И никто ему не помешает. Это сейчас мне кажется та уверенность мистической, по прошествии многих лет. А тогда я в это верил твердо. И, вполне возможно, был прав...

Историю эту вспоминать горько. Но о ней писали когда-то в газетах, справедливо нас осудив. Я говорю о том случае, когда мы со Стрельцовым умудрились опоздать на поезд Москва — Берлин, увозивший сборную команду СССР на повторный матч со сборной Польши, матч, который открывал победителю дорогу в финал первенства мира 1958 года.

А дело было так. Мы встретились со Стрельцовым днем в Сокольническом парке задолго до отхода поезда, пообедали, заехали навестить мою захворавшую сестру и явились домой за вещами. Я собрал саквояж и о чем-то разговорился с матерью. Раздался телефонный звонок: Стрельцов торопил.

— Не волнуйся, времени еще много, успеем,— успокоил я.— На такси за пятнадцать минут доедем.

— Ну, ладно, будешь выходить — позвони...

Если бы мы обедали без вина да не захватили бы к сестре бутылку шампанского, я не был бы в этот момент так самонадеян. А если бы мы находились на футбольном поле, Стрельцов все сделал бы так, как он считал нужным и как лучше. Но мы были не на поле...

Мы ползли в такси по улице Горького к Белорусскому вокзалу, и пешеходы обгоняли нас. Был час «пик», мостовую запрудили автомобили, и красный свет светофора ежеминутно останавливал движение. Когда мы выскочили на платформу, поезд Москва — Берлин уже ушел. На перроне нас встретил бледный и растерянный работник Федерации футбола, который должен был ехать с командой, но остался из-за нас. Что он мог нам сказать? Мы и сами понимали, что произошло небывалое «ЧП» и что, как бы нас теперь ни наказали, все будет мало.



Мяч у Валентина Иванова.

Фото В. ГРЕБНЕВА.

К счастью, растерянность нашего спутника продолжалась недолго. Мы выбежали втроем на Белорусскую площадь, сели в его машину, выбрались на шоссе и помчались догонять поезд. Мы догнали его в Можайске. Теперь уж дело прошлое, и можно раскрыть секрет: поезд не должен был там останавливаться, но начальник станции оказался болельщиком и, вняв нашим мольбам, остановил состав на несколько секунд.

Уже в Лейпциге, где назначена была наша переигровка, накануне матча мы узнали, как решилась наша судьба. «Пусть играют,— постановили руководители Спорткомитета,— разбираться будем после приезда в зависимости от их игры».

Услышав этот приговор, Стрельцов вздохнул и сказал:

— Да, просто выигрыша мало. Надо забить гол.

Я думал о том же, но вслух сказать не решился: как его забьешь, этот гол?..

Игра началась, и сразу же, столкнувшись в воздухе с польским защитником, Стрельцов рухнул на траву. Попробовал встать, но не смог: видно, трав-

ма была нешуточная. Он выполз на беговую дорожку, к нему подбежал доктор.

— Ну что?

— Все нормально. Заморозьте как угодно, делайте, что хотите. Только я должен выйти обратно. Надо забить гол...

Врач стянул ему эластичным бинтом ногу в том месте, где растянулась мышца, и Стрельцов снова вошел в игру.

Мы победили, Стрельцов играл превосходно и забил свой гол.

По возвращении домой нам здорово досталось от начальства, но дело ограничилось устным выговором.

В том матче был такой эпизод. Я оказался с мячом у самой вратарской площадки. Передо мной — только польский вратарь, больше никого. Я делаю обманное движение, он кидается в угол. Теперь и ворота пустые. Мяч у меня в ногах, и никто мне не мешает. Я даже не смотрю в сторону лежащего вратаря, а преспокойно отправляю мяч в противоположный от него угол... Как сумел польский вратарь вскочить — это до сих пор остается для меня загадкой. Я видел только его тело, пролетевшее по воздуху мимо меня и накрывшее мяч у самой линии ворот.

Всю игру я проклинал себя за свою оплошность, всю игру старался ее исправить, но случай больше не представился.

Вот в этом, наверное, и состоит разница между Стрельцовым и мной да и не мной только, а любым другим футболистом: уж если Стрельцов решал, что должен забить гол, то помешать ему не могло ничто.

Я не представляю себе другого человека, который бы вернулся в большой футбол после шестилетнего перерыва — причем перерыв этот пришелся на самый лучший футбольный возраст — и сумел сразу же завоевать себе прежнее место и в своем клубе и в сборной. И ничего не утратил из своих былых качеств. И обогатился новыми, необходимыми для нового футбола, который за эти годы ушел далеко вперед — как-никак позади остались два чемпионата мира.

Но все это в футболе, на поле, с мячом.

Заканчивалась игра, мы принимали душ, переодевались, выходили со стадиона. Каждого из нас поджидал кто-то: жены, девушки, приятели. Стрельцова — приятели. Не те, кого он сам выбрал себе в друзья, а те, которые выбрали его. Кому нравилось, что он может сказать где-нибудь в компании: «Вчера загуляли с Эдиком Стрельцовым до утра». Кто чувствовал себя королем, если сидел за центральным столиком какого-нибудь известного ресторана бок о бок с самим Стрельцовым.

Я все это хорошо знаю, до определенного возраста и у меня было множество таких приятелей. И не только у меня. Уверен, это неизбежные спутники всех известных спортсменов. Только одни постигают цену такой дружбы раньше, другие позже, третьи не постигают вообще.

Чисто внешне годы меняли Стрельцова. Челку, которая делала его первым парнем в Перове, заменил модный кок. Изменился его внешний вид, его туалеты, его речь. Но внутренне он не менялся совершенно. В красивом и будто бы самоуверенном молодом нападающем скрывался робкий, подверженный любым влияниям парень, готовый пойти куда угодно, кто бы ни поманил его пальцем.

На поле он был действительно могуч духом и телом, решителен и неукротим. На поле он был в своей стихии, занят любимым делом, окружен товарищами, командой, чувствовал ее поддержку и старался быть ей необходимым. Старался, как мог. А мог он много. И народ валил на торпедовские матчи. Валил «на Стрельцова».

Но не только на стадион шли смотреть Стрельцова. На свадьбы, на званые банкеты, на пирушки в мужской компании — тоже. Для многих он был желанным и удобным свадебным генералом, приманкой, на которую охотно клевали самые разные люди. Удобной потому, что Стрельцов не умел, не находил в себе силы никому отказывать.

После очередного пира он всякий раз говорил себе:

— Конец. Последний раз. Больше — ни за что.

А после следующего матча его уже вновь поджидали у стадиона какие-то люди. И вновь Эдик сопротивлялся недолго.

— Ну, зайдем на полчасика... Без вина... Посидишь за столом просто так, для виду, и уйдешь...

И эти сто раз слышанные речи всякий раз делали свое роковое дело. «Неудобно отказать хорошему парню, обидится»,— и все начиналось сначала.

«Спорт требует полной самоотдачи..» «Большие, долгие и стабильные успехи в спорте требуют полного самоотречения, спартанской жизни, умения жертвовать многими мирскими соблазнами...» Все эти истины знает каждый из нас с юных лет назубок, как таблицу умножения. Знает так, как знал прежде любой мальчик из приходского училища «Отче наш»: мог повторить, разбуди его ночью, но не вникал в смысл. Только повзрослев духовно и телесно, начинаешь понимать истинную ценность этих прописных истин. Конечно, есть и среди совсем еще молодых ребят такие, для кого они сразу стали непреложным законом жизни. Либо жизнь заставила их рано повзрослеть, либо домашнее воспитание сказалось, либо такие уж они от роду.

К сожалению, Стрельцов к этой категории людей не принадлежал. А таланта и сил у него было столько, что никакие отклонения от режима не могли на нем сказаться. И он покорно плелся за каждым, стоило тому только произнести заветное: «Ну, Эдик, ну, только на полчасика».

Я знал многих талантливых футболистов, которым принесло много бед неутолимое тщеславие. Внешне картина та же: неумение устоять перед лестью, жажда занимать председательское место всюду, на худой конец хоть в пивной. Нет, Стрельцов никогда не был тщеславен. Бывало, окажемся мы где-нибудь в чужом городе, у кинотеатра, а там огромная очередь в кассу. Единственный шанс добыть билеты — отправить Стрельцова к администратору, чтобы тот сказал ему всего два слова: «Я Стрельцов». И дело будет сделано. Но ни разу нам не удавалось использовать этот шанс: не шел Стрельцов, стеснялся. И все растущая популярность его не меняла, он всегда был до застенчивости скромен, глух к овациям трибун и славословию прессы. Но он никогда не умел бороться за себя, за свое человеческое «я», и в этом его трагедия.

Шли годы, одни приносили ему счастливые дни, другие — горькие уроки, а он оставался все таким же неустроенным, все таким же не защищенным от добрых и злых влияний, все так же исполненным самых лучших намерений, на пути осуществления которых вечно что-то вставало. И в конечном счете он оказался отлученным на шесть лет от футбола, да и не только от футбола...

Возвратившись, он вновь завоевал право играть в сборной и опять стал заслуженным мастером спорта. Это после шестилетнего перерыва. О другом бы сказали: «Он совершил подвиг». О Стрельцове этого не говорили. Он не совершал подвига. Он вышел на поле и окунулся в свою стихию. Разве рыба, вы-

брошенная на сушу, может разучиться плавать? Разве человек может разучиться дышать?

И он снова стал сильнейшим и в «Торпедо» и в сборной. Снова люди ходили «на Стрельцова» и не обманывались в своих ожиданиях. И снова он не изнурял себя на тренировках, снова был безразличен к режиму, хотя стал старше, грузнее, не так быстр и неутомим. Но он без видимых усилий перестроил свою игру так, чтобы эти недостатки не были заметны. Он играл теперь иначе, но оставался по-прежнему незаменим на своем месте.

Я оставил футбол раньше Стрельцова. Мне предложили должность старшего тренера «Торпедо». Я сомневался, соглашаться ли. Между игроками и тренером должна лежать некая невидимая граница во взаимоотношениях, без этого тренеру успеха не добиться. А как ее воздвигнешь, эту границу, если еще вчера нынешние твои воспитанники были тебе партнерами? Сегодня ты не вправе прощать им слабости, которые раньше тебя не касались и которыми, вполне возможно, грешил ты сам. Сегодня ты обязан предъявлять к своим товарищам суровые требования, которые и сам не всегда выполнял, о чем они прекрасно знали. Еще вчера для одних я был «Валя», для некоторых «Валька», а завтра для всех должен был стать «Валентин Козьмич».

Меня вызывали к директору, в партком, обещали во всем помогать и не взыскивать на первых порах за неудачи. Я долго отказывался, колебался, снова и снова просил повременить с окончательным решением. Но я в конце концов все-таки согласился. Согласился только потому, что несколько наиболее старых моих друзей-торпедовцев сказали мне:

— Давай, Козьмич. Можешь на нас рассчитывать. Мы будем тебе верной опорой и поддержкой. Обещаем.

Среди них был и Стрельцов.

Мог ли я положиться на своего старого товарища? Этот вопрос даже не приходил мне в голову. Он доказывал мне свою дружбу не раз, доказывал, пожалуй, гораздо чаще, чем я ему. Ну, хотя бы в тот раз, когда мы опоздали на берлинский экспресс. Ведь виноват во всем был я один: это я уговорил Эдика не спешить, это я уверил его, что мы не опаздываем. Стрельцов нигде и никогда не обмолвился об этом ни словом, разделив со мной пополам ответственность за случившееся. И на матче он постарался за двоих.

Я вспоминаю и другой случай из нашей футбольной жизни. Мы приехали в Одессу на матч с «Черноморцем», только что вошедшим в класс «А». На поле ко мне приставили защитника (его фамилию я теперь уж и не припомню), который совсем меня истерзал. Стоило мне прикоснуться к мячу, как я получал сильнейший удар по ногам. А однажды, когда мы вдвоем подпрыгнули, пытаясь достать головой высокий мяч, он изо всех сил стукнул меня локтем в живот и угодил в солнечное сплетение. Я упал. Некоторое время я не мог не то что подняться, я не мог даже вздохнуть. В боксе это называется нокаут. Подошел Стрельцов. Посмотрел на меня, на защитника.

— Сейчас я ему покажу,— и отошел.

Прошла минута — и оба они покинули поле. Стрельцова выгнал судья, защитника унесли...

Между прочим, против самого Стрельцова так действовали на поле очень часто. Защитники били его нещадно, били, как, наверное, никого другого. Но он не отвечал никогда. Не отвечал, если дело касалось его. А тут обидели его товарища...

Так мог ли я усомниться в Стрельцове?

А, оказывается, надо было усомниться: мы ведь столько лет знали друг друга...

Однажды он ночью исчез куда-то со сбора. И не один, а с молодым игроком, талантливым, но разболтанным парнем, который губил себя такими вот похождениями, пьянством. Ему едва перевалило за двадцать, а он играл уже со срывами, не мог часто дотянуть до конца матча — сил не хватало, задыхался. После этой отлучки я пробовал поговорить с парнем. Он ловчил, запирался, врал, но наконец признался: «Да, уходили, со Стрельцовым». Потом я пришел к Стрельцову.

— Ты ночью был здесь?

— Нет.

— А где?

— Уходил.

— С кем?

— Один.

— Ведь не один же.

— Один.

— Я знаю, с кем ты был.

— Я был один.

Он прекрасно понимал, что мне все известно. Понимал он и то, что я знаю: Стрельцов не из тех, кто пойдет на такое дело один, его надо соблазнить, уговорить. Понимал и стоял на своем.

И, конечно же, мысленно корил себя: «Обещал я Вальке, что помогать буду, а вот подвел. Нехорошо. Последний раз. Но не выдавать же парня».

И сколько их еще было, этих «последних разов»! Как же его назвать? Плохой товарищ? Нет, слабый человек. Сильный человек выбирает себе линию жизни и идет по ней. Стрельцова сбивал с пути любой толчок, а небывалый талант становился в эти минуты его самым главным врагом. Талант искупал все. Как бы склоняясь перед огромным талантом, его прощали тренеры, ему до поры до времени многое прощала жизнь. А когда наказывала, он не роптал, но и не умел делать выводов.

И он пропустил лучшие, самые плодотворные шесть лет, шесть «золотых» лет, когда футболист находится в расцвете сил. И он ушел, не доиграв: в один прекрасный день мышцы перестали держать его могучее, тяжелое тело, его стали мучить травмы, он перестал поспевать к мячу, перестал быть грозой для противников. Он ушел, не сделав всего, что мог бы при своем таланте, и не получив того полного удовлетворения, которое ждет лишь человека, отдавшего любимому делу всего себя без остатка.

Есть, знаете, у воспитателей подростков такой термин: «трудный ребенок». Это не порицание и не осуждение, это не значит «плохой ребенок». Это значит совсем другое: что к человеку нужен особый подход, возможно, особая терпеливость и внимательность воспитателей и всех окружающих. К числу таких — как бы это сказать поточнее — «трудных взрослых» или «трудных больших детей» относился и Стрельцов. Но мы — я имею в виду не только тренеров, но и нас, его товарищей по клубу, по сборной, просто друзей,— мы ничего этого не замечали. Все это заслонил для нас его огромный талант.

Он был звездой небывалой яркости, и для посторонних объяснение его поступков выглядело просто; они поставили этот знаменитый диагноз — «звездная болезнь».

А дело было гораздо сложней.

Литературная запись
Евгения РУБИНА.

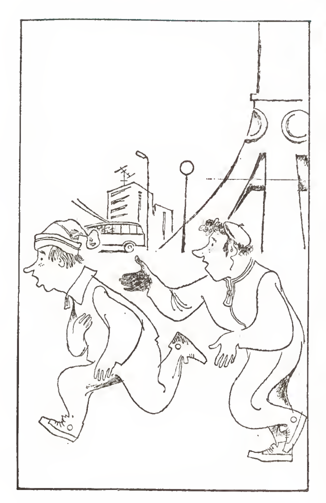


ВЛАДИМИР ОРЛОВ



ТРУСАКИ

РАССКАЗ



Рисунки Иосифа ОФФЕНГЕНДЕНА.

Долго меня стыдили. Все уже бегали — и Евсеев, и Короленков, и Москалев с Долотовым, и Ося, а я нет. Сначала меня уговаривали, предъявляли мне свои животы, сопоставляли их с моим, и выходило, что их животы в чем-то стали меньше. Я им завидовал. Милые мои трусаки начали даже приобретать подтяжки, выстаивая очереди в Столешниковом переулке. А я все не бегал. «Эдак ты докатишься,— говорила мне жена.— Посмотри, на кого стал похож». Я смотрел. Какой был, такой я и остался, остановился в развитии. Но уж одно это было плохо.

И я решил бежать. Хотя к тому времени бег трусцой и стал выходить из моды. Некоторые из моих знакомых, отбегав, отпускали уж усы. Кто под Бальзака. Кто под запорожского лихого сечевика. Иные, волевые, совмещали усы с бегом. Иные все еще бегали натощак, просто так. Вот и меня умными словами жена убедила присоединиться к ним. На усы, в особенности запорожского романтического покроя, она не надеялась.

Но я человек застенчивый и ранимый. Представлю себе, как я в бежевом лыжном костюме и в дурацкой вязаной шапочке с заячьим хвостом-помпоном — по совету женского календаря — побегу по останкинским асфальтам и грязям, так мне дурно становилось. Виделись сразу прохожие. Один с деловым чемоданом, какой-нибудь хлыщ, физик или биолог, которому и по ночам снятся дрозофилы, останавливался, глядел на меня и смеялся: «Ну и экземпляр!» — при этом он наверняка думал, что и днем, вспоминая обо мне, будет смеяться. Мальчишка с портфелем тыкал в мою сторону пальцем и орал приятелям: «Смотрите — останкинский Борзов!.. Марк Спитц!.. Брат Знаменский!» Служащая барышня фыркала, не стесняясь, в лохматый краешек пончо. Бабка, спешившая на рынок за картошкой, шарахалась от меня и крестилась, как сорок лет назад, когда в своей мелекесской деревне увидела аэроплан. А я готов был ей ответить на ходу: «Сама не лучше выглядишь, старая дура!..» Вот такие видения возникали в моей голове при мыслях о первом забеге.

Я все оттягивал его. А для того, чтобы вконец не отказаться от благородной и выстраданной идеи, бегал по утрам по квартире. Задевал хрупкую зер-

кальную вешалку, сбивал парфюмерию. Жена не выдержала и сказала:

— Я понимаю, ты стесняешься бегать один. Но, может быть, ты с кем-нибудь объединишься? Может, в компании тебе будет легче начать?

— С кем же это?

— Ну с кем... Вон ведь в нашем дворе сколько бегает... И Евсеев, и Короленков, и Москалев с Долотовым, и Ося, наконец...

— Ну ладно,— вздохнул я.— Действительно, может, попробовать с Евсеевым?..

Я пошел к Евсееву. Благо тот жил этажом ниже.

— Ну что ж, давай, давай,— сказал Евсеев. Тут же он рассмеялся и подмигнул мне, как члену одной с ним масонской ложи.— Ты тоже, значит, любишь с утра?

— С утра...— неуверенно сказал я.— Если выдержу, то и перед сном можно будет... Специалисты так и советуют...

— Кто любит с утра,— захохотал Евсеев и опять подмигнул мне,— тот уж и вечером непременно!..

Назавтра утром, в восемь, сделав для храбрости под музыку репродуктора неуверенные движения руками, шеей и туловищем, я пришел к Евсееву. Был я в спортивном виде, в кедах на шерстяной носок. Жена, как боевая подруга, выйдя на лестничную клетку, провожала меня на подвиг. И я волновался. Евсеев уже ждал. В нашем доме он выделялся цветущим видом вечного везуна, громким голосом на собраниях жильцов, а зимой еще и пыжиковой шапкой. Да, еще он любил петь в подъезде. Слов он не знал, но пел от души. Как выносит мусор или пищевые отходы, так и поет: «Блоха! Ха-ха-ха-ха!» И стекла звенят. А как спустит мусор в трубу, так обязательно добавит: «А мы их, брат, дави-и-ить!» Все у него ладилось, и ладони от жизненных удовольствий он часто потирал с такой оптимистической энергией, что вот-вот, казалось, мог оделить всех огнем. Этакий Прометей. Заведовал он прудами в пригороде, ездил туда на машине и иногда говорил с нескрываемой радостью: «Утка — не птица, рыба — не кашалот!» Наверное, так оно и было.

— Вот... Я готов...— робко сказал я.

Евсеев оглядел меня с кед до заячьего хвоста и счастливо засмеялся:

— Давно бы пора включиться!

Жена Евсеева, Верочка, высунувшись из открытой двери, улыбнулась мне:

— Вы уж со Славы берите пример. Он два года бегает, и всегда бодр, и хороший семьянин.

— Ну пошли, пошли! — подтолкнул меня Евсеев, ноги его ходили ходуном, видно было, что ему уже невтерпеж.

— На лифте поедем? — спросил я.

— На каком лифте! Бегом по лестнице! Мы и так уже выбились из графика!

И он полетел впереди меня, не оглядываясь. Звук его шагов был громким и мощным, весь дом слышал, что бежит именно Евсеев.

Двор наш большой, весь в зелени, под тополями и каштанами, мятыми северным ветром, уложена бетонная тропинка. Вот по этой тропинке и пустились мы в радующий душу и мускулы первый мой забег. «Колени, колени выше! Ступай на носок! И толкайся, толкайся сильнее!» — кричал мне Евсеев на ходу и, оглядываясь, улыбался, словно был счастлив оттого, что я наконец приобщился к славному делу. Ах, как он красиво бежал! Шаг его был упруг и высок, сильное, здоровое тело чувствовалось под синим шерстяным олимпийским костюмом с белыми полосками на воротнике, дыхание было ровным и легким. И мне было хорошо. «Как здорово, что я начал!» — думал я и был готов бежать сейчас от Останкина до Мытищ и ничего бы, наверное, кроме удовольствия от бега, не испытывал.

— Стой! Куда ты так несешься! — услышал вдруг я.— Мы ведь уже за угол забежали...

Действительно, мы были уже за углом белой соседней башни. Евсеев бежал сзади, и не бежал вовсе, а так, семенил.

— Да не спеши ты! Какой удалец! Смени темп. Нам еще надо сберечь силы на обратную дорогу. Они нас теперь не видят... Впрочем, твоя жена и вообще тебя не видела... Ваши окна на южную сторону...

Я тут же остыл, семенящим шагом потащился за Евсеевым и почувствовал, что ноги у меня — бетонные, сердце — колотится, а дышать нечем. И не тридцать мне лет, а все семьдесят.

— Ничего, ничего,— подбодрил меня Евсеев,— сейчас добежим... Это с непривычки дорога длинная...

Внутриквартальными проездами мы одолели еще полверсты, и Евсеев как бежал, так и забежал в подъезд незнакомого мне дома. И меня рукой поманил.

— Теперь на пятый этаж,— сказал он и, заметив мой испуг, добавил: — На лифте... На лифте...

Я и в лифте по наивности хотел было бежать на месте, но Евсеев, покачав головой, наступил мне на ногу: «Хватит. Экий неугомонный!» На пятом этаже он нажал кнопку звонка. Толстый, одетый уже на службу человек открыл нам дверь.

— Что-то ты долго,— сказал он Евсееву.

— А вот,— засмеялся Евсеев и показал на меня.— Нашего полку прибыло! Спарринг-партнер!.. Проходи, проходи, ноги вытирай и прямо на кухню! Знакомься...

И он затолкал меня в квартиру к приятелю.

На кухне у того, на столе, стояла бутылка «Старки», граненые стаканы, только что мытые, с капельками воды на донышках, а рядом лежали соленые огурцы, ломти орловского хлеба и серебряная кожа вяленого леща, для запаха.

— Разливай,— сказал Евсеев.— Ба! Да у нас «Старка» сегодня! Одну купил?

— Одну! Как же! Очередь выстоял,— сказал приятель.— Сколько в портфель вошло. На девять забегов хватит.

— Ну давай, давай, лей! А то нам еще бежать. Не то что тебе, лодырю!

Приятель, готовый на службу, разлил водку забытого цвета в стаканы, и один из стаканов Евсеев протянул мне. Стакан я невольно взял, но тут же спросил:

— А мне-то зачем?

— То есть как? Ты не пьешь, что ли?

— Пью...— смутился я.— Но ведь не с утра...

— А зачем же ты тогда бежал? — спросил Евсеев.

Он расстроился и смотрел на меня укоризненно, даже сурово, как бог знает на кого — как на провокатора или на лазутчика. Или хуже того. Как на человека, который только прикидывается пьющим.

— Я для здоровья бежал,— сказал я неуверенно.— Я за тем бежал, за чем ты бегаешь два года...

— Ну! — загремел Евсеев.— Стал бы я бегать, если бы жена разрешала мне пить дома! А приятель мой — холостяк... Стал бы я бегать! К лешему мне этот твой бег! И на костюм вот пришлось тратиться... Семьдесят рублей... Бегать! Фу ты, дрянь какая! Главное, для здоровья! Вот что для здоровья! Для бодрости! Пей. И не ломайся. Мужик ты или не мужик? Или ты не мужик?

— Мужик... — вздохнул я.

Выпили. Закусили. Серебряную шкурку леща понюхали по очереди.

— Утка — не птица, рыба — не кашалот! — торжественно и смачно провозгласил Евсеев и с упоением потер руки. Удивительно, отчего из его ладоней не вырвалось пламя. Этакий здоровяк, подумал я, он и на руках сможет теперь домой дойти!

— Ну вот, а ты ломался,— сказал мне Евсеев с явным одобрением.— Я уж было расстроился... А то, понимаешь, доза для нас двоих была чрезмерная... Мы ведь не для куражу, а для бодрости. Третий нам кстати... Спарринг-партнер... Или ты недоволен?

— Да как-то непривычно...

— Совесть тебя, что ли, мучает, что с утра? Это, брат, предрассудки... Я тебе скажу: с утра — самое полезное... Не мы одни, а и государственные люди тоже... Вот Петр Первый, он, говорят, если с утра стакан не брал, то и Россию не мог на ноги ставить...

— А окно-то к ним он и подавно не мог рубить,— вставил приятель.

— Ну, насчет окна — это вообще! — подтвердил Евсеев.— Или вот полководцы. Один маршал или генерал, не помню какой...

Тут он рассказал случай про этого маршала или генерала, неизвестно какой страны, то ли нашей, то ли ихней. Однажды он собрал поутру перед сражением весь свой офицерский состав, они стали «смирно», а он грозно их спросил: «А ну, кто пьет с утра, признавайтесь, шаг вперед...» Один только офицерик и шагнул вперед. Тогда этот маршал или генерал приказал принести два стакана водки, или шнапса, или виски — одна радость! — и с офицериком выпил. И сказал: «Вот с ним и пить и воевать можно! А вы, все остальные, трусы, кого обмануть хотите?..» И выиграл сражение.

— Сколько с меня? — спросил я.

— Когда обычная — рубль двадцать,— сказал Евсеев.— А сегодня — рубль.

— Рубль четыре,— поправил приятель.

— У меня с собой нет. У меня и карманов нет.

— Ладно. Завтра занесешь,— махнул рукой Евсеев.— Нам и бежать пора.

— Бегите, бегите,— улыбнулся приятель.

— А ты не ехидничай, лодырь! — сказал Евсеев.— Сейчас пробежаться — одно удовольствие. Вон какие у меня мускулы на ногах стали. Потрогай.

Но приятель только брезгливо махнул рукой.

Теперь уже Евсеев в лифте чуть ли не бежал на месте. Опять ему было невтерпеж. Сил у меня явно прибавилось. Несомненно, подумал я, в тренировочном методе Евсеева что-то есть. В смысле использования ресурсов человеческого организма. Давно я так легко не бегал. А Евсеев опять был красив. В особенности, когда мы выскочили на открытое пространство нашего двора и понеслись по бетонной тропинке под тополями и каштанами. Тут он так элегантно и мощно вскидывал ноги, так порхал, что для меня стал походить на дивного спортсмена, который несется сейчас по праздничному стадиону с олимпийским факелом в руке, чтобы на глазах у миллионов зрителей зажечь пламя в заветной чаше. Может, и Евсееву такая мысль заслонила мозги, потому что и в нашем подъезде он бросился яростно бежать по лестнице, словно лестница эта вела его именно к олимпийской чаше, а не к жене. И я бежал за ним.

Жена Евсеева вышла нас встречать.

— Ну как? — спросила она меня.

— Да вроде ничего,— сказал я, трудно дыша.— Тяжело с непривычки...

— Замечательно, а не ничего! — шумно похлопал меня по плечу Евсеев.— Бодрость-то в нас какая! Словно десять лет скинули! А привыкнешь ты быстро, я уже сейчас вижу. Скоро станешь настоящим спарринг-партнером... Точно! Сейчас вижу...

— Да, да,— улыбнулась его жена.— Слава вот быстро привык. А я ведь и не надеялась, что он станет бегать.

— Значит, завтра на том же месте в тот же час,— сказал Евсеев.

Тут он мне подмигнул и приложил палец к губам: мол, о наших с тобой легкоатлетических секретах никому ни гу-гу. Я кивнул в ответ: что я, идиот какой, право?..

К себе на этаж я поднимался уже как старик астматик, как каменный командор, расстроенный Дон Жуаном, тяжеленные ноги подтягивал со ступеньки на ступеньку и думал о выражении «спарринг-партнер». Все мне теперь стало ясно. Был я однажды в Перми в командировке. Остановился у стенда «Не проходите мимо». Там висели фотографии пьяниц. И вот что меня удивило. В подписях корили не любителей выпить на троих, как было бы в нашем городе, а «любителей спариться». Вот откуда, понял я сейчас, пошло — «спарринг-партнер». Эта мысль меня взволновала и обрадовала. Не заржавели, значит, мы разумом. Не в одних иностранных словарях искать облегчение мыслям! Есть и у нас еще дотошные умы, способные раздвинуть границы языка и создать новые специфические выражения.

Однако воспоминание о рубле с четырьмя копейками меня сразу же расстроило. Это еще хорошо, что они достали «Старку». А потом-то ведь придется брать «Экстру». Или хуже того — коньяк. Эдак у меня и на пиво ничего не останется!

Э-э, нет! Пошел бы этот Евсеев к черту!

Жена меня встречала так, словно я был актер на эпизодах, и вот наконец получил с ее помощью большую роль и теперь возвращался с премьеры.

— Ну? Что? Да на тебе лица нет! Что с тобой? Какой-то ты странный...

— Тяжело с непривычки,— сказал я.— У Евсеева очень интенсивные нагрузки. Пожалуй, я с ним не выдержу... Подкосит он, пожалуй, меня...

— Да, он здоровый. Прямо как Алексеев. Тебе бы начинать с кем послабее... Ты подумай, с кем... Но ты не бросай, я тебя прошу... Иначе я перестану тебя уважать...— сказала жена с угрозой.

— Хорошо, не брошу...— сдался я.

Я на работе все думал, с кем мне бегать. Все прикидывал, кто из милых моих трусаков пьющий с утра, а кто нет. Ни в ком я не был теперь уверен. И тут я вспомнил о Короленкове. Этот уж точно непьющий, некурящий и даме уступит место в троллейбусе. Подозрительный в общем-то человек. И уж больно педант. Он и в жару ходит в костюме и при галстуке, а из кармана пиджака у него непременно высовывается уголок платка из галстучного же материала. Он, уж точно, и вилку никогда не возьмет в правую руку и даже самую мелкую кость ни при каких обстоятельствах не проглотит. Такой он весь аккуратный, что лучше бы ему лежать в палате мер и весов. А он что-то конструировал, какие-то вагонные тормоза. Но тормоз Матросова был не его. Знакомые Короленкова, и я в том числе, его не любили, считали, что он себе на уме и похож на Клима Самгина. Но теперь-то именно Короленков и был мне хорош. Недели две назад он и сам звал меня бегать с ним. Привлекало меня и то, что Короленков был совсем не атлет, а такой же, как и я, тщедушный служащий и, стало быть, вряд ли бегал быстро и далеко.

После работы я зашел к Короленкову в соседний

дом. Он выслушал меня и, как мне показалось, растерялся.

— Ты же сам звал меня,— сказал я.

— Ну да, ну да,— кивнул Короленков.— Но лучше было бы, если бы ты предупредил меня заранее... Может, ничего и не выйдет... Это ведь тонкое дело...

— Тонкое,— согласился я.

— Ну ладно,— сказал Короленков.— Попробуем предпринять экстренные меры, авось, что-нибудь и получится... Завтра приходи ровно в семь. Форма одежды — спортивная.

— В семь? — удивился я.

Неужели, подумал я, Короленков так подолгу бегает? Мы с Евсеевым начали сегодня в восемь, а и то многое успели. Я уж хотел было заявить, что дудки, что в семь мне ни к чему, что с семи пусть бегают мои враги, но почувствовал, что отказываться мне теперь будет неловко. Тем более, что я сам вынудил Короленкова предпринимать какие-то экстренные меры. «Какие меры? Зачем? Не надо!» — хотел было я сказать Короленкову, но не сказал, побоявшись сказать глупость. Умный и серьезный вид его меня смущал.

Назавтра в семь я пришел к нему. Захватил с собой рубль с четырьмя копейками и широкий бинт на случай встречи с Евсеевым. Рубль четыре копейки понятно зачем. А бинт, чтобы срочно забинтовать что-нибудь — коленку, палец, руку, голову, наконец,— и тем объяснить Евсееву причину своего отсутствия. Но я не попался Евсееву на глаза.

Побежали мы с Короленковым. Тренировочный костюм был на нем хороший, эластичный, иноземной выделки. И бежал Короленков хорошо. Тихо. Молчал. Только однажды обернулся ко мне:

— У тебя тоже, что ли, с женой нелады?

— Нет,— сказал я.— Лады.

Он как будто бы мне не поверил. Спросил:

— А чего же ты тогда бежишь?

— А при чем тут жена?

— Хотя да,— сказал Короленков.— Жена в наше время тут действительно ни при чем...

«Неужели,— расстроился я,— и этот стал пить? Тогда рубля-то мне не хватит!» Я уже хотел было захромать, но тут мы протрусили под аркой и выскочили в сквер у трамвайной остановки.

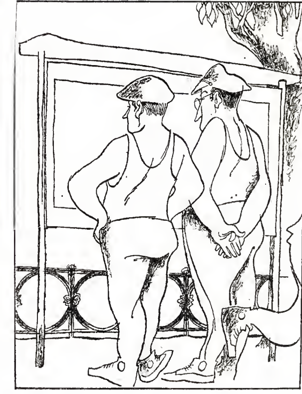
— В седьмой садись,— бросил мне Короленков.— Только не в семнадцатый. Семнадцатый сворачивает в Медведково.

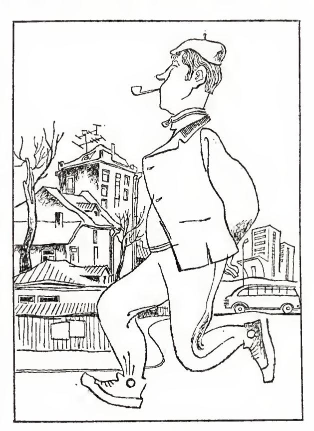
Тут бесшумно и резво подошел именно седьмой трамвай, Короленков неторопливым, но деловым шагом подбежал к задней двери и вскочил в трамвай. И я вскочил в трамвай. И только когда мы проехали остановку и я с трудом вырвал билет из никелированной челюсти кассы, я вдруг словно очнулся. Куда я еду в этом пустом трамвае, зачем я здесь?

Я хотел было спросить об этом у Короленкова, но он был холоден и строг, меня будто и не знал, и я подумал, что вопросом своим я покажусь Короленкову смешным и инфантильным. Значит, он знает, зачем я в трамвае и зачем я еду. Он человек основательный, и у него свой метод бега трусцой.

Через пять остановок мы сошли, и Короленков сказал, что бежать не надо, что тут и пешком три минуты.

Он меня завел в дом с рыбным магазином, и на втором этаже по его звонку нам открыли две барышни. Были они наших с Короленковым лет и очень приветливые. От одной из них, Оли, я чуть было не растаял. Но это выяснилось потом. Другая, Женя, сейчас же, не стесняясь меня и своей под-





руги, бросилась обнимать Короленкова, отчего тот смутился и стал поправлять очки. Оля же, улыбаясь, смотрела только на меня и словно бы чего-то ждала.

— Вот... Знакомьтесь... Мой приятель...— представил меня Короленков.— Я вам о нем рассказывал по телефону.

Нас с шумом повели пить чай, и на столе в большой комнате я увидел удивительные сладости, воздушные, бисквитные, песочные, о каких я мечтал в голодном детстве. А теперь они мне и задаром были не нужны. Заметив мое холодное отношение к сладкому и мучному, Оля тут же стала предлагать мне бутерброды с колбасой, бужениной, сельдью в томате, и я от растерянности и по причине гуманитарного образования их брал. Знал, что нельзя. Знал, что бегать с набитым желудком вредно, а нам еще предстояло ехать обратно на трамвае, и тем не менее брал. Тут Женя извинилась перед нами с Олей, сказала, что ей надо кое о чем посекретничать с Короленковым, и увела Короленкова. Я уже говорил, что я человек застенчивый, и, оставшись с Олей, я или молчал, или бормотал невнятное и то и дело рвал тонкие нити ее вежливой беседы. А женщина она была приятная...

— Да что это вы все на дверь смотрите да на часы,— не выдержала Оля.— Вы уж за Короленкова не волнуйтесь. У них там свои любезности. Вернется ваш Короленков.

— Я и не волнуюсь...

— Чтой-то вы скучный какой...

— Это я спросонья...

— Столько бежали и не проснулись?

— Надо было больше бежать. На трамвае не стоило ехать.

Тут Оля, видно, поняла, что резкими словами она многого не достигнет, и сразу стала более душевной и доброжелательной. И разговор у нас пошел. Мы обменялись мнениями о Фишере и Спасском и о том, сколько денег каждый из них получил, поделились догадками, почему Доронина ушла из МХАТа и что она еще выкинет, не уедет ли куда в Можайск, говорили и о модах и о продуктах, в частности о гречке. Умный разговор сближал нас, скоро Оля уже сидела рядом и пыталась из рук накормить меня бисквитным тортом. Из-за лишних движений кусок этого гнусного торта упал на мои бежевые брюки и испачкал их кремом и вареньем. Что мне было теперь делать! Мы боролись с пятном горячей водой, солью и химикатами, толку было мало. Попробовал я забинтовать ущербное место широким бинтом, но на ноге у меня появилось черт знает что, какая-то порочная подвязка из эпохи канкана и фонографов Эдисона. Я был сердит. Порой в очистительных хлопотах я чувствовал прикосновение ласковых рук, но пятно действовало на меня сильнее. Лучше бы уж я по ошибке сел в семнадцатый трамвай и уехал в Медведково!

Тут появились Короленков с Женей.

— Пора,— сказал мне Короленков.

— Я уж вижу,— проворчал я.

— Вы на меня обиделись? — спросила Оля.

Вид у нее был такой печальный, что мне стало ее жалко.

— Он всегда хмурый,— сказал Короленков.— Он тяжелый на подъем. Нужно время на то, чтобы его растормошить.

— До завтра,— улыбнулась мне Оля с надеждой.

— До завтра,— сказал я.

В трамвае я усердно прикрывал пятно руками.

— Ну как? — спросил Короленков.

— Что как?

— Я не про свою. Я про Олю... Конечно, она с характером. Тут сразу ничего не выйдет. Но и в длительной осаде есть своя прелесть. Впрочем, если бы ты заранее предупредил меня, я бы без спешки подготовил тебе более подходящий вариант.

— Отчего же,— обиделся я за свой нынешний вариант,— очень приятная барышня.

Вообще-то я сидел надутый. Тоже мне фрукт! Не мог предупредить меня, куда мы побежим и поедем на трамвае! Но Короленков и не замечал моего дурного настроения. Может быть, подумал я, две недели назад он и говорил мне обо всем, да я забыл?

К дому мы подбежали тихонечко. Остановились возле его «Жигулей». Он осмотрел машину на всякий случай.

— А то ведь растолстеешь с машиной-то,— сказал Короленков.— Ни шагу ведь с ней пешком.

— Да. — Я кивнул.

— Вдвоем все-таки бегать лучше,— добавил он.

— Наверное...— не стал спорить я.

— И ты понял — у них всегда можно хорошо позавтракать... Тоже ведь экономия... Трюфеля она мне покупает к чаю...

— Зачем же их разорять?

— Ничего,— сказал Короленков.— Они женщины самостоятельные, эмансипированные, и зарплаты у них большие.

У своего подъезда он опять остановился и произнес со значением:

— Я знаю, что ты джентльмен, и надеюсь, что никто ни о чем не узнает...

Я только пожал плечами: а то не джентльмен.

— До завтра,— услышал я вслед.

«Ну уж шиш! — подумал я.— Торты, пятна, любезности. Это тяжело с утра. Конечно, Оля — приятная женщина и очень была со мной ласкова, но у меня крепкая семья. Да и вставать к семи, это уж извините!»

От жены я узнал, что мне звонили Москалев с Долотовым, они услышали, что я побежал, и обиделись, что я бегаю не с ними.

— Может, действительно с Москалевым и Долотовым? — задумался я вслух.— А то Короленков гоняет по каким-то пустырям с лужами. Эвон, всю брючину измазал!

Признаться, я и раньше хотел бегать именно с Москалевым и Долотовым, да робел. Уж больно на вид они были спортсмены. Все бегали кто в чем, а они — и в самый мороз — в белых майках. Дети Долотова — юные художники-прикладники — эти майки расписали с помощью трафарета по рецепту журнала «Америка». На майках на спине и на груди получились круги, и внутри этих кругов стояли парни из «Роллинг Стоунз» с гитарами. Вокруг парней были выгнуты слова вполне приличные и самостоятельные, предложенные Москалевым: «У нас здоровыми должны быть не многие, а все». Вот в этих майках Москалев с Долотовым не раз проносились мимо меня, словно срывая на ходу золотые значки ГТО, и у меня сердце обрывалось. Куда же мне с ними тягаться? Однако теперь я был готов бежать и с ними.

Я знал, что они люди серьезные. Оба работали на фабрике по производству карт. Географических, разумеется. Москалев отвечал за то, чтобы на карте число кружочков городов областного подчинения точно соответствовало новейшему административно-территориальному делению. И чтобы ни кружочка больше не просочилось. Эдя Долотов заведовал пуансонами — кружочками — помельче: в его ведомстве были районные города. Недавно, говорили, Москалеву дали важный пост — под его наблю-

дение попали пуансоны краевых и областных центров. Эдю же хотели посадить на нагретое Москалевым место. За ними теперь был глаз да глаз, и вряд ли сейчас они могли позволить себе бегать по утрам неправильно. Хотя бы и в белых майках. Вот поэтому я за ними и увязался.

Бежали мы назавтра втроем быстро, но недолго. Добежали до бульвара, а там мимо скамеек рванули прямо к газетным стендам, тут и остановились. То есть остановились Москалев с Эдей, а я-то все бежал.

— Вы что? — растерялся я.

— Мы будем читать,— сказал Москалев.— Можешь читать, можешь бегать, а можешь сесть на лавочку и ждать нас.

— Садись,— сказал Эдя.— Ноги побереги. И, будь добр, последи за временем, а то мы зачитываемся.

Однако я не хотел сидеть. Кругами, кругами я стал обегать газетные витрины. А Москалев с Эдей все читали. Москалев встал к «Советской России», а Долотов к «Сельской жизни». Читали они все подряд, с первой колонки и до последней, и видно было, что наслаждались. Я устал, сел. Чудесные все-таки люди, думал я. Они не только сами читали, но и друг другу помогали узнавать о событиях.

— Эдя! — кричал Москалев.— Ты можешь мне поверить, в Кировограде исчезли из продажи кительные коврики!

— Надо же! — удивлялся Эдя.— Что делается-то! Сейчас приду прочитаю. А я про Уганду... Нехорошо у них на границе-то, нехорошо...

— Да... В Уганде, да... все каверзы...— покачал головой Москалев.— Я скоро кончу, я здесь одну заметку оставил на десерт. Про зайца-людоеда.

— Про зайца-людоеда и у меня есть! — обрадовался Эдя.— И про Боброва...

— Что про Боброва? — встрепенулся Москалев.

Странно, но они не замерзали. А я замерз и снова стал бегать.

— Да брось ты! — крикнул мне Москалев.— Иди лучше почитай «Лесную промышленность». Мы не успеем. А ты нам по дороге расскажешь.

— Как же! Сейчас! — сказал я.— Я неграмотный.

Они перешли на другие газеты. Потом на другие. Потом наткнулись на кроссворд. Достали ручку и стали заполнять клеточки, не замечая стекла.

— Помоги! — крикнул мне Москалев.— Щипковый инструмент... Ну?

— Щипцы,— сказал я.

— Да нет! Больше букв.

— Ну пассатижи...

— Да нет,— чуть ли не застонал Москалев,— музыкальный щипковый инструмент.

— Время! — обрадовался я.— Взгляните на часы. Скоро нас будут ждать на работе.

Домой мы бежали резвее. Оказалось, что Москалев с Долотовым всегда зачитываются и опаздывают, и я, третий, очень нужен, пусть и отказался от «Лесной промышленности». Они и на бегу говорили о политических событиях дня.

— А дома вы, что, не можете читать? — спросил я.— Навыписывали бы газет и читали бы.

— Дома! — рассмеялся Эдя и, поглядев на меня, повертел пальцем у виска.— Дома у нас жены.

— Витя, убери газету! — сказал Москалев голосом жены.— Какой пример ты подаешь за едой сыну!

— Да, Витя,— согласился я.— Жена у тебя тигра.

— Чем меньше мы бываем с ними,— сказал доверительно Эдя, — тем оно вернее... А газеты-то мы выписываем...

— Еще чехлы к мебели заставит прибивать. Или шубу колонковую выбивать на балконе. Или хуже того — надевать пододеяльники, а углы у них склеились, бьешься, бьешься и все на свете проклянешь!

Насчет пододеяльников я не мог не согласиться с Москалевым... Но вот мы были уже у моего дома, я встал, а они с Эдей понеслись дальше, и снова я увидел на их спинах хорошие слова: «У нас здоровыми должны быть не многие, а все». Грустный, я прощался с милыми моему сердцу спортсменами.

На следующий день я совершил мужественный поступок. Я побежал один. А ну их всех, решил я.

Сначала я робел и спотыкался, а потом забыл обо всем. Утро было чудесное, сухое, желтые листья устилали ставшую твердым камнем грязь. Шаги мои были упруги, за три дня я привык к бегу, да и раньше когда-то я любил бег. Мышцы ног поначалу болели после прошлых пробежек, но такая боль была приятной, стало быть, мышцы крепли. А потом и боль прошла. Все было прекрасно теперь — и голубое с седой печалью осеннее небо, и тихие переулки Останкина, и мой бег, легкий, как полет, и сам я, видимо, красивый и сильный сейчас, и радостная свирель, будто бы летевшая невидимою надо мной и жаворонком удивлявшаяся моему бегу.

— Смотри, смотри, чучело-то какое бежит! — услышал я и обмер.

Ранний школьник, портфель бросив под ноги, стоял и показывал на меня пальцем:

— Вон, вон, дядька бежит, геморрой лечит!

Что я тут мог? Сказать мальчику, что он не прав, что пионеры таких слов и знать не должны, что пусть геморрой лечит его отец, или просто надавать негодяю по шее? Ничего я не сделал. Просто с трудом добежал домой, и все. Свирель утихла, кто-то разломал ее об колено и выкинул в Останкинский пруд.

Стало быть, все. Стало быть, один я не могу.

Я уже и совсем хотел было отказаться от затеи, но жена опять сказала, что она перестанет меня уважать. Да что жена! Я сам бы перестал себя уважать. Я действительно тяжелый на подъем, но уж если что начал, так меня не остановишь. Я упрямый. Бегать так бегать. Только с кем?

Я всю ночь не спал. С кем же бегать-то? Мне казалось теперь, что у всех знакомых трусаков есть свои маленькие тайны. Миша Кошелев, думал я, наверняка бегает играть в преферанс. Дунаев, тот, по-видимому, носится чинить машину, он и вечером лежит под ней. Ося? Ося — не знаю. Но бегает Ося в кожаном пиджаке и с погашенной трубкой во рту и от одного этого кажется таинственным и сверхчеловеком. Вот Каштанов, тот наверняка просто бегает, но уж больно он скучный.

Так я перебирал всех своих знакомых и ни на ком не мог остановиться. Москалев с Долотовым отпадали. Газеты я могу читать и на работе. Короленков тоже. Оля хороша, но жена мне друг. Оставался Евсеев. Его, что ли, терпеть? И чем больше я ворочался, чем больше думал о нем, тем все увереннее приходил к выводу, что его стиль бега мне наиболее близок. «Да чего там,— говорил я себе,— вот и полководцы с утра не брезговали... Маршал один или генерал». Что же касается пива, то я решил за обедом экономить на салатах, вот и на пиво у меня останется. С тем я и заснул.

Утром я надел спортивный костюм, взял пять рублей и пошел вниз. Я услышал, как Евсеев запел: «А мы их, брат, дави-и-и-ть!» — и побежал по лестнице.

И тут я сломал ногу.

ВИТАУТЕ ЖИЛИНСКАЙТЕ

ЗАПАДНЯ

Рисунок В. БАХЧАНЯНА.

И наконец, завершая программу, поэт Ругис прочел цикл своих стихотворений про хлеб — корка его поджаристая, ломоть дымящийся, пропахший пашней и трелями жаворонка... Это большой кусок земли, это серая буханка хлеба,

Выросшая из нашего пота
И наших ладоней мозолистых.

Ругис читал хорошо. Особенно выразительно он проговорил «ломоть дымящийся» — шепотом, глуше, чем другие строки цикла, и слушателям почудилось, что где-то, по всей вероятности, в паровозном депо, с шипением вырывается пар.

Потом поэт принял две белые розы и сел на место, скромно барабаня пальцами себе по колену.

Позже, когда он стоял у открытого окна, красиво вырисовывая свой профиль на фоне заката, к нему с тарелкой в руке подошел незнакомый человек и хриплым голосом спросил:

— А вы когда-нибудь видали, как пекут хлеб?

Ругис очень медленно выдохнул дым сигареты.

— Я не понял вашего вопроса.

Человек поставил тарелку с винегретом на подоконник и повторил вопрос:

— Вам приходилось видеть, как пекут хлеб?

Поэт снова повернулся к закату. Его развитый, чуткий нюх почувствовал готовящуюся западню.

— Странный вопрос,— ответил он спокойно и с некоторой иронией.

— Возможно, вам он не покажется странным, если я представлюсь,— протянул руку незнакомец.— Я главный инженер-технолог хлебо-макаронного комбината.

«Макаронного» — поэта очень неприятно кольнуло в ухо. Все-таки он пожал протянутую руку и, как бы прощаясь, шагнул в сторону.

— Меня, как знатока хлебо-макаронного дела,— загородил ему дорогу инженер,— очень взволновало ваше внимание и уважение к нашему производству. Вы бы не отказались заглянуть на наш комбинат и посмотреть, как производятся макароны!..

— Ради бога,— не выдержал поэт,— только не упоминайте при мне этого слова!

Поэт очень не любил макароны.

— Простите,— извинился инженер.— Так не отказались бы вы посмотреть, как пекут хлеб?

Поэт понял, что нюх не подвел его: ему расставляют силки, мышеловку с хлебо-макаронной приманкой внутри.

— Это, конечно, очень заманчиво,— ответил он усталым голосом,— однако завтра я должен уехать.

— Я пришлю машину... С самого утра... Вы потратите всего час... ну, полчаса...

— Увы, утро я обещал местным литераторам...— развел руками Ругис.

Инженер схватил со стола ломоть хлеба и соблазнительно повертел его перед носом поэта:

— У нас есть новое пекарное оборудование!

— Поздравляю!

— А какие хлебные печи! Произведения искусства!

— Тоже похвально.

— Когда буханки вытаскиваем, пар — клубами, как туман в лугах...

— Мне очень жаль...

— Через стекло печи можно видеть сотни, тысячи буханок — пухлых, круглых, гладких...

— Увы...

— А замес теста!

— Не могу.

— А хрустящая корочка!..

Поэт не отозвался. Он сделал вид, что о чем-то спрашивает соседку. Однако краешком глаза следил, как инженер еще что-то бормотал, жестикулировал, переминался с ноги на ногу, как потом уныло доел свой винегрет со своим куском хлеба и поплелся к выходу.

Ругис внешне никак не отреагировал на его отступление. Но душа пела — он выиграл трудную дуэль, не дал заманить себя в коварную западню, уготовленную ему врагами поэзии.

Перевел с литовского
Ф. ДЕКТОР

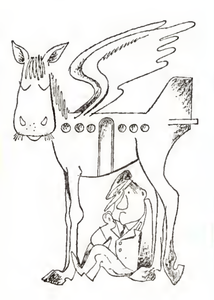
БОРИС БРАЙНИН

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПАРОДИЯ

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ

(Подражание Феликсу Чуеву)

Когда нелетная погода
И в голове сплошной туман,
Я, Феликс Чуев, сын народа,
Не разобью аэроплан.
Я на него вообще не сяду
И никуда не полечу.
И вдохновение в награду
За этот подвиг получу.
Я напишу про «бочку»,
«штопор»,
Про комсомолок из МАИ,
Чтоб прослезился друг мой—
опер-
уполномоченный ГАИ,
Чтоб, лобызнув меня
по-шефски,
Сказал товарищ капитан:
— Ты наш воздушный
Чернышевский,
Мартынов, Пушкин,
Шаферан...
И пусть метели в спину дуют,
Пускай погода не стоит,—
Начлет спокоен: Феликс
Чуев
Придет, почует, победит.



В. СТРОНГИН

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ



Рисунок
Олега КОКИНА.

Монотонную, ничем не примечательную жизнь нашего рядового проектного бюро нарушил главный инженер.

— Товарищи, нам оказана большая честь, поручено выполнение особого задания. Будем, товарищи, разрабатывать внешний вид К-1.

— А что такое К-1? — шепотом спросил меня Зубарев.

— Не знаю,— честно признался я. — Наверное, что-нибудь такое...

— Для космоса! Точно, я догадался. Ответственное задание!.. — зашипел Кучин.

— А рассказывать об этом можно? — спросила главного инженера наша Верочка.— Ну хотя бы маме? Или мужу?

— Ни в коем случае! — строго сказал главный.— Прошу, товарищи, ко мне в кабинет получать задания. По одному.

Мы значительно переглянулись и вышли за главным в коридор.

Мне достался корпус будущего аппарата. Я отложил в сторону футбольную таблицу, над которой работал вот уже второй месяц, и принялся за настоящее дело. Я прочитал массу литературы, побывал на выставках технической эстетики, беседовал со специалистами по дизайну и лишь после этого приступил к проектированию.

По-новому отнеслись к делу и другие сотрудники.

Обычно равнодушный Кучин отбросил в сторону свои кроссворды и в творческом экстазе колдовал над приспособлением для транспортировки аппарата к месту старта.

Зубарев до того увлекся конструированием крышки люка, что, заработавшись допоздна, пропустил однажды свое любимое «Артлото».

Но больше всего старалась наша Верочка. Ей поручили что-то вроде сопла, и она не разгибаясь сидела над чертежной доской в свитере без одного рукава. Довязать рукав в рабочее время не было времени.

И вот наступил день окончания работы. Мы надели выходные костюмы и радостные, возбужденные, торжественным строем вошли в кабинет главного инженера.

— Молодцы! — похвалил нас главный инженер. — Наконец-то вы поработали как следует. На неделю раньше срока сдаете... Ну, что там у вас получилось?

— У меня корпус,— промямлил я, дрожащими руками развертывая чертежи.

— Хорошо!

— У меня люк.— Зубарев выложил на стол свою продукцию.

— Отлично!

— А у меня сопло...— Бедная Верочка так волновалась, что показала свой чертеж кверху ногами.

— Великолепно! — воскликнул главный.— Прекрасный носик.

Мы все посмотрели на порозовевшую Верочку.

— Чей носик? — мрачно спросил Зубарев.

— Носик, через который, собственно, все содержимое К-1 и выливается, — невозмутимо сказал главный инженер.

— Какое содержимое? — сгорая от любопытства, спросил Кучин.

— Как какое?! Кофе. Я считаю, что наш К-1 нужно немедленно запускать в производство. Покупатели получат новый современный элегантный кофейник.

В НОМЕРЕ

На 1—4-й стр. обложки рисунок Е. СОКОЛОВОЙ и А. МАКСИМОВА.

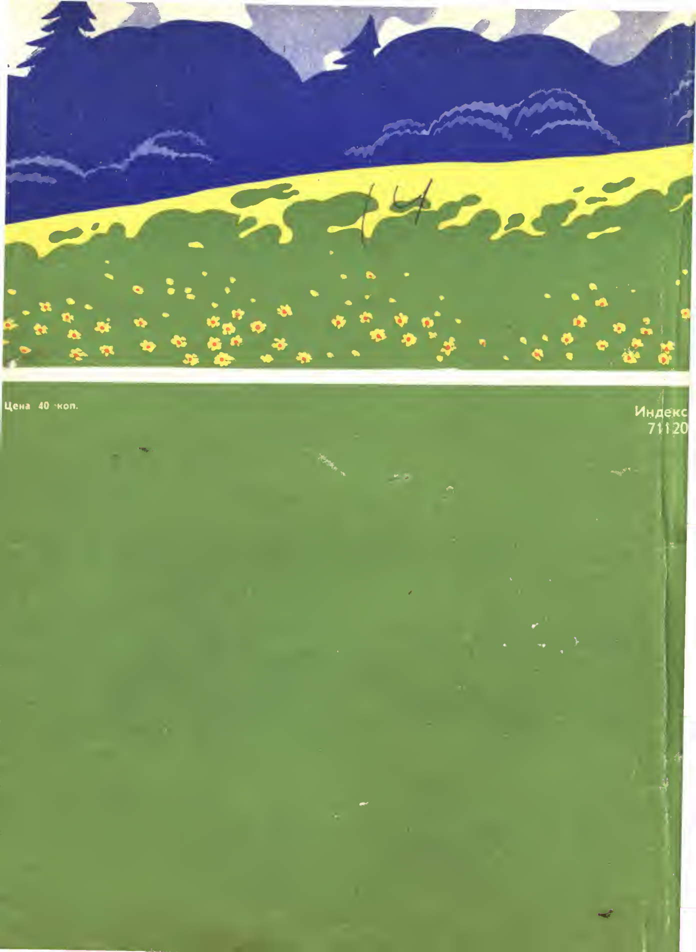
Адрес редакции:
101524, ГСП, Москва, К-6.
Улица Горького, № 32/1.
Телефон редакции: 251-32-83.
Рукописи
не возвращаются.

Сдано в набор 6/III 1973 г.
А 08094.
Подп. к печ. 17/IV 1973 г.
Формат 84×108[1]/16.
Объем 12,18 усл. печ. л.
17,62 учетно-изд. л.
Тираж 2 100 000 экз.
Изд. № 960. Заказ № 310.

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина
125865, Москва, А-47, ГСП,
ул. «Правды», 24.



И. БОЛЬШАКОВА. К экзаменам (гуашь).



Цена 40 коп.
Индекс 71120